

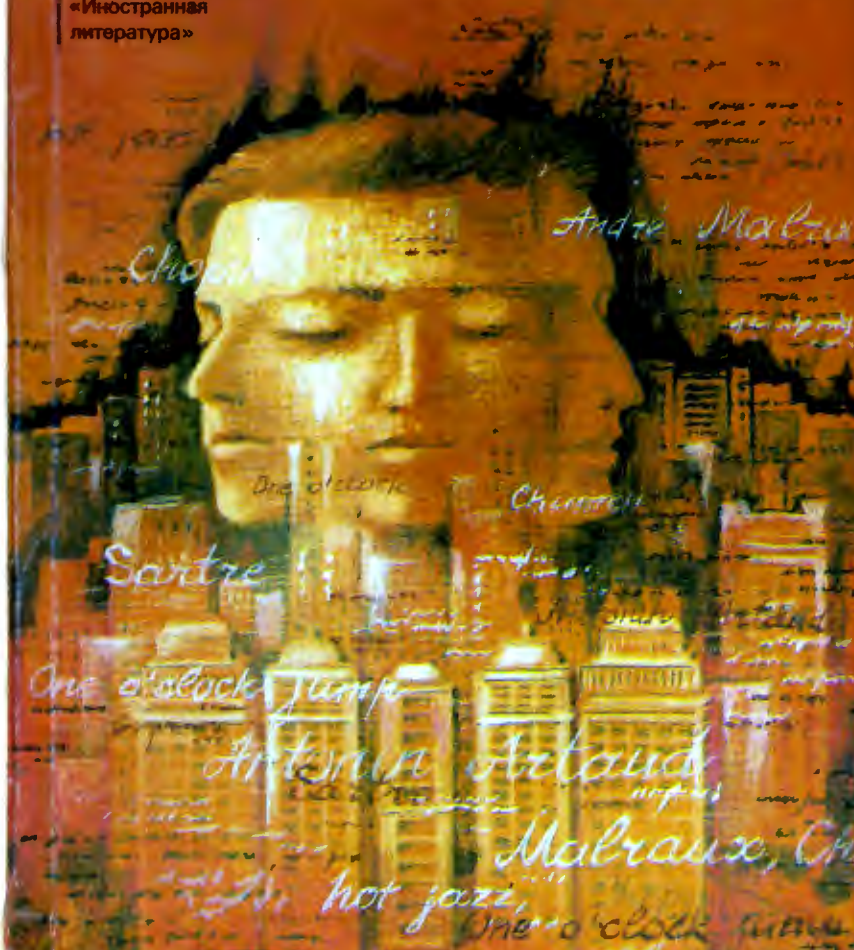
ИЛ

Хулио Кортасар

Экзамен

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Хулио Кортасар • Экзамен





Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

**Julio Cortázar**

**El examen**

Хулио Кортасар

# Экзамен

Роман

*Перевод с испанского Л. Синянской  
Предисловие А. Кофмана*

Москва  
«Известия»  
1990

И (Арг)  
К 66

*Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов*

*Редактор М. Канторович  
Обложка художника А. Махова*

К  $\frac{4703040100-013}{074(02)-90}$  75-90

**ISBN 5-206-00045-0**

© Julio Cortázar, 1986

© Оформление, предисловие, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1990

## Возвращение к истокам

Известную сентенцию насчет того, что новое — это хорошо забытое старое, можно небезосновательно применить и к предлагаемой публикации одного из ранних романов Х. Кортасара (1914—1984). Впрочем, не стоило бы вспоминать данную сентенцию, если б новизна этого старого романа, увидевшего свет в 1986 г., заключалась лишь в том, что до сих пор он не был известен читателям: «Экзамен» открывает нам «чисто аргентинского» (в смысле — «доевропейского») Кортасара, о котором мы не имели достаточно полного представления.

Роман написан в 1950 году, в нелегкий для писателя период жизни. С приходом к власти генерала Х. Д. Перона (1946—1955) Кортасар, примкнувший к антиперонистскому движению, потерял место преподавателя литературы в университете города Мендоса и переехал в Буэнос-Айрес, где с трудом устроился служащим в Книжную палату. Все свое свободное время он посвящал литературному творчеству, которым с конца 30-х гг. занимался целенаправленно и непрерывно. В 1951 году — переломном в жизни писателя — Кортасар опубликовал сборник рассказов «Бестиарий» и, получив литературную стипендию, уехал в Европу. Навсегда. Именно там, в Европе, он стал писателем с мировым именем (его произведения многократно издавались и у нас в стране\*); что же касается творчества Кортасара аргентинского периода, то о нем даже специалисты-литературоведы могли судить лишь по трем публикациям (сборник сонетов «Присутствие», 1938, рассказ «Захваченный дом», 1946 и драматическая поэма «Короли», 1949), а главным образом по высказываниям и оценкам самого писателя. «До «Бестиария», — вспоминает Кортасар, — я мог бы напечатать две книги рассказов... шести-

\* Х. Кортасар. Другое небо. Рассказы. М., 1971; Избранное. М., 1979. 62. Модель для сборки. М., 1985; Непрерывность парков. Рассказы. М., 1984. Игра в классики. М., 1986.

сотстраничный роман, две повести, очерки, не говоря уж о множестве стихотворений,— словом, уйму текстов, но все это я сознательно отказывался публиковать». Причины такого самоотракизма он объяснял не раз: «Вероятно, я грешил тщеславием, установив себе очень высокий потолок для начала литературной карьеры, и притом мне доставало чувства самокритики, чтобы понимать, насколько все мною написанное еще не дотягивало до желаемого уровня».

О своих произведениях 40-х гг. Кортасар всегда говорил с известной долей пренебрежения и никогда не возвращался к ним. Роман «Экзамен», о котором, кстати сказать, писатель в своих интервью вспоминал куда реже, чем о шестисотстраничном романе, благополучно преданном огню, вдруг был изъят с кладбища ученических опусов и публикуется по завещанию Кортасара; более того, есть сведения \*, что писатель специально готовил роман к изданию и завершил эту работу в 1984 г., незадолго перед своей кончиной. Подобного рода эксгумация, разумеется, отнюдь не свидетельствует об утрате драгоценного чувства самокритики: публикуя это произведение, Кортасар утверждает его высокое художественное качество («...невзирая ни на что»,— как он оговаривает в предисловии) и его оригинальность, которую он, может быть, в полной мере ощутил лишь в конце своего творческого пути после тридцатилетнего пребывания в Европе. Была, вероятно, еще одна причина возвращения к этому полузабытому тексту: естественное стремление на пороге старости обернуться назад и обратиться к истокам — и вот в этом отношении, в смысле обращения к первоистокам, роман «Экзамен» представляет необыкновенный интерес для любителей и исследователей Кортасара, ибо в этом тексте мы с изумлением обнаружим весь, так сказать, «генетический код» будущего творчества писателя, мы увидим то семя, из которого взросло ветвистое дерево его последующих романов и рассказов.

Речь идет притом вовсе не об ученических набросках, наметках и туманных проекциях: самое поразительное, что основные характерные черты художественного мышления зрелого Кортасара воплотились в романе «Экзамен» в уси-

\* «Эль диа» (Уругвай), 7 июля 1988 г.

ленном и концентрированном виде. Прежде всего мы заметим, как сильно и впечатляюще в романе выражен своеобразный кортасаровский способ сочетания реальности с фантастикой и конструирования самой фантастики; способ этот, неизменный на протяжении всего творчества писателя, можно схематично выразить двумя словами: агрессия ирреальности. Она, эта агрессия, неизменно выявляется на фоне утомительной и внешне устойчивой обыденности, которая вдруг нарушается в одном из своих логических звеньев (в каком именно и почему, не знает ни читатель, ни автор, но знает герой, воспринимающий это нарушение без удивления, как нечто должное и неизбежное); эта поломка одного логического звена, вызванная вмешательством каких-то сил извне, из «иной» реальности, влечет за собой разлад других привычных и устойчивых связей, и вот действительность распадается на наших глазах, и сквозь ее трещины и бреши просвечивает запредельное — чудовищное либо манящее. Читая роман «Экзамен», мы окажемся в особом, опять же чисто кортасаровском интеллектуальном пространстве, которое в романе «Игра в классики» будет обозначено словом «территория», а в «62. Модель для сборки» — более точным словом «зона»: это содружество единомышленников, разновидность Телемской обители, крохотный замкнутый духовный мирок, противостоящий Городу (подлинной реальности, большому миру) и в силу этого неравного противостояния обреченный на распад. Мы увидим в романе «Экзамен» все основные темы, пронизывающие творчество зрелого Кортасара (время, смерть, случайность, детство, раздвоение личности, музыка и др.), и даже отдельные излюбленные мотивы, такие, как животные, насекомые, транспорт, толпа, танго и др. (подробнее об этом — позже). Мало того, в отдельных сценах и даже фразах романа мы увидим зародыши сюжетов будущих произведений Кортасара; так, например, описание концерта со всеми его скандальными моментами — это очевидный прообраз великолепного рассказа «Менады»; отдающая абсурдистским привкусом сцена в трамвае предвосхищает рассказ «Автобус»; а рассуждения «китайца» Салавера о «суперслучае, подкрепленном контрслучаем...» и т. п. перед отплытием в Испанию содержат



в себе замысел романа «Выигрыши». Наконец, мы почувствуем в «Экзамене» особую, опять же чисто кортасаровскую манеру повествования, запечатлевшую два стойких увлечения писателя — музыку и кино. И все это, давно знакомое, что мы с удивлением обнаружим в этом новом старом романе, позволит нам иначе отнестись к европейскому опыту Кортасара, которого некоторые близорукие латиноамериканские «патриоты» в свое время дружно упрекали в принятии французского гражданства и называли «франко-аргентинским» и «офранцузенным» писателем: теперь-то, после выхода в свет романа «Экзамен» можно с полной уверенностью утверждать, что как писатель Кортасар состоялся не в Европе, а в Аргентине, и еще раз убедиться в правоте суждения самого Кортасара на этот счет: «В довольно критический момент своей жизни я перебрался в Европу, но это ни в коей мере не убавило моего латиноамериканского и специфически аргентинского духа, зато обогатило меня таким опытом, какого в Аргентине я не получил бы никогда».

«Если бы я мог выбирать между музыкой и литературой, я бы несомненно выбрал музыку», — неоднократно заявлял страстный меломан Кортасар, чьи произведения, проникнутые музыкальными темами и внутренними пульсациями ритмов, нередко и строятся как музыкальные композиции. В особой степени это относится к роману «Экзамен», как представляется, задуманному и написанному в жанре многоголосной фуги. Как и всякое музыкальное произведение, роман Кортасара можно воспринимать двумя способами (сразу же следует оговорить, что массовый метод чтения — отслеживание фабулы — здесь не подходит в принципе, ибо фабулы как таковой в романе почти нет). Один способ — внеаналитичное, чисто эмоциональное восприятие, дающее впечатление смутное, но подчас необыкновенно сильное. Именно такое — смутное, но мощное эмоциональное воздействие мы получим, если станем читать «Экзамен», скажем так, расслабленным мысленным взором — то есть не вникая в детали, не вдумываясь в диалоги и умствования героев, не сопоставляя, не анализируя, а только погружаясь в общую

атмосферу повествования и пассивно улавливая рождающиеся в глубине души неоформленные образы и безотчетные импульсы. И тогда мы ощутим (многим это покажется до боли знакомым), как нечто неясное, беспоконное, угрожающее сгущается вокруг героев; мы почувствуем всепроникающее присутствие и нарастание абсурда, спорадически возникающего в самых, казалось бы, устойчивых сферах человеческого бытия; мы ощутим медленную и неотвратимую агрессию кошмара и почувствуем, как героями (и нами) овладевает страх («У меня нет объяснений, есть только страх» — в этих словах Андреса вся атмосфера романа); мы ощутим, как распадаются привычные связи и надвигается апокалипсическая катастрофа, и мы поймем, как все это — смутное, давящее — принуждает человека к бегству и выталкивает из страны.

Другой способ восприятия музыкального произведения (в особенности именно фуги), дающий наряду с эмоциональным еще и острое интеллектуальное наслаждение, заключается в том, чтобы отслеживать каждый мелодический голос, слышать взаимодействие различных голосов, наблюдать за развитием темы. При аналитическом чтении «Экзамена» обнаруживается неожиданное: его мощный эмоциональный импульс, казалось бы спонтанный, на самом деле создается в результате искусной организации сравнительно немногих (около двадцати) постоянно повторяющихся и варьируемых «голосов» (мотивов), а сам роман, таким образом, представляет собою изощренную рациональную конструкцию. Все эти мотивы намечены в первой главе романа, причем сразу даны как бы в проекции в будущее — вот отчего по мере чтения у читателя возникает тягостное ощущение фатальной предопределенности всего происходящего. Попробуем проследить некоторые из этих мотивов — и нам приоткроются потаенные грани содержания романа.

Лейтмотивом «Экзамена» становится образ загадочного тумана, окутавшего Буэнос-Айрес: в романе туман выступает как многозначный символ, вбирающий в себя понятия ирреальности, тайны, фатума, кошмара, смерти; этот перечень можно дополнять и дополнять, поскольку туман

взаимодействует со всеми остальными мотивами и как бы «поглощает» их; он проникает и в сознание главных героев романа — Хуана, Клары, Андреса, Стеллы и репортера, чьи споры, беседы и отношения воспринимаются как интеллектуальная дымовая завеса («А все туман,— думала Клара,— ходим туманом, говорим туманом, но ведь это даже и не туман»). Лейтмотив заявлен на первых страницах романа и сразу дается в развитии: «...Ничего не чувствуешь в воздухе?» — «Туман, золотце мое,— сказала Стелла.— В этот час всегда поднимается туман». «В центре всегда сыро»,— зачем-то сказал Хуан. ... «Одежда к телу прилипает,— сказала Стелла.— Я сегодня проснулась и подумала даже, что простыни мокрые». Туман — сырость — потливость — мокротá; мы еще увидим, куда ведут эти мотивы.

Туман падает на город накануне выпускного экзамена, который предстоит сдавать Хуану и Кларе; связь двух мотивов помимо всего прочего скрепляется единым ощущением давящего страха («... и вдруг в первый раз пронзительно, со страхом вспомнила: экзамен»); очевиден и символический смысл названия романа: экзамен — проверка, итог, перелом, то, чего нельзя избежать, что надо пройти, неотвратимость, тяжелое испытание и — высвобождение. «Экзамен представлялся ему четким пределом, бакеном, к которому следовало плыть» — в этой фразе из первой главы содержится развязка романа: Хуан еще не знает, что все изначально предопределено и сразу после экзамена ему придется и впрямь именно уплыть из гибнущего города.

Из тумана возникает и «улетучивается в мгновение ока, словно дым» Абель (в тексте Абель), загадочный символический персонаж (можно сказать, и мотив), требующий дешифровки. Загадочность же его состоит вот в чем: с одной стороны, его аллегорическая связь с библейской легендой неоднократно акцентируется автором; с другой стороны — коротасаровский Абель предстает в совершенно противоположном, «антибиблейском» качестве: не агнец и жертва, как мы его знаем, а неотвязный преследователь, излучающий угрозу и страх, агрессор, преступник, одно из воплощений кошмара и апокалипсиса. Объяснение такой неожиданной реверсии мифа дает ранняя публикация Кор-

тасара «Короли» (1949) — диалоги, в которых переосмысливается миф о Тесее и Минотавре. В этом произведении Минотавр представляется как поэт, исключение из ряда условностей, олицетворение абсолютной свободы личности (потому-то его и изолируют, что своей самобытностью он угрожает царящему в обществе регламенту); Тесей же выступает как ревностный служитель регламента, стандартизированная, лишенная воображения личность (вернее, безличность). Точно в таком же направлении переиначивается библейская легенда в романе «Экзамен». «... Я еще должен вычистить из себя ту свою враждебную часть, которая выросла во мне с целью убить вольную часть моего существа,— рассуждает Хуан, поэт по призванию...— Это Каин мятежный и свободный должен остерегаться мягкого, вязкого, хорошо воспитанного Абея». Авель — это антипоэт, безличность, стандарт; он появляется в толпе и в толпе же растворяется; он человек толпы и ее олицетворение, или, как называет его Хуан, «тучная жертва»; безличная людская масса, сама себя и себе же приносящая в жертву.

Образ Авеля — нить, выводящая к центральной идее романа; эта идея обретает ясные очертания в великолепно выписанной сцене музыкального концерта. Напрашивается вопрос: почему в «Экзамене», как и в позднейшем рассказе «Менады», концерт классической музыки завершается скандалом (здесь — локальной дракой, там — массовым психозом)? Почему так акцентируются моменты неестественности, неловкости, абсурда? Думается, потому, что, по мысли Кортасара, концерт подобного рода по неизбежности являет закамуфлированное условностями сущностное противостояние личности (выражаемой триединством композитор — исполнитель — инструмент) и безличности — толпы. В «Экзамене» эта мысль подчеркивается и выбором репертуара: солирующая скрипка олицетворяет одинокий голос Человека; не случайно, кстати, и то, что скрипичная партита Баха упоминается еще раньше, в первой главе: она звучит из репродуктора опять же при столпотворении («... и скрипка прорывалась сквозь здравницы и пересуды»). Скрипач, выходящий на сцену, выступает в роли жертвы, идущей

на закляние: «Что-то было в нем от козла отпущения, напоминало путь на Голгофу». Противостояние личности и толпы, еще до разразившегося скандала, осуществляется в мире звука: музыкант созидает «бесполезно прекрасную злокозненную песню», публика продуцирует антимузыку — не столько защитную, сколько агрессивно наступательную: «словно жир на огне, затрещали первые аплодисменты»; «наверху кашляли сухо, неприятно»; «сеньор Фунес звучно высморкался, заглушив для всех сидящих рядом начало сонаты»; «в соседней ложе пронзительно завизжала сеньора»; «с галерки неся рев и визг, словно работали сверло и рубанок» и т. д. и т. п. Скандал — апофеоз этого противостояния — читается как метафорическое растерзание музыки (личности) толпой.

Наряду с апокалипсическими в романе ясно прослеживается ряд повторяющихся образов, выражающих светлое начало жизни, — таких, как (пусть читателя не смущает этот прихотливый набор) скрипка, кочан цветной капусты, насекомые, собаки, голубь, пух, свет и др. Купленный на рынке кочан цветной капусты вызывает неподдельное восхищение Хуана: он носит его с собою, оберегает его, говорит о нем, вспоминает о нем накануне бегства. Чем так привлек Кортасара (и его героя) этот кочан? Дело, очевидно, в том, что по ботанической классификации кочан цветной капусты — это цветок; цветок — да не такой, как все, в котором и цветка-то не заподозришь, то есть он в силу своей особенности воспринимается писателем как знак неординарности, внутренней свободы, личностности. Любуясь на «это цветочудо... эту грандиозную цветосилу, этот цветосмысл», Хуан сравнивает кочан с растительным мозгом и глазом насекомого, увеличенным в тысячи раз. С насекомым же сравнивается и скрипка: «...Послышались звуки — словно бились и жужжали насекомые, это скрипач... настраивал инструмент. «Великий деревянный сверчок», — подумал Хуан». В одном из интервью, поясняя обилие анималистических мотивов в своих произведениях, Кортасар говорил: «В животном мире, особенно в мире насекомых, меня привлекает то, что этот мир живет вокруг меня, но в состоянии полной и абсолютной некоммуникабельности со мною». В ро-

мане «Экзамен» мотив насекомых имеет двойкий смысл: он обозначает естественную жизнь, противопоставленную всему условному, выморочному, и в то же время абсолютно независимую жизнь, протекающую в Городе, но как бы и вне Города. В этом — в полнейшей естественности и независимости — единственно возможный способ существования подлинной личности и поэзии: потому-то сравнения с насекомыми имеют не уничижительный, а облагораживающий смысл. Насекомые тянутся к источникам света — фонарям, прожекторам, лампам, которые в туманной мгле и ночи заменяют солнце; к фонарю же взлетает и пух — еще один постоянный мотив романа, выражающий эфемерную, разлитую в воздухе жизненную субстанцию (пушинка слетает с губ смертельно раненного, как последний вздох). Но все эти мажорные реалии подвергаются губельному воздействию толпы (тумана): кочан цветной капусты уродуют в давке; звуки скрипки тонут в людском гомоне; псы, убегающие от тумана в метро, гибнут под колесами поездов (перевозящих толпы); пух, не долетев до фонаря и отяжелев от сырости, ложится под ноги прохожим; свет начинает мерцать, словно пламя свечи перед тем, как погаснуть (примечательна реплика Хуана: «Ну и дела! Нашествие варваров. И, разумеется, свет гаснет»); и только насекомые, защищенные абсолютной некоммуникабельностью, продолжают свою загадочную маргинальную жизнь.

По мере приближения к финалу романа мажорные мотивы стихают, минорные же, обрастая новыми вариациями, звучат все громче и надрывнее. Картина агонии города, хотя и воспринимается как нечто совершенное, целостное, внутренне алогична; однако именно элемент абсурда придает ей потрясающую эмоциональную силу, поскольку иррациональное страшит всегда больше, нежели конкретная угроза. Речь здесь идет не об отсутствии внешней мотивации происходящих событий (мотивация есть, но лежит она в подтексте романа — это «нашествие варваров», масс-культура, которая сублимируется в феномене диктатуры); как представляется, этот «привкус» иррациональности достигается главным образом за счет мастерского совмещения в сознании читателя трех различных эсхатологических

картин. Каждая образуется особым сочетанием взаимодействующих мотивов, заявленных еще в первой главе романа. Одна картина изображает город в образе гниющего трупа: влажность, затхлость, «голоса, приглушенные сыростью» — эти мотивы ассоциируются со склепом; на улицах, в домах, повсюду появляются загадочные ядовитые грибы (эти грибы-паразиты, продукты гниения, воспринимаются как метафорическое обозначение трупных червей); по городу распространяется «запах сладковатый и противный», переходящий в зловоние; деревянные тротуары и строения начинают флуоресцировать (гнилостное голубоватое свечение — антипод мерцающего и гаснущего «живого» электрического света); и вот происходит распад, когда в городе проваливаются мостовые и канализация, а люди источают дыхание смерти («Андрес вдруг увидел череп Клары под ее лицом, ее волосами...»). Другая картина рисует образ пылающего города: она создается путем многократных упоминаний о дыме (так до конца и неясно, что именно окутало город — туман или дым), жаре, дальних зарницах, пожарах, взрывах; на этот же образ, очевидно, работает и фантастический мотив ушедшей из города реки. Третья картина создает прямо противоположный образ — тонущего города. Настойчиво повторяемые и акцентируемые мотивы сырости, влаги, промокания заставляют представить город и людей в виде какой-то водянистой субстанции: «на лицо и на руки налипала влажная вязкая пленка»: тротуары и полы становятся скользкими, люди беспрерывно потеют; все сочится водою, размывается, растворяется в воде. Но ключевым мотивом в этой цепочке становится мотив крысы. Незначительная, казалось бы, деталь: по лестнице пробежала крыса, но почему-то эта деталь не дает покоя героям; и образ крысы все чаще возникает в диалогах и описаниях по мере приближения финала. Смысл этого мотива писатель разъясняет не нарочито, как бы случайно состыковав его в диалоге со словом-разгадкой: «...Судно, когда плывет, всегда рассекает волны, смотри, как красиво... И еще одно,— сказал Андрес.— Думаю, это действительно была крыса». Эти два слова (судно — крыса) в сочетании сразу рожают вполне определенный образ: крысы,

бегущие с тонущего корабля. Город — топкий, мокрый, водянистый — подобен тонущему судну; люди бегут из него как крысы. Так свершается апофеоз «тучного жертвоприношения»: безличность пожирает самое себя.

Подлинное произведение искусства принципиально не может быть понято и исчерпано до конца: без различения, без тайны, без читательского сотворчества искусство задыхается. Предложенная трактовка романа Кортасара, очевидно, — лишь одна из многих возможных. «Экзамен» Кортасара имеет и навсегда сохранит свою тайну — и в этом залог длительной жизни романа.

*А. Кофман*



Я написал «Экзамен» в середине 40-х годов в Буэнос-Айресе, где воображению не нужно было много добавлять к исторической реальности, чтобы получить то, о чем читатель узнает из книги.

В те времена опубликовать книгу было невозможно, и ее прочли лишь некоторые мои друзья. Впоследствии, находясь уже вдали от тех мест, я узнал, что мои друзья в некоторых эпизодах книги увидели предвестие событий, ознаменовавших наши 1952 и 1953 годы \*. Я не ощутил счастья от того, что угадал в этой нашей некрологической лотерее. Это было слишком легко: аргентинское будущее так упорно вытекает из настоящего, что предсказывание грядущих событий не требует от предсказателя особых дарований.

Я публикую это старое повествование потому, что мне, невзирая ни на что, нравится его свободный язык, сюжет без поучений, его особая, буэнос-айресская, грусть, и еще потому, что кошмар, которым он был рожден, по сей день жив и бродит по улицам города.

# I

— Il y a terriblement d'années, je m'en allais chasser la gibier d'eau dans les marais de l'Ouest,— et comme il n'y avait pas alors de chemins de fer dans le pays où il me fallait voyager, je prenais la diligence \*.

«Удачи тебе и — побольше куропаток»,— подумала Клара, отходя от двери в аудиторию. Голоса Чтеца уже не было слышно; изумительно изолированы залы в Заведении, стоит отойти на два шага и сразу погружаешься в чуть жужжащую тишину галереи. Клара пошла было к лестнице, но в нерешительности остановилась у входа в коридор. Сюда отчетливо доносился голос Чтеца из секции А: современный английский роман. Но едва ли Хуан в одном из этих залов. «Беда в том, что с ним никогда ничего не известно»,— подумала Клара. И все-таки решила пойти и посмотреть; яростно зажав под мышкой папку с записями, свернула налево, хотя с таким же успехом могла свернуть и в противоположном направлении. “Was there a husband?” “Yes. Husband died of anthrax”. “Anthrax?” “Yes, there were a lot of cheap shaving brushes on the market just then — ” \*\*

Неплохо бы остановиться на секундочку и посмотреть, может, Хуан

“Some of them infected. There was a regular scandal about it”. “Convenient”,— suggested Poirot \*\*\*. Но его не было. Уже без четверти восемь, а Хуан сказал, что придет в половине восьмого. Такой балда. Сидит, наверное, в какой-нибудь аудитории среди паразитов, завсегдаев Заведения,

\* Много лет тому назад я собрался на охоту за дичью в область западных озер, и так как в том краю, куда я направлялся, не было железных дорог, я нанял дилижанс (франц.).

\*\* «У вас был муж?» — «Да. Он умер от чумы». — «От чумы?» — «Да, тогда в продаже появилось много дешевых кисточек для бритвы. (англ.).»

\*\*\* Некоторые из них были заражены. Разразился настоящий скандал на этой почве.— «Убедительно»,— согласился Пуаро. (англ.)

сидит и слушает не слыша. В прошлые разы они встречались внизу, у лестницы, но, может, Хуану почему-то пришлось в голову подняться этажом выше. «Какой балда. Если только он не опоздал, если только...» В прошлые разы опаздывала она. «Ну-ка сходим на ту галерею, наверняка он застрял там»

“...dans les mélodies nous l'avons vu, les emprunts et les échanges s'effectuent très souvent par” —\* нет, и там его не было. «Хороший голос у этого Чтеца», — подумала Клара, останавливаясь у двери. Аудитория была ярко освещена, и отчетливо видна табличка с названием книги: “Le Livre des Chansons, ou Introduction à la Chanson Populaire Française (Henri Davenson)” \*\*. Глава II, Чтец — сеньор Роберто Чавес. «Это, верно, тот, что в прошлом году читал Лабрюйера», — подумала Клара. Голос легкий, без нажима, прекрасно выдерживал все пять часов чтения. Чтец сделал паузу, и тишина рассыпалась, как полная ложка тапиоки. По длительности паузы слушатели понимали, где точка, где абзац, а где подстрочное примечание. «Подстрочное примечание», — решила Клара. Чтец прочитал: “Voir là-dessus la seconde partie de la thèse de C. Brouwer “Das Volklied in Deutschland, Frankreich...” \*\*\* «Хороший чтец, из лучших. Я бы не смогла читать, я все время отвлекаюсь, а потом начинаю гнать во весь опор». Да еще нервная зевота, когда читаешь вслух; ей вспомнилось, как в пятом классе сеньорита Капелью заставляла ее читать куски из «Марианелы». Первые страницы шли хорошо, а потом напала зевота, и удушье медленно поднималось к горлу, ко рту, а сеньорита Капелью с ангельским личиком слушала в восторге, и вдруг — вынужденная пауза, чтобы подавить зевоту (ей показалось: она вот-вот зевнет и передаст свою зевоту Чтецу, бедняга, какая жалость), — и опять читаешь, пока зевота не одолеет, нет, конечно, она бы Заведению не подошла ни в коем случае.

\* Как мы убедились, в мелодиях заимствования и подмены случаются достаточно часто... (франц.).

\*\* «Книга песен, или Введение к французской народной песне (Анри Давансон)» (франц.).

\*\*\* Смотри вторую часть работы К. Брауэра «Народные песни в Германии и Франции...» (франц., нем.).

«Вон он, Хуан,— подумала Клара.— Идет спокойно, в облаках витает, как всегда».

Но это был не он, просто кто-то похожий. Клара разозлилась и направилась в противоположный конец галереи, там ничего не читали, там пахло кофе, сваренным Рамиро. « Попрошу у Рамиро чашечку, чтобы злость прошла». Было неприятно, что она спутала Хуана с другим. Толстуха Эрлик сказала бы: «Поняла? Это штучки Гештальтской школы: даны три линии, и в воображении завершаешь квадрат. Дано: тело, более-менее худощавое, каштановые волосы, походка праздного портеньо \*, и на тебе: Хуан». Гештальтской школе можно... Рамиро, Рамиро, вот бы мне сейчас чашечку твоего кофе, да только кофе — это для Чтецов и для доктора Менты. Кофе плюс чтение текстов: Заведение. А времени — без четверти восемь.

Две девушки выскочили из аудитории. На бегу перекинулись фразой и, не замечая Клары, бросились к лестнице. «Мчатся слушать очередную главу из очередной книги. Все равно что крутить радио: танго --- и сразу «Лоэнгрин» — рынок — холодильники — Элла Фицджеральд... Заведение должно было бы запрещать подобную всеядность. Сперва хорошенько усвойте одно, дорогие слушатели, и не беритесь за Стендаля, пока не закончите “Zogoibi”. Но в Заведении распоряжается доктор Мента, слуга культуры. Читайте книги и обретете себя. Верьте печатному слову, верьте голосу Чтеца. Воспримите духовный хлеб. «Эти две способны слушать и русский роман у Менги, и испанские стихи, которые так звучно читает сеньорита Родригес. Они глотают все подряд не прожевав, а выскочив из аудитории, съедят бутерброд в здешней закусочной, чтобы не терять времени, и помчатся в кино или на концерт. Они — культурные, они — начитанные. Я в жизни навидалась педантизма, по горло сыта...» У этих девушек бесполезно спрашивать, что они думают о происходящем в городе, в провинциях, в стране, в этом полушарии и на нашей матушке-земле. Сведения — какие душе угодно: Архимед — знаменитый математик, Лоренцо Медичи — сын Джованни, Кот в сапо-

\* Портеньо — житель Буэнос-Айреса.

гах — восхитительная сказка Перро и так далее... Она снова оказалась на первой галерее. Некоторые двери заперты, жужжащая тишина, голос Чтеца. «Les Temps Modernes», № 50, декабрь 1949. Чтец — сеньор Осман Каравацци». «Надо бы послушать чтение журналов,— подумала Клара.— Наверное, занято, темы мелькают одна за другой, как в непрерывном киносеансе: все начинается в тот момент, когда вы входите». Она почувствовала, что устала, и пошла туда, где галерея выходила во двор. Уже зажглись звезды и фонари. Клара села на холодную скамью и искала шоколадку «Долка» с орехами. Сверху, из окна, доносился сухой и отчетливый голос. Мойяно, а может, доктор Бергман, который за три года прочитал всего Бальзака. Если только не Бустаманте... А на третьем этаже, наверное, гнусавая доктор Вольф гнусавит своего Вольфганга Гёте и малышка Мэри Роббинс заливается-читает Найджела Болчина. Клара почувствовала, что от шоколада смягчилась и уже не злится на мужа; ее не разозлили и большие часы на углу, пробившие восемь. По сути, виновата она сама, что пришла сюда, в Заведение,— едва ли Хуана действительно интересовало чтение. В пору, когда вести интересные курсы или читать оригинальные лекции трудно, цель Заведения — не дать хлебу духовному остыть. На самом же деле оно годилось на то, чтобы встретиться тут с другом и поболтать вполголоса, одновременно осуществляя роскошную программу практических занятий, составленную доктором Ментой и деканом Факультета. «Ну, конечно, доктор, молодость есть молодость, дома они ничего не учат. А мы заставляем их слушать произведения литературы в исполнении наших первоклассных Чтецов (у них профессорское жалованье, гребут кучу денег); слово, хочешь не хочешь, доходит, разве не так, доктор Мента?» Доктор Мента... Если я стану повторять все их хитроумные уловки, то и сама в конце концов уверю в Заведение. Лучше дожевать шоколадку. Что там ни говори, а Заведение не так уж плохо; под предлогом распространения мировой культуры доктор Мента устроил сюда десятки Чтецов, и Чтецы читали, а девушки слушали (главным образом девушки, они всегда прилежные ученицы и аккуратно выполняют программу практических занятий), что-

нибудь от всего этого да останется, но лучше, если не Найджел Болчин.

— Завтра вечером, — сказал Хуан. — Решающий экзамен. Ну, конечно, пообедаем. И на концерт пойдём, разумеется. Экзамен поздно вечером, времени хватит на все.

Едва он повесил трубку, злясь, что было плохо слышно и что уже так поздно, как тут же увидел Абеля: тот вошел в бар через дверь, выходившую на улицу Карлоса Пеллигрини. Абель был в синем костюме, страшно бледный и худой и, как всегда, не смотрел ни на кого, а двигался бочком, точно краб, обходя скорее не столы, а лица.

— Абель, — прошептал Хуан, облакачиваясь на стойку. — Абелито!

Но Абель сел в углу, не видя его, а может, не желая видеть, и уткнулся в стену. Хуан глотнул кофе. Он заказал кофе не потому, что хотелось, а по привычке. Ему не нравилось звонить по телефону из бара, не заказав прежде чего-нибудь. Со спины Абель казался еще более худым и точно придавленным непосильным грузом. Сколько времени прошло с тех пор, как они виделись, тогда у Абеля не было этого синего костюма. «При деньгах», — подумал Хуан. Куда естественней было бы им с Абелем поздороваться, пусть даже издали, даже не пожимая рук. Между ними никогда не было раздора, какой может быть с Абелем раздор. Он смутно припомнил соплячек, которые появлялись у них в ванной комнате, когда он, студент, поздно возвращался домой. Бедный Абелито, действительно, это чересчур — спрашивать с него... Он глотнул тепловатого и слишком сладкого кофе и любовно оглядел пакет с цветной капустой. Войдя в бар, он сразу же положил пакет на стойку около телефона, чтобы никому не пришло в голову облокотиться или опереться на него рукой. Какой-то блондин в рубашке без пиджака кричал в телефонную трубку. Хуан еще раз глянул на Абеля, сидевшего в другом конце кафе, заплатил и вышел, с осторожностью неся пакет с цветной капустой.

Он пошел по Кангальо, стараясь не наткнуться на спешивших прохожих. Было жарко и многолюдно. Кафе на уг-

лах ломились от посетителей. «Какого черта они сидят допоздна? — подумал Хуан. — Какие жизни, какие смерти вынашиваются тут? А сам я какого черта оставил в Заведении? Подойти бы к Абелю и спросить напрямик, почему у него такое опрокинутое лицо...» У него сразу, как только увидел Абеля, мелькнуло подозрение, что Абелито... Да нет, просто Абелито никому не нравился — еще одна причина, почему Абелито попадается ему в кафе. Бедный Абель, такой одинокий и все чего-то ищет, ищет.

«Если бы он действительно искал, он бы нас давно нашел», — подумал Хуан.

Он пересек улицу Либертад, потом Талкауано. По четвергам Заведение было освещено особенно ярко. Ни одна аудитория не простаивает. В один поток вместо тысячи набивают шесть тысяч слушателей. Вот, наверное, Мента жалеет, что не заполучил своего Кэванаха \*. Сидит там, в своем кабинете, в темно-синем или черном костюме, просматривает счета, благожелательно принимает посетителей: мы полагаем, что следует повторить курс Достоевского и Рикардо Гуиральдеса \*\*. Слишком много времени уходит на журналы Центральной Америки. Когда откроется фильмотека? Доктор Мента сожалеет, но 31-я аудитория на шесть недель отдается Пересу Гальдосу \*\*\*. «Нелегко руководить Заведением», — подумал Хуан. Он взбежал по лестнице, перемахивая через две ступеньки, и чуть не столкнулся с курносый Гомесом, который мчался по лестнице вниз.

— Скажи честно — рвешь когти от полиции?

— Хуже — от толстухи Маерс, — сказал курносый. — Если меня сцапает, начнет распространяться про теорию Дарвина и поведение антропоидов.

— Мамочка родная, — сказал Хуан.

— Или про свое семейство — о родственниках, о сестре,

\* Патрик Кэванах (1905—1967) — ирландский поэт, автор известной поэмы «Великий голод».

\*\* Рикардо Гуиральдес (1886—1927) — аргентинский писатель, автор знаменитого романа «Дон Сегунда Сомбра».

\*\*\* Бенито Перес Гальдос (1843—1920) — испанский прозаик, автор эпоса «Национальные эпизоды».

которая живет в Рамос Мехиа. Ну, пока. У тебя все в порядке?

— В порядке. А у тебя?

— У меня —

сказал курносый и мрачно удалился.

Хуан прошел через галерею во дворик, где — конечно же — находилась — разъяренная — Клара. Он подошел к ней сзади и пощекотал.

— Ненавижу, — сказала Клара, протягивая ему оставшийся кусок шоколадки.

— От тебя пахнет днем рождения. Подвинься, я сяду. Ты похожа на жертву, на подопытное животное. Доктор Мента сожалеет.

— Негодяй.

— И одариваешь меня благодатью, какой дарят родники и холмы.

— Уже двадцать минут девятого.

— Да, время бежит и утекает сквозь пальцы.

Время подобно ребенку,

ведомому за руку:

смотрит назад...

Это hai-kai\* я написал два года назад, представь себе... Клара, в этом пакете — чудесный цветной кочан.

— Ешь его сам, а не хочешь — сблюй. И кроме того, говорят: не цветной кочан, а цветная капуста.

— Этот кочан — не для того, чтобы есть, — пояснил Хуан. — А для того, чтобы носить его в пакете и время от времени восхищаться им. Я полагаю, что сейчас самый момент, чтобы восхититься цветным кочаном. А потому...

— Я бы предпочла вовсе не видеть твоей капусты, — сказала Клара гордо.

— Ну, взгляни хоть одним глазком, просто для знакомства. Я отдал за него два девяносто на рынке «Дель Плата». Я не мог устоять перед его красотой, вошел в лавочку, и мне его завернули. Он прекраснее, чем фламинго, а ты знаешь, что я... Ну, посмотри...

— Замечательная капуста, я и так вижу, не разворачивай, пожалуйста.

\* Японское трехстишие хайку.



— Он похож на глаз насекомого, увеличенный в тысячи раз,— сказал Хуан, проводя пальцем по плотной сероватой поверхности.— Подумай только, ведь это цветок, огромный цветок капусты, цветной кочан. Че, да он похож еще и на растительный мозг. О цветной кочан, какие в тебе мысли?

— Поэтому ты и опоздал?

— Да. А еще я звонил твоему отцу, он приглашает нас завтра на обед; и еще я смотрел на Абея.

— Умеешь терять время,— сказала Клара.— Абель, папа... Нет, уж лучше цветная капуста.

— И еще я надеялся, что ты простишь меня,— сказал Хуан.— Не говоря уже о том, что мы как раз успели, чтобы послушать немного Мойяно. Как он ласкает голосом, наверное, может довести до оргазма и по телефону.

— Балда.

— Да, конечно. Но этот тип читает с таким совершенством, что абсолютно не важным становится сам текст. Мне нравятся три блондиночки, которые сидят в первом ряду и пожирают его глазами. Бедный радиокавалер. Погоди, я заверну кочан как следует, а то как бы не испортить это цветочудо, этот цельнолитой цветной кочан, эту грандиозную цветосилу, этот цветосмысл.

Слева, из аудитории, находившейся в начале галереи, доносилась словно молитва, приглушенная стеклянной дверью. «Бальмеса \* читают,— подумала Клара,— или Хавьера де Виану \*\*» ...Двое молодых людей вбежали, разъединились, чтобы прочесть объявления на дверях, обменялись сердитыми знаками. Бац! И без колебаний — на «Волчий романс», читает Галиано Сифреди. Парень в больших очках прилежно читал девиз Заведения, золотыми буквами выведенный на стене:

«L'art de la lecture doit laisser l'imagination  
de l'auditeur, sinon tout à fait libre, du moins

\* Хайме Лусиано Бальмес (1810—1848) — испанский философ и публицист.

\*\* Хавьер де Виана (1872—1926) — уругвайский писатель.

pouvant croire à sa liberté».

Stendhal \*

(Однако никто не догадывался, что фраза эта принадлежала Андре Жиду, а доктору Менте ее продали за стендалевскую.)

«Главное — сколотить набор апокрифических идей,— подумала Клара.— Заставить знаменитость произнести то, что она должна была произнести, но не произнесла: приладить ко времени, вложить в уста Цезаря то, что долженствует исходить из уст Цезаря, даже пусть это было сказано Фридрихом II или Иригойеном \*\*...»

— Пошли,— сказал Хуан, беря ее под руку.— Пока есть свободные места.

На середине лестницы они остановились, чтобы как следует разглядеть бюст Каракаллы. Кларе нравился властный рисунок его бровей, сходящихся над глазами, словно мосты. Проходя мимо, она всегда ласково дотрагивалась до него, сожалея, что вырез ноздрей придавал лицу Каракаллы подловатое выражение.

— В один прекрасный день он тебя укусит за руку. Каракалла — он такой.

— Кесари не кусаются. Тем более кесарь с таким ласковым именем, Каракалла, владыка римлян.

— Ничего ласкового в его имени нет,— сказал Хуан.— Как удар хлыста.

— Ты путаешь с Калигулой.

— Нет, Калигула — звучит как название лекарственного растения. Два зернышка калигулы на стакан меда. Или вот так: небо калигулится, кто его раскалигулит? До свидания, доктор Ромеро.

— Добрый вечер, молодые люди,— сказала доктор Ромеро, изо всех сил вцепляясь в перила.

— Скорее, Хуан, Мойяно, наверное, читает уже минут двадцать.

— Это ты остановилась лобызать несчастного кесаря.

\* Искусство чтения должно оставлять воображению слушателя если не полную свободу, то по крайней мере возможность верить в свою свободу. Стендаль (*франц.*).

\*\* Иполито Иригойен (1852—1933) — аргентинский политический деятель и публицист.

— А что такого? Каракалла того заслуживает, он добро мне. Теперь на него никто не глядит, а бывало, глаз не сводили.

— А он и глазом не моргнет,— сказал Хуан.— Римляне, они такие. А доктор Ромеро стала как слон. Слон обернулся и глядит на мой пакет. Учужал цветной кочан.

— И ты с ним пойдешь в аудиторию? — сказала Клара.— Будешь шуршать бумагой, всем мешать.

— Если бы я мог, я бы вдел кочан-цветок в петлицу. Причуда в духе Каракаллы. Правда, красивый? Таких цветных кочнов больше нет.

— Вполне сносный. Но дома у нас покупают крупнее.

— Ох уж мне этот твой дом,— сказал Хуан.

Чтец обозначил конец главы паузой. И прежде чем начать новую, позволил желающим откашляться, достать носовые платки, обменяться краткими впечатлениями. Как опытный пианист, он давал несколько секунд передышки, однако не затягивал ее, чтобы не рассеялись флюиды, эта плотная субстанция, которая склеивала его голос и сидевших в аудитории людей, его чтение и их внимание, которое не так-то легко заполучить.

И, наклонившись, потихоньку —

«Moïse prenait de l'âge, mais aussi l'apparence. Les banquiers ses contemporains, qu'il avait dépassés à trente ans en influence, à quarante en fortune...» \*

— Дай я положу сверток между нами,— попросил Хуан.— Толстуха, слева от меня, того гляди, раздавит кочан.

— Давай сюда капусту,— сказала Клара и потянула на себя пакет (бумага защуршала, Андрес Фава обернулся и скорчил им рожу). В воцарившейся наконец тишине голос Чтеца лился негромко и без нажима. Клара вдруг вспомнила:

— А что он делал?

— Кто?

\* Моисей, становясь старше, выглядел все внушительнее. Банкиры, его ровесники, которых в тридцать лет он опередил по влиятельности, а в сорок по богатству... (франц.).

— Абелито в кафе.

— Не знаю. Наверное, искал тебя.

— А-а. Но ищет меня он там, где меня нет.

— Именно поэтому,— сказал Хуан,— и ищет.

— Замолчите,— заворчал Андрес.— Стоит вам появиться, все катится к черту. Я отвлекаюсь, понимаете? Мозги выключаются.

«Абелито,— подумала Клара, дружелюбно глядя на, пожалуй, слишком тонкую шею Андреса и безжалостно внимательно — на перманент, так портивший Стеллу, которая, конечно же, сидела рядом с Андресом.— Действительно, ищет меня там, где меня нет и где никогда не было. Бедный Абелито».

Стелла медленно засунула руку в карман Андреса. Стелла медленно засунула, медленно руку в карман Андреса засунула Стелла. Совсем нелегко засунуть руку в карман брюк, не своих, а мужчины, сидящего рядом. Андрес с дурацким видом поглядывал на нее искоса. Самое смешное, что носовой платок был совсем в другом кармане.

— Мне щекотно.

— Дай платок, я высморкаюсь.

— Поплачем вместе, дорогая, но платка у меня нет.

— Нет, есть.

— Есть, да не про вашу честь.

— Противный.

— Сопливая.

— Просил потише,— сказал ему Хуан,— а сам поднимаешь шум из-за платка. Уважайте хоть немного культуру. Дайте послушать.

— Вот именно,— сказал толстяк, сидевший справа от Стеллы.— Уважайте хоть немного.

— Совершенно верно,— сказал Хуан.— Именно это я и говорю: уважайте хоть немного.

— Вот именно,— сказал толстяк.

Клара слушала: «Eglantine entrain, et redonnait subitement leur rialité, pour les yeux do Moïse emu, au taupé et au Transvaal» \*—

\* Эглантин вошла и сразу же, в глазах взволнованного Моисея, вернула реальность кротовой шкурке и Трансваалу (франц.).

и оценила умение Чтеца минимально пользоваться жестами. «Я бы на его месте вовсю размахивала руками,— подумала Клара,— а Хуан, читая мне заметку из «Критики», может опрокинуть стул». Она совсем отвлеклась и уже не способна была сосредоточиться (она решила, что потом прочтет книгу сама, как собиралась прочесть столько книг, которых так и не прочитала), а потому принялась снова разглядывать спину Андреса, волосы Стеллы, ничего не выражающее лицо Чтеца. И удивилась, обнаружив, что ощупывает пальцами пакет, словно насекомое скользит по холодной морщинистой поверхности кочана. Она поднесла пальцы к носу: пахло влажными отрубями, и дождливым днем в комнате с пианино и мебелью в чехлах, и спрятанным в шкафу альбомом «Для тебя».

Хуан оставил кочан на ее попечение и, дождавшись паузы, подсел к Андресу слева. Теперь они могли разговаривать, не мешая толстяку, потому что толстяк занялся разговором с сеньорой, судя по внешности, пенсионного возраста, в лиловой платье.

— В один прекрасный день она всерьез исследует содержимое твоего кармана,— сказал Хуан,— и обнаружит, что у тебя мало общего с Чарльзом Морганом.

— Инспекционная проверка, че,— сказал Андрес.— Ну, что нового?

— Все по-прежнему. И вы, Стелла, хороши, как всегда.

— И вы все такой же,— сказала Стелла.— Все приятели Андреса как один лгуны и бесстыдники.

— Ну просто очаровашка,— сказал Хуан Андресу.— Уверен, ты не понимаешь, какое сокровище тебе досталось.

— Не скажи,— ответил Андрес.— Я как никто умею ценить достоинства и очарование Стеллы. Я уже исписал несколько тетрадей хвалами в ее адрес, и когда-нибудь потомки узнают, чем для меня был этот город благодаря Стелле.

— А вы пишете, молодой человек? — спросил Хуан.— Как замечательно. У вас большое будущее.

— А вы, юноша? Не пишете? Это очень печально, поверьте.

— О, не беспокойтесь, молодой человек. Я тоже пишу. В

нашей интеллигентной среде пишут все, буквально все. А до меня дошли слухи, что вы ведете что-то вроде дневника, и мне бы хотелось его как-нибудь полистать, если вы не против.

— Ты уже говорил об этом,— сказал Андрес.— Но это не дневник, а скорее ночник, пишется ночами.

— Вы слышали? — сказала Стелла.— Похоже на сирену.

— Это и была сирена,— сказала Клара.— Да такая, что пробуравит звуконепроницаемые перегородки нашего богоспасаемого Заведения.

— Мифология кончается, едва соприкасается с грубой реальной действительностью,— сказал Андрес.— Лично я предпочел бы пойти поболтать куда-нибудь, где можно, не стесняясь, использовать свои голосовые связки. Стелла, обожаемая, ты не рассердишься, если мы прервем твое интимное общение с литературой?

— Осталось каких-нибудь пять минут,— заняла Стелла, легко путавшая факт присутствия с пользой, которую можно было из этого факта извлечь.

— Пять минут — раз плюнуть,— сказал Андрес.— К тому же Клара не дает слушать, шуршит бумагой. Невероятная штука, че, как люди преклоняются перед этой так называемой художественной литературой. Однажды вечером в Луна-парке на боксерских рингах я видел одного, который между раундами успевал прочитывать пару страничек Ясперса.

— Я не собиралась мешать тебе, шуршать бумагой,— сказала Клара.— Это все он, купил овощ и отдал мне на попечение.

— Я не хочу, чтобы его раздавили,— сказал Хуан.— Итак, я сказал, перед тем как наш разговор грубо прервали, что не имел ничего против того, чтобы ты дал мне почитать твои последние эссе. Я высокого мнения о твоих литературных опытах и, кроме того, смиренно следую предначертаниям судьбы: читаю чужие жизни и умозаключения. Именно так было с Абелем. А вот с Кларой гораздо хуже: она высказывает умозаключения устно, напрямую, как говорится, от производства к потребителю, без

средника. И самые, представь себе, интимные подробности. У мамы четыре зуба — вставные, брат — счастливый обладатель пластинок Синатры. Зачем мы ходим в Заведение? Лучшие книги не здесь.

— Без пяти девять,— сказала Стелла.— Сегодня я была невнимательна...

— Не расстраивайся, дорогая,— сказал Андрес.— Когда это чтение закончится, я поведу тебя слушать Вики Баума.

— Противный. Ты что, не понимаешь: я хочу практиковаться во французском. А отвлекаюсь я по вашей милости. Просто ужас.

Клара растроганно погладила ее по волосам. «Она притворяется идиоткой или на самом деле — идиотка? — подумала Клара.— Бедный Андрес, однако, похоже, он сам ее выбрал». Волосы у Стеллы были густые, тугой волной ложились в ладонь, мягко скользили меж пальцев. И стояли нимбом вокруг головы, сквозь который Клара увидела Чтеца: тот закрыл книгу и поднялся. Стулья затрещали и заскрипели, словно обменивались друг с дружкой впечатлениями о прочитанном. «Знания для бедных»,— подумала Клара. Книжка за книжкой, неделя за неделей. Свет мигнул два раза, погас и снова зажегся: одна из удачных выдумок доктора Менты, как очистить помещение в девять ноль-ноль.

Андрес, шедший рядом с Кларой, ошупал пакет.

— Добрый овощ,— сказал он.— А то ты больно худая.

— Боевая тревога,— сказала Клара.— Завтра решающий экзамен. А ты, Андрес, зачем сюда ходишь?

— О, по правде говоря, я вожу Стеллу практиковаться в фонетике. Мне самому все равно, ходить или не ходить. Должно быть, привычка осталась с университетских времен, и потом, здесь всегда кого-нибудь встретишь. Как мне повезло сегодня, например.

— И правда, в последнее время мы так редко видимся,— сказала Клара.— Дурацкая жизнь.

— Это плеоназм. Но в Заведении довольно занятно, к тому же Стелла воображает, что нам обоим это на пользу. Мне лично больше всего нравятся сэндвичи из здешнего буфета, особенно — с паштетом.

Клара искоса поглядела на него. Привычный, необычно-

венный, шустрый таракан-очкарик. А он вдруг довольно рассмеялся.

— Бедняжка, значит, тебе предстоит испытания. Так что же ты тут теряешь время?

— Так лучше, мы уже не можем заниматься,— сказал Хуан.— Накануне решающего боя тренировки всегда щадящие Клара сдаст, я уверен. А я — не знаю. Иногда такое спрашивают...

— Действительно,— сказала Стелла.— Это как на распродаже шампуня, я начинаю грызть ногти — нервы не выдерживают...

(Стелла —

«Сеньорита, этот — по пятьдесят песо. Берете?»

«Я...»

«Очень миленький, сеньорита. Мне нравятся отважные девушки. Ну-ка, сеньорита.

«Кто открыл закон плавания тел?»»)

— Надо прибегнуть к трюку,— сказал Андрес.— На глупый вопрос — глупый ответ. И тройка за столом призадумается — дурачишь ты их или ты их перемудрил. А время идет, им скучно, и в конце концов они тебе ставят зачет.

— Не все так просто,— сказал Хуан.— Но последний, решающий, экзамен — это не хвост собачий. Особенно для меня, я расплачиваюсь за грехи самообразования, довольно беспорядочного самообразования, потому что только дурак может поверить, будто в благословенных аргентинских аудиториях можно чему-то научиться.

— Клара, наверное, знает материал,— сказала Стелла.— Я уверена, она много занималась.

— По всей программе,— сказала Клара со вздохом.— Но это как колодец: сколько ни смотри в него, видишь только свое лицо, неумытое.

— Жутко боится,— объяснил Хуан.— Но она сдаст. Че, а куда ты сейчас собираешься?

— Да так, скоротаем вечерок со Стеллой, выпьем вермута.

— И мы с вами.

— Идет.



— И поговорим о черных масках,— сказала Клара.

— И об Антонио Берни,— сказала Стелла, обожавшая Антонио Берни.

Адрес с Хуаном немного отстали. А девушки, под руку, смешались с толпою, выходявшей из аудиторий. Откуда-то доносился голос Лоренсо Уоренса, спешившего дочитать главу. Довольно много народу на цыпочках, со смущенным видом выходили из аудиторий.

— Бедный автор! — сказал Адрес.— Смотри, рвут когти, не дождавшись, пока Уоренс кончит.

— Чего ты хочешь, старик, он же читает «Новую Элоизу»,— сказал Хуан.

— Понимаю, но можешь ты мне объяснить это нестерпимое желание выскочить наружу? Как в кинотеатре: полчаса стоят в очереди перед сеансом, а потом у них нет времени досидеть до конца... Я полагаю, это бессознательное выражение нестерпимого желания. Во всем мире, наверное, одинаково. Знаешь, сейчас появились доморощенные социологи: норовят объяснить специфически аргентинскими формами поведения просто-напросто специфические формы. Сколько чепухи говорится о нашем аргентинском обществе, о нашем так называемом эскапизме.

— Но ведь это правда, у нас люди никогда не знают покоя, все им чего-то надо,— сказал Хуан.— Беда в том, что причина их нетерпения так же существенна, как при заварке чая-мате (ну-ка посмотри, не закипела ли вода, скорее, скорее, наверняка уже закипела, Господи боже мой, ну что же это такое, ни на минуту нельзя отвернуться...)

— Мате — вещь серьезная,— сказал Адрес.

— А то еще боятся опоздать на поезд, а поезда ходят каждые десять минут. Знаешь, один раз я купил абонемент на цикл квартетов. Рядом со мной сидела сеньора, которая всегда уходила перед последним квартетом. На третьем концерте мы уже стали друзьями, она мне объяснила, что если она опоздает на поезд до Ломас-де-Самора, то ей придется двадцать минут ждать на площади Конституции. И, таким образом, она меняла *Assez vif et rhythmé* Равеля на двадцать минут.

— И не такое еще меняли на чечевичную похлебку,—

сказал Андрес.— Обрати внимание: в той или иной форме человек постоянно повторяет основные преступления. Сегодня — Иксион \*, завтра — маленький конторский Макбет. И мы еще осмеливаемся просить сертификат о хорошем поведении.

— Может, поэтому я, входя в полицейский участок, всегда испытываю страх,— сказал Хуан.— Кристально чистым досье никто похвастаться не может, че.

— Поди знай,— сказал Андрес,— может, беды, что на нас сваливаются, или болезни — всего-навсего наказание. Сдается мне, Фрейд об этом и писал; взять, к примеру, лысину. Не кажется ли тебе, что лысые — возможно, жертвы какой-нибудь не осознавшей себя Далилы, а страдающие артритом — просто-напросто когда-то оглянулись посмотреть на то, на что не должны были смотреть? Однажды я видел сон, будто меня приговорили к высшей мере. Но я имею в виду не смерть, наоборот. Высшей мерой наказания было жить по ту сторону сна и все время вспоминать то, что я уже забыл; наказание заключалось в том, что я все забыл.

— Вот так иногда рассуждал Абель,— сказал Хуан.— Само имя обрекало его быть тучной жертвой. Может, потому он и ходит с таким видом, потому он спит и видит поменять все роли и строит из себя злодея.

Андрес ничего не ответил. Они пошли вниз по Кангалью, жар дышал в лицо.

— Осторожней с пакетом,— попросил Хуан, нагоняя девушек.— Лучше дай его мне, Кларита, ты, моя дорогая, на улице — сущее бедствие.

Хуан снова поравнялся с Андресом. Стелла предложила пойти куда-нибудь, где мясо жарят на решетке-парилье, и перекусить. Они дошли до Сармьенто, собираясь сесть на 86-й трамвай, но Клара захотела позвонить домой, и вся компания остановилась на углу ждать ее. Андрес пытливо смотрел на Хуана.

— Ты — потрясающий тип. А не надо вам пойти позаниматься?

\* Мифологический персонаж, прародитель кентавров, наказанный Зевсом за преступления.

— Нет, я лучше выпью литр вина и поболтаю с тобой. Мы стали редко встречаться, почти как близкие друзья.

— Спаси нас Бог от этого, а тебя пусть он заодно спасет от плоских парадоксов. Ничего не чувствуешь в воздухе?

— Туман, золотце мое,— сказала Стелла.— В этот час всегда поднимается туман.

— Ах ты моя ненаглядная. В этот час поднимаются одни только проститутки и танцовщицы. Но туман, пожалуй, действительно есть.

— В центре всегда сыро,— зачем-то сказал Хуан.

— Одежда к телу прилипает,— сказала Стелла.— Я сегодня проснулась и подумала даже, что простыни мокрые.

— Когда ты просыпаешься,  
будильник истекает кровью.

Когда ты просыпаешься,  
на часах без двадцати двенадцать.

А простыни — хоть выжимай, любовь моя,  
когда ты просыпаешься,— сказал Андрес.— Я дарю эти слова для болеро тебе, любительница кандомберо, порадуй свое сердце.

Стелла, довольная, ущипнула его за ухо и звонко шлепнула.

— Когда я просыпаюсь,— сказал Хуан,— я принимаю срочные меры, чтобы опять заснуть.

— Как говорится, закрываешь глаза на суровую действительность,— сказал Андрес.— А теперь задумайся вот над чем, это важно. Ты говоришь, что тебе хочется заснуть снова и ты стараешься заснуть. Но ты ошибаешься, если думаешь, будто таким образом возвращаешься к самому себе и как за каменной стеной прячешься за тем, что отгораживает тебя от внешнего мира. Спать — значит всего-навсего затеряться, и, стараясь уснуть, ты стараешься убежать от всего.

— Я знаю, это короткая легкая смерть без последствий,— сказал Хуан.— Но в том-то, старик, и величие сна. Каникулы от самого себя — не видеть ничего вокруг и самого себя не видеть. Замечательно, че.

— Может быть. Человек присасывается к себе, как пиявка, так что даже в полусне не причинит себе вреда. Я, на-

пример, всегда в четыре утра встаю пописать, поскольку привык допоздна тянуть мате. И когда я снова залезаю в постель, я замечаю, что тело само («Ищет тепленькое местечко!» — крикнула Стелла), вот именно, дорогая, ищет тепленькое местечко, ищет свой отпечаток, понимаешь, свой теплый живой след. Ноги ищут теплый уголок, человека тянет забиться в свою теплую норку... И ничего не поделаешь, старик, недаром мы считаем, что А есть А.

— Единственное, что ищет прохлады,— это голова,— сказал Хуан.— А это доказывает, что голова есть думающая часть человеческого существа. Вон и Клара идет, а там, кажется, и восемьдесят шестой.

Трамвай словно повис сам на себе, так ковыляет женщина, нагруженная свертками и пакетами. Хуану (который пристроился в углу и завладел окошком благодаря непонятно как вспыхнувшему азартному столкновению, которые всегда происходят при конфликте разнонаправленных волевых усилий и почти всегда разрешаются по воле случая, «а ты стоишь, как стояла,— думала Клара,— в то время как здоровенный оболтус радостно захватывает место»), Хуану нравилось смотреть на туман за окном и на огни, которые, будто стремительные тигры (но как красиво, как красиво), мелькали по запотевшему стеклу. Как всегда, стоило ему войти в трамвай, им овладевало чувство отрешенности и покоя. Он вручал себя трамваю, и тот обплывал город медленно, часть за частью, со многими поворотами, остановками и резкими рывками. Туман усиливал ощущение пассивности и помогал соскользнуть в короткую пятнадцатиминутную нирвану длиною в десять кварталов, которые настоящий портеньо никогда не пройдет пешком, если этого можно избежать. Дерево бодхи Будды звалось 86-м. С точки зрения кабалистики 86 составлено двумя четными цифрами и делится на  $2 = 43$ . И в кармане у него была как раз одна пачка сигарет, однако КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО, ПЛЕВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Под деревом бодхи.

«Как мало надо человеку,— подумал он.— Можно даже без поцелуя. Совсем мало. Чашечка кофе, сваренного с минимальным священнодействием, насекомое, заснувшее на

книжной странице, старый аромат духов. Да почти что ничего...» Каждый раз, намереваясь затеряться под сенью древа бодхи, он соглашался стать трамвайно-счастливым на несколько кварталов.

Многочисленное и деятельное семейство сошло на второй остановке, Стелла предприняла необходимые усилия, чтобы перекрыть подступы к освободившейся скамейке, и пропустила Клару к окошку. Обе радостно улыбались, как обычно улыбаются люди, которым удалось-таки хорошо устроиться в переполненном трамвае (тема для моралистов). Они пытались разглядеть улицу за окном, но из-за тумана видно было немного.

— Как ужасно выглядит в темноте театр «Колон», — сказала Клара, протирая запотевшее стекло.

— Уф, я уж думала, старухи никогда не сойдут, — сказала Стелла. — Я так устаю стоять в трамвае, даже если ехать всего десять кварталов. Представляешь, Андресу пять лет назад предложили «моррис» за четыре тысячи песо, а я ему сказала, лучше подождать, что скоро, наверное, будут продавать американские автомобили, и дешевле.

— Одним словом, сунула нос куда не следует, дорогая. В этой стране идеи не реализуются.

— Но все так говорили.

— Тем более. Но Андресу его «моррис» наверняка уже осточертел бы, или еще хуже: вас обоих переехал бы грузовик с прицепом. Представляю его в машине: бросит руль и станет рисовать что-нибудь на ветровом стекле.

— Вот и его мать то же самое говорит. Но все-таки сначала всегда надо попробовать.

Клара искоса глянула на нее. Вот она какая, Стелла, трамвайный философ, маршрут задан раз и навсегда. А что, если у Андреса способности Дюпена: все мысли Стеллы ему известны наперед. Это показалось Кларе занятным. «Какая экономия», — подумала она. Стелла ей нравилась: удобна для ношения. Самое неприятное в таких, как она, то, что они полагают, будто могут взять инициативу в свои руки, но Стелла всегда отставала, как любимое отечество со своим чаем-мате. «И все равно, Андрес, какой плачевный выход.

Терпеть такую пошлячку, бедняга». Выбор Андреса возмутил Клару, хотя Стелле в конце концов всегда удавалось ее растрогать.

— Как в центре темно, — сказала Стелла. — Не нравится он мне такой темный. Смотри-ка, вот витрина, как странно она освещена.

— Красивая шерсть, — заинтересовалась Клара. — А что за звонок? Почему трамвай звякнул?

— Наверное, машина выезжает из тоннеля.

— Нет, скорее трамвайные уборщики.

Стелла не поверила и решила поднять окно. Ворвался горячий воздух, насыщенный туманом так, что все сразу стало влажным. Андрес, стоявший в проходе рядом с Хуаном, резко свистнул, чтобы они опустили окно.

— Правильно, а то я простужусь, а он ужасно злится, когда я простуживаюсь, — сказала Стелла. — Да, кажется, это уборщики. Правда же, шерсть была красивая? Ты, наверное, любишь вязать?

— Люблю, когда прочитаюсь до умопомрачения или перед экзаменом.

— Очень успокаивает. Как горький мате, я терпеть не могу горького мате. Андрес говорит, что он очень успокаивает. Поглядела бы ты, как он ночь напролет тянет мате.

— Он пишет по ночам?

— Да, по ночам. Наденет старую фуфайку, велит мне не шуметь и сидит тянет мате.

В переднюю дверцу вагона заглянул уборщик (Клара удивилась, когда дверь распахнулась словно сама собой. Так бывало, если вагоновожатый хотел сказать что-то полицейскому; она разочарованно удивилась, обнаружив, что на сей раз это всего лишь трамвайный уборщик в огромных башмаках, похожий на крота. «Как в театре, — пришло ей вдруг в голову. — Занавес поднимается — и на тебе! Ты ждал Эдвидж Фейер, а выходит муниципальный инспектор») и устало оглядел толпившихся в проходе людей. Когда же он проворно закрыл дверь,

но сперва внес в вагон свое тело и метлу, оставив дверь за спиной,

потом завел руки за спину, ловким движением иллюзиониста (метла и мусорное ведро с ручкой уперлись в створки двери) захлопнул дверь с сухим и резким щелчком, точно лязгнул зубами тощий пес —

«Как, должно быть, они скучно живут», — подумал Андрес, глядя на бледное лицо уборщика. Он знал, что скука (в его понимании) есть наказание за совершенства, и с душевной грустью предполагал, что уборщики тоже могут страдать от скуки. Он увидел (ибо был высок), что второй уборщик начал убирать вагон с другой площадки. Он уцепился за ручку, когда трамвай круто повернул у площади 25 Мая и, как всегда на этом месте, хвостовой вагон тряхнуло. Хуан достал книгу и принялся читать. «Замечательно, пишешь-пишешь, а потом тебя читают в трамвае», — Андрес чуть было не вырвал у него книгу, вот так: тихонько, тихонько просунуть руку за спину сеньоры, нагруженной свертками, и выхватить книгу, прежде чем тот поймет, в чем дело. «Вот так-то, — подумал он, уже меньше раздражаясь. — Докатились, одним словом, трамвай у нас стал читальным залом. В таком случае надо подумать о здоровье и писать книги, принимая во внимание обстоятельства, в которых они будут читаться. Одни главы для чтения за кофе, другие — для трамвая, а какие-то для субботы и воскресенья, когда мы, умытые и надушенные, садимся в удобное кресло, готовые за доброй трубкой воспринять порцию культуры. Так будет лучше». Он увидел, как Стелла с Кларой поднялись, давая уборщику возможность почистить их сиденья. Высокий уборщик занимался скамейкой Клары и Стеллы, а скучающий орудовал щеткой под ногами у Андреса: тот сперва поднял одну ногу, потом — другую и смотрел, как стоявший впритык к нему парень проделал то же самое; а сеньора в затемненных очках со страхом следила за движениями щетки и все теснее прижималась к скамейке, пока чуть ли не въехала задом в лицо сеньору пенсионного вида, который, насколько это было возможно, откинулся на спинку скамейки, заслоняясь «Пятым доводом», и все-таки ему не удалось превратить книгу в ширму и как следует отгородиться от сеньоры в очках.

— Как будто не видят, я уже два раза сказал, чтобы

встали, а они хоть бы что,— проворчал уборщик. И Хуан, немного смущенный, захлопнул книгу и встал со скамейки, пробормотав что-то, чего Андрес не разобрал. Сеньора с пакетами вздохнула где-то у самой груди Андреса, а за ней стоял Хуан, заложивший пальцем недочитанную страницу, и злился, что ему помешали.

— Видишь, бедный автор совсем не рассчитывал на подобные забавы,— сказал Андрес.— Слово «забава» в данном случае имеет особый смысл. Смотри: автор трудится над стилем, закладывает паузу, модулирует, скандирует, располагает слова, выстраивает период, а потом ты читаешь, и вдруг в середину фразы неожиданно-негаданно влезает уборщик.

— Сукин сын,— сказал Хуан, не щадя слуха сеньоры в очках.

Андрес подмигнул девушкам, снова устроившимся на скамейке. В центре вагона началась сумятица, уборщики продвигались к центру с обеих сторон, и пассажиры, стараясь пропустить их, из последних сил жались друг к другу. Но совсем худо стало, когда

(Хуан уже сел обратно на свое место, но зачем, насмешливо подумал Андрес, если через три квартала все равно выходить)

один из уборщиков нагнулся, нажав прежде ногою на педаль, чтобы ведро открылось, нагнулся, чтобы собрать с пола пух, использованные трамвайные билеты, газеты, пуговицы, обрывки, засохшую на плевках пыль, волосы, ореховую скорлупу, спичечные коробки, почтовые квитанции,

он нагнулся, хотя и не хотел нагибаться (потому что совок был с длинной ручкой, но уж слишком много набилось в трамвай народу, а трамвай освещен плохо, и на полу ничего не видно),

и старался разглядеть, что там, на полу, и толкал пассажиров кепкой, а кепкой можно толкнуть довольно здорово, если в кепке — голова, добросовестно относящаяся к своим обязанностям, а на противоположном конце горизонтали столь же энергично двигался зад уборщика, согнувшегося под прямым углом к полу. И поскольку оба уборщика вот-вот должны были сойтись в центре вагона («К счастью,—



подумал Андрес,— я вне поля их деятельности») и все время наклонялись, подбирая мусор с пола, пространства у пассажиров оставалось все меньше, и они все теснее прижимались друг к другу, так что пуговицы цеплялись друг за дружку с сухим треском, и люди шепотом, стараясь скрыть смущение, обменивались шутками. «Как бы в этой сутолоке,— подумал Хуан,— не раздавили мой кочан». Он не хотел оглядываться на Клару, боясь, что она догадается о его беспокойстве. «Теперь уж я сам его понесу».

— Смотри, что стало с площадью Двадцать Пятого Мая,— сказал ему Андрес многозначительно.— Помнишь, какая она была, эта площадь?

— Конечно, помню,— сказал Хуан.— Ничего не оставили. Спасибо еще, молочные бары не тронули. А придет кому-нибудь в голову, что молоко неприлично, прикроют и эти.

— А оно неприлично,— сказал Андрес.— Не в такой, конечно, мере, как гелиотропы, те вообще — фаллические символы. Девочки, на углу выходим.

— Выходим,— сказала Клара. Ей трудно было продвигаться из-за Стеллы. «Просит дорогу тоном монахини-послушницы, чудом оказавшейся на арене для боя быков,— подумала Клара.— В трамвае, если не умеешь работать локтями, учишь управлять людьми голосом». Через голову уборщика она передала Хуану пакет с капустой и вышла из трамвая; Стелла — за ней. Когда Хуан был уже на подножке, трамвай рванул и стал заворачивать на улицу Коррьентес. Коррьентес была залита светом; в двух шагах от уничтоженного бедного китайского квартала весело начинался добропорядочный город для добропорядочных семейств: красный колпак почтового ящика, маленькое кафе, мягкий тобогган, который унесет тебя к Луна-парку и принесет столько захватывающих дух впечатлений, сколько монет ты отвалишь за это удовольствие.

Репортер слушал «London again» и вспоминал множество милых его сердцу вещей — от лавандового лосьона до мелодий Эрика Коутса. Аппарат «вюрлитцер», предмет эсхатологический, таил в себе угрозу самб и матчишей, и потому ре-

портер предпочитал сидеть рядом с ним в ущерб собственным барабанным перепонкам и бросать в щель новые и новые монетки, чтобы выдавал только «London again» и еще простенькое танго —

Какою, Милонгита, ты была в расцвете,  
Фартовее девчонки я не встречал на свете —

с проигрышами в левой руке, а из-под вздохов мехов — отрывистые звуки рояля, четкий ритм; репортер взмахом пальца ответил на приветствие, посланное ему издали Андресом Фавой, который появился с подружкой и еще одной парой (кажется, это были Хуан с Кларой), а сам продолжал размышлять в духе Хуана Д'Арвенсо над требованиями пианолы, канарейки, соловья...

**А ИМПЕРАТОР УМИРАЛ** (по вине соловья, вот именно, сеньор).

— Разменяйте мне песо на монетки по двадцать, — сказал репортер. — Если этот негр с грязными глазами захватит «вюрлитцер», готов поклясться, он поставит чамамес. Их три в репертуаре да еще чакареры. «Ненавижу фольклор, — заверил он себя. — Фольклор мне нравится только чужой, другими словами, свободный и для меня необязательный, не тот, что навязывает мне зов крови. Вообще зов крови тошнотворен. Сейчас опрокинут по рюмашке и пойдут разговоры. Если бы один Андрес, а то еще с женой, а она чудовишна. Что же поставить?» Список был длинный, в две колонки. Он выбрал пластинку «One O'Clock Jump». И тут подошли Хуан с Кларой.

Андрес со Стеллой у стойки хрустели жареным картофелем и смотрели, как репортер здоровался, а потом придвигал стулья. Клара с интересом разглядывала внутренности «вюрлитцера».

«Молох из кондитерской, — подумал Андрес. — Монетки приносятся в жертву толстопузому горластому божку. Ваал, Мелькарт, распутные животные, выловленные в музыке. О репортер, ты достоин сожаления». Он очень любил репортера, своего товарища по ночным зрелищам боксерских состязаний, поздним посиделкам в кафе, по диалогам о любви, о газетных статьях о грибах, —

репортер спокойный парень, у него маленькая квартирка за четыреста песо в Альсине и повадки настоящего портеньо: не лезь ко мне, и плевать я на все хотел, повадки человека, живущего в этой стране, а она — несчастная страна, тут все в порядке до выборов, а дальше — как сказать

(это танго они, бывало, насвистывали вместе, когда встречались раньше, еще до Стеллы, до этого его падения в сегодняшнюю жизнь — «Осторожно,— сказал себе Андрес,— не надо поддаваться словам. В сегодня падают все и всегда»).

— Пошли, старуха, поболтаем с репортером.

— Иди, я доем картошку, ужасно вкусная,— сказала Стелла.

Когда он добрался до столика, все трое уже удобно устроились, а «вюрлитцер» опасно молчал.

— Вы поглядите на этого парня,— сказал репортер, сжимая ему руку словно гаечным ключом.— Че, и тебе не стыдно смотреть мне в глаза? Пропавший ты человек, чтоб пиджак у тебя был весь в карманах, а в каждом кармане — отсыревшая сигарета, фальшивая ассигнация и шариковая ручка —

— кошмар нашего времени.

— От такого слышу,— сказал Андрес. Они довольно переглянулись. А Клара с Хуаном развлекались, глядя на них.

— Когда вы ужинаете? — спросил репортер.

— Сейчас. Но сперва заморим червячка. Сегодня особый вечер, знаешь, завтра ожидаются большие события.

— Большие события всегда ожидаются, но никогда не происходят,— сказал репортер, который умел быть *blasé* \* в нужный момент.

— Нет, происходят,— сказал Андрес.— Просто они происходят не с тобой. Завтра Клара с Хуаном сдают решающий экзамен. В девять вечера.

— Не вижу в этом ничего значительного,— сказала Клара.

— Разумеется, поскольку это касается тебя. А для нас с репортером это значительное событие. Не каждый имеет друзей, которые стоят на пороге события, тем более такого,

\* *Здесь: утонченным (франц.).*

как решающий экзамен. Надо это событие несколько приподнять и придать ему исторический смысл. Представь себе заголовок: КАТАСТРОФА В ЕГИПТЕ: СГОРЕЛИ ДВАДЦАТЬ ЖЕНЩИН. Люди читают и ужасаются: чудовищная катастрофа. А в то же самое время в других местах в мире умирают десять тысяч женщин, и мир — ничего, живет себе спокойно. Спроси репортера, он знает, как это делается.

Но Хуан вместо этого приоткрыл пакет и показал репортеру краешек кочана. Клара отняла у него пакет и положила на «вюрлитцер», но бармен издали стал делать ей грозные знаки, и Клара переложила пакет себе на колени. «На что идешь ради этого балды. А он тебе и аспирину не принесет, не допросишься». Она погладила пакет, огромное лицо, сплошь из глаз, завернутое в бумагу. Андрес с репортером все говорили и говорили, довольные, что наконец-то встретились.

— Я сегодня вышел в восемь,— сказал репортер.— Че, а почему бы нам действительно не поужинать? Вышел в восемь и зашел сюда послушать «London again». Просто ужас, как мне нравится эта вещь.

— Ужасное дерьмо,— сказал Андрес.

— Может быть, очень может быть. Но, понимаешь, у каждого из нас есть уголок, где гнездится тоска. Моя тоска понимает по-английски, только и всего. Так вот, я поставил «London again» и собирался поставить еще раз, но тут пришли вы. Че, давайте поедим чего-нибудь.

— Стелла хотела жареного мяса.

— Мы все хотим жареного мяса. И поговорить всласть.

— Про Абея,— невпопад сказала Стелла.

— Ты — потрясающая,— сказал Хуан без всякой радости.— Дадим тебе двойную порцию мяса. По-моему, прекрасно, что репортер идет с нами. Нарушит в нашей компании четное число, оно всегда выглядит глупо, и украсит наше общество.

— А глядишь, и заплатит за ужин,— сказал Андрес, подталкивая локтем репортера, который ласково глядел на него.— Наш репортер только что вернулся из Европы, и речи его источают мудрость. Приготовьтесь же вкусить этой

мудрости, запивая семильоном. А кроме того, репортер читает мои литературные опыты или, во всяком случае, читал их в пору нашей доброй дружбы.

— Я бы,— сказал репортер,— и дальше читал их с дорожной душой, но ведь ты же из тех, кто пропадает вдруг на полгода и носу не кажет. Вы его за решеткой держите, дорогая Стелла?

— Ох, если бы могла,— сказала Стелла.— А вот пишет он в самом деле много и все мате пьет. Я уж сказала ему: так заниматься — до добра не доведет.

— Видишь,— сказал Андрес.— Нарисовала идеальный портрет анахорета с чаем-мате, как полагается.

— А почему другие не знают того, что ты пишешь? — сказал Хуан.— У нас человек, как правило, пишет для друзей, издатели слишком заняты листьями в бурю и семью кругами.

— Знаешь, это такое дело: сидишь сочиняешь, потом надо просмотреть все как следует, перепечатать на машинке... А, собственно, какая необходимость людям читать? — стал злиться Андрес.— Да и писать — тоже, разве это хлеб насущный? Да, я веду дневник. Ну и что? И даже не дневник, а скорее ночник. Что из этого? Сделай одолжение, че, почитай, если интересно...

— Ты прекрасно знаешь, что друзьям читают совсем по другой причине,— сказала Клара.

— Согласен, но когда люди сбегаются на чтение как на дорожное происшествие,—

— знаешь, старик, это начинает походить на похороны... толкают речи, льют слова...

— Мы обожаем сборища,— сказала Клара.— Что такое, по-твоему, Буэнос-Айрес? В нашем кругу роли распределены превосходно: ты пишешь, а пятеро или шестеро твоих друзей и близких — читают; на следующей неделе порядок меняется: Хуан пишет рассказ, а ты, я — читаем его... Замечательная система, согласишься. Мне смешно, когда я думаю, что в Заведении, наверное, сотни таких кружков, просто они не знают друг о друге. Уйма народу пишет для того, чтобы их прочитали три, восемь, в лучшем случае двадцать человек.

— От твоих объяснений меня чуть не вывернуло,— сказал Андрес.

— Только не перед ужином, че,— встревожился репортер.— Пошли скорей, зверски хочется есть.

— Туман еще гуще,— сказала Клара на улице, нюхая воздух.

— Это не туман, это — дым,— сказала Стелла.

Репортер ответил неопределенным жестом.

— Ну...?

— Непонятно,— сказал репортер.— Сегодня в редакции как раз говорили об этом. Точно никто не знает. Исследуют.

Хуан пошел вперед, разговаривая со Стеллой и репортером, а Андрес, дав им уйти немного, взял под руку Клару. Та позволила и шла, чуть прикрыв глаза.

— Боишься экзамена? — спросил Андрес.

— Нет, пожалуй, это не страх, а любопытство. Обычно в жизни ты знаешь, что и как должно произойти. И в деталях можешь представить, что будет делать с тобой зубной врач, что ты станешь есть в гостях у тетки... А тут — нет, тут — как колодец, полная загадка.

— Да, тебя ждут скверные полчаса,— сказал Андрес.— Может, пойти завтра вместе с вами? Не знаю, хотите вы видеть там знакомых или нет. Иногда их присутствие ни к чему, например, при прощании с покойником, который был тебе близок.

— Я лично — за. Что бы ни случилось, по крайней мере по окончании выпьем вместе. Ты чувствуешь: жарко — и голова кружится? — сказала Клара, смущенно и крепче ухватила за руку Андреса.— Какая странная сегодня улица, да еще туман.

— Липкий.

— Сегодня у меня нет сил переносить жару,— сказала Клара.— Хуан смеется, когда я говорю: мне достаточно подумать о прохладе, и я ее ощущаю. Как будто я всегда ношу в себе эдакую климатическую ширмочку, но сегодня она у меня отказала. Наверное, нервы сдали,— добавила она смиренно.

— А Хуан спокоен?

— Говорит, что спокоен, но погляди, как он размахивает руками. И все эти ночи напролет писал как сумасшедший. Не допишет и начинает писать стихи. Он в ярости оттого, что творится вокруг, у него душа болит за Буэнос-Айрес, за меня, он плохо ест, зевает.

— Полная картина.

— Ты же знаешь, с ним все так непросто,— сказала Клара.— Для него даже суп сварить непросто. Сделаешь из тапиоки, а ему, оказывается, хотелось из вермишели. Бывает, я целыми днями его не трогаю.

— Но зато ночью полный порядок...— сказал Андрес, отчетливо выговаривая слова.

— О, ночью проще всего. Проблемы Хуана начинаются в тот момент, когда мы просыпаемся. Попроси его почитать стихи, которые он написал на этой неделе, и сам увидишь. Я стараюсь вытащить его на улицу погулять, тащу сюда; я считаю, ему это нужно. А вчера вечером он, засыпая, сказал мне: «Дом проваливается». И замолчал, но я знаю, он не спал. Зачем я тебе все это рассказываю?..

— Низачем, просто надо рассказать — и все. Куда они нас ведут? А, в ресторан напротив стадиона. Стихи, стихи, все кончается ими.

— Все начинается,— умно вставила Клара.

— Я не это имел в виду. Заметь, сегодня, да и каждый раз, когда встречаемся, мы только и говорим о том, что пишем и что читаем.

— И очень хорошо.

— Ты думаешь? Всерьез считаешь, что у нас есть право?

— Объясни, что ты имеешь в виду,— сказала Клара.— Я не понимаю.

— Объяснение будет более литературным, чем вопрос,— печально ответил Андрес.— По правде говоря, я не очень хорошо знаю, что хочу спросить. Вопрос рожден злостью, злостью интеллигента на своих коллег и на самого себя. И страшным подозрением, что все это — паразитизм, никому не нужное занятие.

— Ты говоришь как раскаявшийся гаучо,— пошутила Клара.

— Постарайся меня понять. Я не отрицаю основания и

права быть интеллигентом. Стихи у Хуана — очень хорошие, мой дневник и мои статьи — тоже очень хорошие. Но, Клара, заметь, ведь, по сути дела, и он, и я — все мы слишком чванимся тем, что делаем. Иногда тем, что делаем, а бывает, и самим фактом делания. Я пишу. Хочется парировать коротким и высокомерным английским «so what» \*.

— Но так нельзя ставить вопрос,— сказала Клара.— Важно знать, что пишется. И только после этого судить. Вот Валери мог сказать: Я пишу. А тебе приходилось слышать от него такое?

— Нет,— мирно ответил Андрес.— Я думаю, ты права. Однако сколько разговоров вокруг, обмениваются друг с другом страничками, а за столиками в кафе только и слышно: книги, книги, книги, премьеры, картинные галереи... Вот тут-то и начинается подмена, предательство.

— Тебе остается лишь добавить: «предательство реальной действительности, жизни, действия»,— и ты готов для любой карьеры.

— Ну, разумеется, слова, слова, слова... Но я хотел сказать другое. Меня беспокоит качество нашего интеллектуализма. Он отдает сыростью, как сегодняшний воздух.

— Но ты же пишешь дневник,— сказала Клара, защищая Хуана.

— И от дневника тоже несет туманом. Дело в том, что мы глотаем этот грязный, волглый воздух и запечатлеваем его на бумаге. Мой дневник похож на липучку для мух, мерзкая патока, в которой застряли и подышают массы крошечных живых существ.

— Это уже кое-что, да будет тебе известно,— сказала Клара, которой в детстве нравилось играть в медсестру.

Андрес пожал плечами, крепче взял ее под руку и испытал смутное успокоение. Похоже, в этой ночи найти утешение было нетрудно.

— Я не согласен,— сказал репортер.— Да, Стелла, я бы съел gras-double \*\* и вам советую то же самое. Здесь подают

\* Ну и что (англ.).

\*\* Рубец (франц.).



замечательное энтомологическое ассорти, потрясающую вкуснятину.

— Gras-double,— сказал Андрес.— А мне — ветчину. Итак: ты не согласен.

— Не согласен. Я считаю: нас немного, и мы немного можем: интеллигенция и разум сами выбирают себе зоны на земном шаре, и Аргентина в эти зоны не попала.

— Чисто профессиональное искажение зрения,— сказал Хуан.— Поскольку ты принадлежишь к тем, кого мой тесть называет людьми слов, ты забываешь о людях цифр. У нас разум и интеллигенция сосредоточились в точных науках. Мы целыми днями спорим, отказывая аргентинцам в творческих возможностях, не замечая, что наша область — лишь одна из многих и что есть другие люди, которые тоже работают и делают свое дело. Хороший биолог, наверное, расхотался бы от души, услышав наше попискивание. Потому что мы даже не кричим, а пищим, как мыши. Передай мне половинку грейпфрута.

— Дорогой мой,— сказал репортер,— ни тебя, ни меня нет в тех, других областях, и мы с тобой незнакомы с биологией, чтобы рассудить, действительно ли в ней все обстоит так хорошо. Однако то, что доступно моему зрению, не представляется мне вещами из другого мира. И даже делая скидку на то, о чем ты сказал, я продолжаю утверждать, что Аргентина — страна созерцателей, страна праздных зевак, которые, обладая короткой памятью, всегда готовы верить тому, что видят их глаза, и доверяться словам, которые слышат. Пять — десять тысяч человек, глазающих на курбеты Лабруны: это и есть Аргентина. А заодно можно представить себе пропорцию между бесполезными людьми и творческими. Ты мне скажешь, что у нас есть замечательные поэты, и будешь прав. Я уже говорил, что поэзия — вовсе не достоинство человека, а фатальное свойство, которым он страдает. У нас уйма людей, обуреваемых поэзией, а я тебя прошу, пересчитай, сколько у нас активных творцов, другими словами, интеллектуалов, одаренных умом.

— Что ты заладил,— сказал Хуан.— И почему вдруг такое значение придаешь уму? Что такое ум? Аргентинец или, скажем, портеньо, которого я знаю и с которым живу

бок о бок, всегда был умен. Творчество рождается из нравственности, а не из ума.

— Ой,— сказала Клара,— но одно о нас можно сказать наверняка: мы — вялый народ.

— Вот именно, вялый, без напора. Что характерно для портеньо: у него, как правило, блестящие идеи, но они совершенно оторваны от жизни, они — вне контекста, возникают ни на чем, и применения им нет. А более упорядоченное мышление рождает идеи, которые влекут за собой другие идеи, и в результате складывается целостная картина. Прости меня за такую терминологию, но, по-моему, этот образ наиболее точен. Словом, нам не хватает системы (назовем эту систему свободой или системой во имя свободы), и этот нравственный недостаток серьезнее, чем какой-либо другой. Мы растрачиваемся на бумажных змеев, а какой-нибудь профессориска из Лиона или Бирмингема за несколько недель методической работы придумал бы способ, как уничтожить себя самого и всех остальных.

— Но, по сути, мы не так уж отличаемся от других,— сказал репортер.— Когда я говорил об уме, я главным образом имел в виду плоды разума, а не пустопорожние проявления. А если взглянуть на вещи трезво, то возникает проблема этого, как *ergo, status* \*. Черт подери, какими понятиями я орудую!

— Вот бы опубликовать все это в дневнике, а? — сказала Стелла, с удовольствием предвкушая флан со сливками, который собиралась съесть на десерт.

Андрес слушал и смотрел на Клару. И почему-то вдруг вспомнил Малапарте \*\*: «Всем известно, как эгоистичны мертвые. В мире есть только они, остальные — не в счет. Они, эти колоссы, завистливы: они все прощают живым, кроме одного — что те живые...» А спорят ли мертвые где-нибудь, подумалось ему, вот так же, как Хуан с репортером, и найдется ли среди них хоть один, который смотрел бы вот так, как он сейчас смотрит на Клару (а Стелла смотрит на него, чему-то радуясь). И на мгновение все это — и как они сидят вокруг стола, застеленного скатертью и уставлен-

\* Статуса (*лат.*).

\*\* Курцио Малапарте (1898—1957) — итальянский писатель.

ного едой, и как поблескивает на скатерти нож, ярко, до боли в глазах,— все это показалось ему непостижимым. Видеть вещи, знать их, но не давать им облечься в словесную форму. А эти все говорят и говорят, Стелла, Клара, туман, ночь, ты же знаешь, у нас все живут в долг, а в дверь входили новые посетители, и дверь скрипит, и горьковато пахнет грейпфрутовым соком, они все прощают живым, кроме одного — что те живые. Он глубоко вздохнул, чтобы отступил поднимавшийся снизу ком, который вдруг начинал душить его тоской. Если бы можно...

Он не закончил мысли, не хватало слов, чтобы ее выразить, она могла застрять на середине и раствориться в ничто, в этой черноте, не заполненной черным изнутри, поскольку за чернотой, казалось, не было пространства, и все смотрел на Клару, пытаюсь найти облегчение в неподвижном лице Клары, внимательно следившей за разговором.

— Я тебе признаюсь, что сказать-то нам особенно нечего,— заметил Хуан,— потому что на деле мы проживаем жизнь, стараясь никак не ввязываться в то, что называется приключением человеческой жизни. Мы — крупницы нашей земли и нашей реки, словом, элементы, у которых нет истории или чья история принадлежит другим. Мы заранее устали от того, что у нас нет ничего настоящего, что бы нас неотступно и яростно мучило. Мы, по сути дела, так свободны и так мало привязаны к прошлому или к будущему, что, похоже, невыраженность — самое исконное наше свойство. Помнишь, в тридцатые годы выпустили том в «Полном собрании сочинений Иполито Иригойена». Открываешь обложку, а под ней — чистые страницы. Потому-то наши писчебумажные магазины выглядят гораздо лучше книжных.

— Человек садится за пишущую машинку и уже счастлив,— сказал репортер.— Если тебе нечего сказать, то молчи, или, что гораздо достойнее для таких людей, как мы — жертв Ардолафата, демона слова, всемогущего,— занимайся чистым творчеством, абсолютным *ex-nihilo* \*. И живи,

\* Из ничего (лат.).

словно Буэнос-Айрес раскинулся на кисельных берегах молочной реки.

— Ты ошибаешься. Всякое творчество, даже самое чистое, имеет нравственную основу. А нравственной основы не бывает без человеческого достоинства. Ты можешь вести себя недостойно в личной жизни, но едва начинаешь эту мерзость воплощать в литературное произведение, излагать, как тотчас же возникает необходимость нравственных основ, если, разумеется, речь идет о творчестве, а не о выполнении заказов и поделок для Аргентинского общества писателей или для воскресных иллюстрированных изданий. Даже сукиному сыну и то требуются свои принципы и основы. Прости, я немножко тебя отвлек. Но то, что ты называешь чистым творчеством и с помощью чего, наверно, можно было бы превосходно уйти от детерминизма и построить нечто, хотя тебя и не обеспечили строительным кирпичом, у нас, по-моему, это и по сей день — отвратительный эскапизм. Например, я сам прежде всего репортер. Но пишу стихи и знаю, почему я их пишу. Это — предательство. Ибо в стихах я пишу о ярости и вдовстве потому, что мой взгляд устремлен вовнутрь меня, и я хожу по улицам и изрыгаю все темное, что есть во мне, чтобы другие поняли, какой я мерзавец.

— Ты всегда на себя наговариваешь, — огорчилась Стелла. — Давайте сначала поедим, и не трать прежде времени желчь. Мы все о себе невысокого мнения потому, что на самом деле мы — лучше многих.

— Поразительно, — сказал репортер, глядя на нее с одобрением.

Клара пожалала плечами и откусила сочное мясо. У нее были повадки Хуана, частенько она пользовалась его словечками, а в свободную минуту складывала его головоломки. Рядом на стуле лежал пакет с цветной капустой, бумага шуршала при каждом сотрясении пола. За витринным стеклом виден был туман. Временами он становился гуще, а то вдруг поднимался, и тогда открывалась улица и машины на ней. Клара была на улице, она шла по туману. И слова, звучавшие вокруг, доходили до нее словно издали, как по телефону.

Она подумала об экзамене без страха и почти без надежды. Андрес смотрел на нее и тихо улыбался. Ой как сурово она обошлась с ним только что. Чтобы защитить Хуана, ей всегда приходилось причинять боль другим. Абель, Андрес. Все, что говорилось здесь,— чепуха, невинная студенческая болтовня, называемая греческим словом «эутрапелия».

— Слово «эутрапелия» пахнет гелиотропом,— сказала она тихонько Андресу.— Какая жалость, что нам приходится жить в такое метафизическое время, тебе не кажется? Я говорю это в чисто литературном плане.

— Я не понял тебя.

— Я — тоже,— сказала Стелла-распахнутые-глаза.

— Какие вы не тонкие. Вот слушай: они — и заметь, с каким старанием,— излагают свою платформу, исходя из того, сближает ли то, что пишется, человека с человеком, сближает ли это людей не абстрактных, а людей живых, обладающих плотью и судьбой. Ты видишь, они мыслят на французский манер. Но уверяю тебя, что Мальро — это метафизика. Потому что помимо восьмидесяти килограммов живого веса у каждого есть еще судьба, а судьба — это его смысл бытия, а смысл бытия приводит его к корневой сути, к точке отсчета его существования, а это и есть метафизика.

— Ай, Кларита,— сказал Хуан и грустно погладил ее по щеке.

— И наоборот: если у слова «эутрапелия» запах гелиотропа, то это вполне конкретно, а такая постановка вопроса вполне в духе Малларме и его времени. Видишь, в конце концов всегда ссылаются на Малларме, но в данном случае эта ссылка вполне оправданна. Я бы предпочла, чтобы они говорили —

— вернее, чтобы мы говорили,—

о чем-нибудь вполне конкретном и совсем не метафизическом, ну, к примеру, почему слово «эутрапелия» в моем носу вызывает те же ощущения, что и гелиотроп. Филология, аналогия, семантика, символизм — какие это прекрасные вещи и как бы славно мы ужились с ними. Но не получается, Хуану приходится бежать из мира элегантных понятий, чтобы взглянуть себе в лицо и осознать свой способ бытия. У него это называется конкретизировать художественное

произведение или основы художественного творчества. Я же называю это: поднести спичку к пороху —

— и все взлетает к чертовой матери — Клара dixit \*.

— Поразительно,— признал репортер.— Эутрапелия. Черт подери!

— Кофе,— сказал Андрес.— Нет, флан со сливками я не хочу. Не хочу, дорогая.

— А я съем флан со сливками,— сказала Стелла.

«Абель,— подумала Клара устало.— Бедный Абелито. Вот бы обалдел, если бы услышал меня. А завтра... Нет, Андрес, поздно смотреть на меня так. Раз и навсегда поздно, Андрес. Раз и навсегда». Официант уронил стакан, Стелла засмеялась, и парень стал объяснять, что стакан выскользнул у него; Стелла перестала смеяться и, судя по всему, с интересом слушала его объяснения.

— Издержки труда,— говорил официант, ловко подталкивая ногой осколки к стенке.— Каждый день бьют три-четыре штуки. Патрон из себя выходит, но что поделаешь — издержки труда.

— Да и стекольному фабриканту надо дать подзаработать,— сказала Стелла.

— Ешь флан,— попросила Клара и искоса взглянула на Андреса, который закрыл глаза в ожидании взрыва или чуда. Пронзительный вопль продавца газет заставил всех вздрогнуть. Он влетел в дверь, прошелся меж столиков, выкрикивая новости уже не так громко. Репортер проводил его взглядом до двери и устало махнул рукой.

— Я это пишу, а он продает,— сказал репортер.— А вы потом читаете — вот вам и святая троица, и тэ дэ, и тэ пэ. Ладно, пошли.

«Как глупо,— подумал Хуан, когда они выходили,— разговаривать, слушать разговоры и знать, что все это не совсем так. Это еще одна, быть может худшая, наша слабость — трусость. Те из нас, кто чего-то стоит, не уверены ни в чем. Быть безмятежно уверенным может только животное».

— Пошли по Леандро Алема до Майской площади,— попросила Стелла.— Я хочу посмотреть, что там творится.

\* сказала (лат.).

— Если удастся что-нибудь разглядеть,— сказал репортер, принохиваясь к туману.

Они прошли мимо Почтамта, воздух казался липким, разговаривать не хотелось. Из Луна-парка вдруг донеслись крики, взмыли вверх и мягко распались в воздухе.

— Кто-то шмякнулся на ринге,— сказал репортер.— Знаешь, Хуан, боксеры — счастливые люди, они дерутся с упоением, не бой, а музыка жизни.

— Апоксиомен — певец,— сказал Хуан.— Однако сегодня ночью здесь никто не поет. Послушай, репортер, это тебе мой подарок, свеженькое, направленное. Называться будет, наверное, «Фауна и флора реки».

Река течет с неба, серьезно и прочно,  
натягивает простыни до подбородка и спит,  
а мы тут, уходим мы и приходим.  
Ла-Плата, серебряная река, днем она  
орошает нас ветром и студенистой прохладой;  
она отрекается от востока, ибо мир кончается  
за фонарями Костанеры.

А дальше — не спорь, читать эти строки  
лучше всего в кафе, под мелким, с монетку, небом,  
бежав от всего и вся, от новых обычных будней,  
чтобы вольно гулять по снам, по желтой речной слюне.  
Почти ничего не осталось; разве что пристыженная

любовь,  
роняющая слезы в почтовые ящики и прячущаяся  
в углах (но ее все равно все видят)  
и хранящая милые сердцу предметы, фотографии, и  
цепочки,

и тонкие носовые платки  
там, где хранится все то, что не для чужого глаза,  
на самом дне кармана, среди монеток и крошек,  
где шелестит короткая ночь.

Другим, может, все равно, но я —  
но я не люблю Расина,  
не нравится мне аспирин,  
и новый день ненавистен.

Я исхожу в ожидании,  
случается, сквернословлю, и мне говорят,  
что́ с тобою, дружище,  
ты — как северный ветер, чтоб ему было пусто.

— Мне нравится,— просто сказал Андрес (потому что все молчали и стояли вокруг Хуана, а у того блестели глаза, и он провел тыльной стороной ладони по лицу и отвернулся, чтобы не видели его глаз).

На набережной у стоянки клуба автомобилистов земля была усыпана бумагой. Ветер взвихрил ее над машинами, и клочья ложились на землю грязным снегопадом, застревая в ручках дверей, скользя по мыльно-скользким крышам «шевроле» и «понтиаков». Все было засыпано обрывками газет, скомканной или разорванной в клочья оберточной и папиральной бумагой, конвертами, обрывками шелковой и копировальной бумаги, черновиками. Ветер забил ворохи бумаг в промежутки между машинами, прибил к краям тротуара, разметал по газонам.

Хуан шел впереди и, когда увидел это море грязной бумаги, едва удержался от желания обойти его и спуститься вниз, за парапет. Остальные шли и переговаривались тихо, так затихают звуки в конце сонаты, так стихают раскаты грома, а Хуан шел впереди, сжимая в руках кочан цветной капусты, и думал об оставшихся до экзамена часах. Экзамен представлялся ему четким пределом, бакенем, к которому следовало плыть. Хорошая вещь — четкий предел, экзамен. Четкий предел — это вроде отметки карандашом на градуированной линейке: отделяет предшествующее, отмеряет расстояние — а в данном случае — время, и срок, и импульс, который прекращается в определенный момент: так заводишь часы, которые должны остановиться в шесть пятнадцать, и в семь десять часы начинают замедлять ход, тикать лениво

и дотягивают до  
семи восемнадцати, тягостно тянут,  
диастола, еще диастола,  
опять диастола,



робко, робко, и вот застывают напрочь:

часовая стрелка, минутная стрелка, стрелка секундная.

С улицы Бартоломе Митре (здесь бумаг уже не было) они увидели спящий свет над Майской площадью. Розовый Дворец проступал сквозь ключья тумана, балконы и двери были ярко освещены. «Прием,— подумал Хуан.— Или смена кабинета министров». Нет, пожалуй, при смене кабинета лишних огней не зажигают. Яркие огни Майской площади отсвечивали в окнах соседних домов. Издали доносилась металлическая музыка, эта профанация музыки (любой музыки), потому что, когда музыку передают по громкоговорителям, прекрасное разрушается, это все равно что Антиноя впрячь в телегу с мусором, жаворонка засунуть в ботинок. «Жаворонка — в ботинок»,— повторил Хуан.

Клара подошла к нему, но смотрела поверх его взгляда.

— Дай я понесу пакет, если тебе надоело.

— Не надо, я хочу нести сам.

— Ладно.

— Не понимаю, зачем мы идем на Майскую площадь.

— Стелле захотелось,— сказала Клара.— Похоже, они по-прежнему необычайно внимательны друг к другу.

Репортер поравнялся с ними. Он шел, засунув руки в карманы брюк; пиджак был застегнут, и оттого казалось, что по бокам у него выросли плавники.

— Весь Буэнос-Айрес сбежался поглядеть на мощи,— сказал репортер.— Вчера вечером поезд из Тукумана привез полторы тысячи рабочих. Перед Муниципалитетом устроили народное гулянье. Смотри, на углу перекрыли движение. Тут будет жарко.

Они поднялись по крутому склону вдоль правительственного здания. Сверху (Андрес со Стеллой присоединились к ним, но никто не разговаривал) хорошо было видно, как течет людская толпа к противоположному концу площади, а потом расходится по улицам Ривадавии и Иригойена. Но в середине толпа казалась почти неподвижной, лишь время от времени по ней словно прокатывались волны, однако заметно это было лишь издали.

— Соорудили святилище в форме пирамиды — жесткие ребра, обтянутые брезентом,— пояснил репортер.

— Ты там был? — спросил Хуан.

— По службе, — сказал репортер. — И написал здоровый репортаж.

— Другими словами, ты освятил это паломничество. И не смотри на меня исподлобья, ибо это — правда. Они натянули брезент, а твоя газета натянула нос людям, по двадцать грошей за небылицу.

— Не надо так говорить, — сказал Андрес очень серьезно. — Люди ходят не из-за газет. Никакой газетной кампанией нельзя объяснить некоторые взрывы ярости или энтузиазма. Кто-то говорил мне, что ритуалы возникают спонтанно и время от времени придумываются новые.

— Ритуалы не придумываются, — сказал репортер. — Их или вспоминают, или открывают заново. Они существуют испокон веков.

— Пошли на площадь, — попросила Стелла. — Здесь ничего не видно.

Позади завывала сирена, они обернулись. По улице Алема проехали две санитарные машины, за ними — мотоциклы, за теми еще одна «скорая помощь».

Они вышли на площадь к самым балконам Дома Правительства. Жара, яркие огни и скопление народа спрессовали здесь туман в мутное, темное облако и придавили к самой земле. Сотни людей, одетых однообразно во что-то легкое, синее, табачное, а иногда темно-зеленое, собрались на площади. Под ногами чувствовалась мягкая земля — недавно тут сняли широкие тротуары, чтобы расчистить площадь, хотя репортер уверял, что таким образом никогда и ничего не расчистишь, и яростно топтал ногами землю, — и продвигаться приходилось с осторожностью, то и дело цепляясь за локоть или плечо соседа, если казалось, что он тверже стоит на этой неровной почве, где прочной, похоже, была одна Пирамида.

Андрес увидел, что Клара покачнулась, и крепко взял ее под руку. Хуан поднял к груди пакет с кочаном, а другую руку выставил вперед, защищая его. Они продвинулись на несколько метров, стараясь разглядеть священное сооружение.

— Вам бы сейчас спать и набираться сил для завтрашнего дня,— сказал Андрес.

— Я бы не заснула,— сказала Клара.— На экзамены лучше приходите усталой, чтобы глаза блестели. Хорошо бы меня спросили о психологии толпы, я бы им рассказала вот об этом, и дело с концом.

— Да, есть о чем рассказать,— согласился Андрес, расчищая ей место, чтобы она видела лучше. Но чтобы видеть лучше, надо было работать локтями—

— что же вы делаете, в самом деле, по улице не умеете ходить, что ли,

скажи своему братишке, чтобы не лез напролом, боже мой, что за парень, просто напасть,

не толкайся, эй, ты, негр, ты меня выведешь из себя,— пробираясь меж напирających со всех сторон тел, затылков, шейных платков, продираться сквозь стену молчаливых типов, которые словно чего-то ждали. Прижимаясь к Андресу, Клара пролезла в щель между двумя черными пиджаками и заглянула внутрь магического круга. Взявшись под руки, люди образовали круг, а в центре круга стояла женщина в белой тунике, нечто среднее между школьной учительницей и аллегорией Отчизны, которую никогда не попирали тираны; длинные белокурые волосы свободно падали на грудь. Двое или трое сухопарых плебейского вида мужчин священнодействовали на этом обряде. Клара смотрела, как они двигались — словно нехотя, по обязанности танцевали перикон. Ей вспомнился Прилидиано Пуейрредон \*, она глубоко втянула мыльный воздух, словно желая разглядеть получше. Один из мужчин подошел к женщине, положил ей руку на плечо.

— Она хорошая,— сказал он.— Она очень хорошая.

— Она хорошая,— повторили следом за ним другие.

— Она пришла из Линкольна, из Курусу Куатиа и из Президенте Роке \*\*, — сказал мужчина.

— Она пришла,— повторили остальные.

— Она пришла из Формосы, из Ковунко, из Ногойи и из Чападмалая.

\* Прилидиано Пуейрредон (1823—1871) — аргентинский художник.  
\*\* Провинции и департаменты Аргентины.

- Она пришла.
- Она хорошая,— сказал мужчина.
- Она хорошая.

Женщина не шевелилась, но Кларе видны были ее руки, словно приклеенные к бедрам, а пальцы сжимались и разжимались, будто она вот-вот разразится истерикой. Кларе стало страшно и до ужаса омерзительно, потому что она вдруг поняла

— но как она могла, как она могла,

и обратно пути нет, механизм пущен и все НЕОБРАТИМО, как невозвратно то, что унесено временем,—

но как она могла прошептать все-таки вместе со всеми: «Она хорошая». Она услышала это обратным слухом, услышала истинный голос, который слышен в момент его рождения, в самой глотке

(девочкой ей нравилось зажимать уши и петть или дышать глубоко; а когда у нее был бронхит — слушать свои хрипы, посвистывающие, будто маленькие лягушата или совята, а потом откашляться — и весь оркестр понемногу снова настраивался, собирал воедино разные темы, прекрасные, потому что она хорошая).

— Пошли отсюда,— попросила она, испуганно повисая на руке у Андреса.

Тот посмотрел на нее и ничего не сказал. Хуан со Стеллой заворачивали вправо, репортер плелся за ними. Клара с Андресом с трудом стали пробираться за ними, потому что всем хотелось увидеть женщину, потому что она хорошая, она пришла из Чападмалаля. Прижимаясь к Андресу, Клара шла с закрытыми глазами и тяжело дышала. «Я пела вместе с ними, молилась вместе с ними. Я подписалась, подписалась». Глупо, однако какая-то ее часть —

какой-то кусочек, на секунду освободившись от всего ее остального существа, воспринял ритуальную процедуру и смиренно проглотил облатку.

— Мне страшно, Андрес,— сказала она очень тихо.

Его мысли были над всем этим, однако отправной точкой стало именно это.

«Армагеддон \*,— думал он.— О бледная долина, о смертный час».

— Осторожнее с этим проходимцем слева, у него лицо карманника,— сказал репортер, толкая Хуана в бок.— Идешь по улице и ничего не видишь вокруг. Со своим кочаном. Гляди, он тебя обчистит. Есть карманники, а есть и капустники. До чего же мне нравятся —

— проходите, сеньора,—

красивые слова. Как это — зутрапелия? Но, знаешь —

— да, молодой человек, святилище,

да, там —

наш Дирек ненавидит стиль, он считает, что стиль в журналистике — зутрапелия, вот именно, зутрапелия. Он верит в headlines \*\* и готов заполнить ими все пространство, в духе «All American Cables» \*\*\*. Он не дает мне развернуться, не дает писать хорошо, че! Унылый тип.

— Что ты называешь «писать хорошо»? — спросил Хуан. — И хватит отвлекать нас. Мы пришли посмотреть, и мы будем смотреть. Стелла, иди сюда, просунься между этими здоровыми парагвайцами. Давай, детка, оттачивай свой стиль, тебе никакой Дирек ничего не скажет.

— Ты плохой товарищ,— сказал репортер.— Напомни мне потом. Я объясню тебе, что я имею в виду под стилем.

Они уже видели стойки, на которые был натянута резина. Но оставалось преодолеть самую сложную часть пути — пассивную стражу из сотен державшихся друг за дружку женщин, которые застыли, точно столбы, в густой атмосфере ожидания, тяжелых испарений и перешептывания. Андрес жестом указал направление, откуда в этот момент раздавался пронзительный детский крик. Они пошли сквозь толпу на крик. На скамеечке сидел мальчонка лет восьми; двое мужчин, встав на колени, держали его за плечи и за талию. Парень с раскосыми глазами и зверской рожей стоял в метре от мальчика и целился ему в лицо огромной

\* Армагеддон — последняя битва между Богом и силами Сатаны (христианская мифология).

\*\* Заголовки (англ.).

\*\*\* «Всеамериканская телефонно-телеграфная сеть» (англ.).

сапожной иглой. Он подходил к нему все ближе и целился сперва в рот, потом в глаз, потом в нос. Мальчик отбивался, вопил от ужаса, на светлых штанишках проступили пятна — от страха он обмочился. И тогда парень бесстрастно отступал назад, а люди, стоявшие вокруг, шептали что-то, чего Андрес (он единственный подошел ближе, чтобы видеть) не разобрал. Что-то вроде

Посредине-посредине-посредине по-  
средине  
если только  
Враги-враги-враги-враги.

Хуан с репортером, почуяв недоброе, крепко держали женщин под руки и не давали им подойти поближе.

— Сукины дети,— сказал Андрес и, схватив Стеллу за руку, твердым шагом направился в сторону святилища.

— Ты белый, как лист! — сказала Стелла.

— Уточни, какой лист,— сказал Андрес, не глядя на нее.— Листья, как правило, зеленые.

— Филолог — до тошноты,— сказал репортер.— Че, послушайте,— музыка.

Плотная ограда из могучих спин остановила их метрах в пяти от святилища. Сине-черно-сине-красно-зелено-черная ограда

— и никакой сумятицы, никаких «позвольте, сеньора», никаких «дайте дорогу официальным лицам» —

— Сплошная мешанина,— пробормотал Хуан.— Никакого стиля.

— Стиль умер,— сказал Андрес.

— Да здравствует стиль! — сказал репортер.— Че, слышите — музыка.

Как же, конечно, они слышали. «Поэт и селяниииин». «Что за черт,— подумал репортер.— Прав Хуан. Никакого стиля. Просто в голове не укладывается: задастые негрятянки в почетном карауле вокруг святилища, и все это — под слащавую музыку фон Зуппе. Зачем в центре пампы — фригидариум? И что делаем тут мы?»

— Более поносных скрипок я в жизни не слышал,— ска-

зал Хуан.— Боже мой, просто безумие. Почему они не врежут им танго?

— Потому что им нравится это,— сказал репортер.— Не видишь разве: эти несчастные люди открыли для себя музыку через кино. Ты думаешь, что мерзость под названием «Незабываемая песня» не сделала своего дела? Мощи под Чайковского, пиццу под Рахманинова.

— Давайте же подойдем в конце концов,— попросила Клара.— Я больше не могу. Ноги вязнут в земле, умираю, хочу пить.

— Умирает от жажды у подножья Пирамиды,— сказал репортер.— Банально, но с изюминкой.

Умирать от жажды у подножья Пирамиды —

Блистательный образ нашей Отчизны!

— Чистый Египет,— сказал Андрес.— Сеньора, позвольте, мы пройдем.

— Проходите, пожалуйста,— ответила сеньора.— Кто вам мешает?

— И в самом деле никто,— сказал Андрес.

— Что вы говорите?

— Ничего, сеньора.

Миленький мотив,

Лунный перелив,

Трам-па-рам-па-рам

— Какие остроумные,— сказала сеньора.

Затем они наткнулись на славянскую чету, которая пробиралась в том же направлении, что и они, но делала все возможное, чтобы казалось, будто они двигаются в противоположную сторону. А потом — о эта последовательность, о эти А, Б, В, один за другим,— потом стало ясно, что они зашли не с того края и оказались у той части святилища, которая была наглухо затянута брезентом и выходила на Ривадавию, а потому —

как в коробке с пластинками,

как в ящике с инструментом,

как в папке для бумаг,

вход был с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны Пирамиды —

**С ВЕРШИНЫ КОТОРОЙ ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ НЕ**

## ВЗИРАЮТ НА ВАС —

и надо было идти на другой конец, совсем недалеко, к близкому, но все время отодвигающемуся горизонту, на улицу Иполито Иригойена.

— Мне раздолбали кочан,— сказал Хуан Стелле, которая шла и лучилась счастьем.— Жалко до слез, видела бы ты, каким он был, просто душа радовалась.

— Завтра можешь купить новый,— сказала Стелла.

— Разумеется. Как Кокто Орфею: «Убей Эвридику. Сразу легче станет».

— Ну,— сказала Стелла,— просто я хотела сказать...

— Ну, конечно. Просто не всегда попадаешь на рынок «Дель Плата» в тот момент, когда продается такой кочан. Должны идеально совпасть тысячи разнообразных факторов. К примеру, я расстаюсь с друзьями на этом углу двумя минутами позже и упускаю покупку. Я это точно знаю, потому что едва я взял кочан в руки, как —

— Педик сраный,— совершенно отчетливо произнес чей-то высокообразованный голос в толпе.

Баю-бай, цветочный,

баю-бай, кочан.

Да —

тотчас же увидел сеньору, которая пожирала его налитыми зеленой завистью глазами. Видишь, тысячи факторов.

— Че, как толкаются,— отдуваясь, сказал репортер, шедший сзади.— Что за ночь, братец! Сидел бы я спокойно в кафе, да надо было явиться вам, а теперь хлебай. Я готов был поклясться, что вход со стороны Ривадавии. Кажется, я так и написал в репортаже.

Они обошли святилище —

«Он под звуки танго шел по мостовой» —

и добрались до насыпи, на которой возвышалась —

— Эй, Мигелито! Куда вы с отцом запропастились?

— Мы за Пиради-и-идом!

славная, неувядающая, не оскверненная никаким «джипом» никакого победителя колонна свободных, трон мужественных

Партизаны спешили и коней оставили  
возле Пирамиды —



Альсага — к смерти  
Линьерс — к смерти  
Доррего — к смерти  
Факундо — к смерти  
Беденький покойничек  
Миста Курц he dead  
Бедная пастушка  
преставилась в поле  
Crévons, crévons, qu'un sang impur  
abreuve nos fauteuils  
provinciaux \*

— Да, сегодня, наверное, можно было выгодно купить, — сказала Стелла.

Пес, едва различимый меж мерцающей колоннады брюк и чулок, обнюхивал туфли Стеллы. Андрес с Кларой успели уйти вперед и теперь сходили ребро пирамиды. «Специально для святилища сделали насыпь выше, — подумал Хуан. — Когда все это кончится, площадь станет безобразной». Земля под ногами была совсем мягкой, и чтобы сохранить равновесие, ему пришлось свободной рукой опереться о стену Пирамиды. И тут в толпе, слева, чуть позади он увидел Абея. Он увидел его в тот момент, когда толпа вдруг качнулась, — вот так посреди разговора вдруг на мгновение неожиданно наступает тишина,

«Тихий ангел пролетел», — говорила бабушка,

словно колодец в воздушном пространстве, который углубляется и углубляется, и надо положить ему конец, произнести первое слово, крутануть руль и выйти из штопора. «Опять он», — подумал Хуан, не желая признаваться в подступавшем беспокойстве.

— Наконец-то, — сказала Стелла. — Уф, какая жарница! А внутри, наверное, вообще кошмар.

— Я думаю, туда впускают партиями, — сказал Хуан. — Должно быть, там есть кондиционер.

Ему захотелось сказать Андресу, что он видел Абея.

\* Подохнем, подохнем, пусть нечистая кровь омоет наши провинциальные кресла (франц.). Переиначенный куплет из «Марсельезы».

«А может, я ошибся,— подумал он.— Но это бледное лицо, эти напомаженные волосы. Да и костюм тот же, что был на нем в кафе, с острыми плечами. Бедный Абелито, подумать только, мне придется набить ему морду, доведет он меня». Брезент затрепетал так, словно внутри кто-то забил крыльями. Они подошли уже совсем близко и должны были войти со второй или третьей партией. Лампы на высоких стойках освещали именно этот сектор, яркий свет пробивался сквозь туман и дым, высвечивал гипсово-грязные лица, желтоватые, усталые тени.

— Посмотри на этого типа.— Репортер указал на фигуру, возникшую вдруг над толпой около входа в святилище. Должно быть, ее подняли на помост или на стол: она появилась неожиданно — белолицый паяц в ярком снопе света. Жаркая тишина окутала паяца, тишина, пронизанная далекими криками и пением тех, кто еще не увидел его.

— Настал момент понять, что есть выход,— произнес паяц с механическим напором сорочьим голосом.— Мы всю жизнь пытались объяснить себе, что есть вход, какие дороги к нему ведут, необходимые условия входа, смысл входа. **ТО БЫЛ ДЕСГЛОССАРИЙ ВХОДА!**

Доверьтесь мне! Я возвращаюсь из этого путешествия, как возвращается мореплаватель, презирающий все компасы, ибо —

звезды истины в глубинах его души указывают ему правильный путь.

— А пошел ты в Калькутту,— сказал Хуан довольно громко.

— Бога ради, держи язык за зубами,— сказала Клара, шипнув его так, что он подскочил.

— Сограждане,— произнесла сорока,—

настал час выхода

(Who killed Cock Robin? \*)

настал час потрудиться,

причащение к реликвии у вас произошло,

(они вдруг поняли, что паяц обращается не к ним, а к колонне, выходившей из святилища и сворачивавшей к зданию Муниципалитета),

\* Кто убил Кока Робина? (англ.)

но память о ней вы унесете в сердцах —

У Сердца нет костей

«А лучше бы ему быть с костями, — подумал Андрес. — Слабо вооружены мы для жизни. Кожа и кости, *coveretti* \*. Кости, броня, хитин, а внутри ткань, словно подкладка скорлупы».

— И КРОМЕ ТОГО, ХОЧУ ВАМ СКАЗАТЬ, НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА!

(икнул голосом, похожим на автомобильный клаксон):  
принесены наши

(*Hearts, again? \*\**)

смирные

(Не из них ли небесные сонмы?)

жертвы

(Вот тут промахнулся: вылезло-таки из тебя

бахвальство, как шило из мешка)

иunasхватитсилпродолжатьделодальшедопобедногоконца  
ДАЗДРАВСТВУЕТДАЗДРАВСТВУЕТДАЗДРАВ-  
СТВУЕТ!!!

— А мы, — сказал репортер, — не сподобились такой знатной оратории. Какая глубина мысли. Как бы сказал мой Дирек: безмерная.

— Некоторые места были неплохи, — сказала Клара. — Я не уверена, что надо выставлять Демосфена перед толпой на Майской площади. Этот стиль отжил и не удовлетворяет новым потребностям. По-моему, Мальро очень правильно отметил: бывает время, когда искусства предпочитают выглядеть регрессивными, нежели продолжать копировать модули, лишённые жизненной силы, и —

— это то, что я, по сути дела, хочу сказать на экзамене, если мне попадетя четвертый билет, дай-то Бог.

— Прекрасно, — отозвался пораженный репортер. — Я тоже не верю в модули. Но этот тип не сказал ничего. Разумеется, хуже было бы, если бы он заставил нас поверить с помощью определенной техники, будто он что-то сказал.

И тут из репродукторов зазвучала

Партига Иоганна

Себастиана Баха, и скрипка прорывалась

\* Бедняжки (*итал.*).

\*\* Неужели опять — сердца? (*англ.*)

сквозь здравицы и пересуды —

— Смотри, какой пример стиля,— сказал Андрес и нехотя засмеялся.— Не думаю, что при жизни старика люди, услышав эту музыку, преклоняли колена, и полагаю, что, на наш взгляд, любые прошлые времена не лучше теперешних. Но мы хотим постичь в стиле непреходящее: совершенство в настройке скрипки, где каждая струна имеет свое неповторимое звучание, но этого больше нет, а перед нами — сундук, набитый чем попало, и мы не можем в нем разобраться, хотя уже пора наряжаться и идти на праздник.

— Ничего нового ты не сказал,— отозвался Хуан.— После «The Waste Land» \*, я полагаю, лучше помолчать. Оратор был замечательный. Ничего не сказал, и все в восторге. А мы, которые должны что-то сказать, мы, как видишь, разговариваем тихо-тихо от страха, как бы нам не наkostenяли. Оратор в данной ситуации годится гораздо больше, чем мы.

— Ты строг, как всегда,— сказал репортер.— Напомни, чтобы я объяснил тебе мое понимание стиля. И собак сюда тоже пускают?

— Не думаю,— сказала Стелла.— Они все изгадят.

— Правильнее было бы пускать,— сказала Клара.— Кости — собачье дело.

— О моя сладкая, моя остроумная эпиграммистка,— сказал Хуан.— Ну вот, кажется, на этот раз мы войдем. И узнаем, наконец, отразил ли наш друг в своем репортаже подлинную картину святилища. Нечасто удается сличать журналистскую продукцию с действительностью.

— Ба, я не изменил ничего, кроме самого главного,— сказал репортер.— И про собак забыл сказать. А их вокруг святилища — невероятное количество, просто туча. Посмотрите на этого фокстерьера, на этого пятколиза. Мне почему-то не нравится, когда собаки путаются под ногами. Путаются, гадят.

— И как будто чего-то просят, это действует на нервы,— сказал Андрес.— Осторожно, дорогая, ты вляпалась в грязь по самую щиколотку.— Он закрыл глаза, словно бы в ярости, открыл и снова закрыл, сноп света падал ему на лицо раскаленной манной крупой, и туман стоял такой, что приступ

\* «Бесплодная земля» — поэма Т. С. Элиота.

ярости не пробился сквозь него. Он подумал: заметил ли Хуан Абеля, как тот шел, прячась за спины рабочих, выступавших стройными рядами, радующихся сословной радостью людей, которые всем миром вершат Д Е Л О Ч Е С Т И.

— Че, послушай,— сказал репортер, довольный, что вспомнил.— Мне рассказал это один мой друг, фотограф. Слушай внимательно, это первостатейный пример стиля. Одна парочка сфотографировалась и через неделю пришла смотреть пробные снимки. Думали, думали и в конце концов выбрали один. Девушка говорит парню: «Мне кажется, тебе все-таки не очень нравится...» Тот, немного удивленный, отвечает: «Ну да, снимок-то хороший, и ты хорошо получилась, жаль только, что у меня не видны значок и шариковая ручка».

— «Сеста»! — завопил мальчишка-газетчик, и в мгновение ока у него разобрали все газеты.

Они уже стояли перед самым входом (брезент тут был забрызган чем-то черным, гудроном или клеем), и люди в очереди занялись газетами. Совсем рядом завывала собака, и все засмеялись, снопы света дрогнули и вновь упали ровным ярким светом. Из репродукторов неслась «Венгерская рапсодия», одна из самых популярных. «Странно, что Абель здесь,— подумал Андрес, глядя ему вслед.— Это он, я уверен. И Хуан перед ужином его видел».

Вчера все было как обычно, они вернулись домой пьяными в стельку. По словам соседей, прошло совсем немного времени после их прихода, и началась страшная ссора, очень скоро переросшая в драку, в ходе которой Перес схватил нож, напал на своего противника и нанес ему десять страшных ножевых ранений в различные части тела, отчего тот свалился бездыханным.

— Какое варварство,— сказала сеньора.— Смотри, Эстерсита, что творится.

— В газете написано? — спросила Эстерсита, оказавшаяся косоглазой.

— Все, все, от слова до слова. Бедняжка, сегодня никто

не может быть спокоен за свою жизнь. Если бы не Господь бог, мы бы все уже были мертвы.

— Послушай, что играют,— сказала Эстерсита.— У Куки есть эта пластинка. Брат жениха подарил, у него своя лавочка. Запись Кастанелеса. Божественная.

— Да, классическая вещь,— сказала сеньора.— Вроде того, что играла та, из восьмой квартиры, в субботу, когда мы были в гостях у тетки.

— О, божественная вещь! Грандиозная! Если бы у меня была радиола, я бы целыми днями слушала классику. Божественно! Послушай, как скрипка играет!

— Очень грандиозно,— сказала сеньора.— Похоже на полнолуние.

— И правда,— сказала Эстерсита.— Почти такое же, только полнолуние немножко романтичнее.

— Мать вашу,— сказал репортер.— Ну, пошли, наша очередь. Возьмемся покрепче за руки, да повнимательнее будьте, как бы кто в карман не залез.

Входя, они услышали, как следующий оратор провожал выходящую людскую колонну. «Кажется, чешет стихами,— подумал Андрес.— Это просто сумасшествие».

«О Боги»,— подумал Хуан и вспомнил:

И ходят боги среди брошенного хлама, брезгливо подбирая полы одеяний.

И бродят меж гнилых кошачьих трупов,  
открытых язв и аккордеонов,  
подошвами сандалий ощущая волглость  
гниющего тряпья,  
блевотины времен.

Им не живется больше в голом небе, их сбросили оттуда  
боль и сон тревожный,

и бродят, раненные грязью и кошмаром, вдруг

останавливаясь

пересчитать почивших, мертвых,

и облака, упавшие ничком, и издыхающих собак  
с разодранною пастью.



тогда казалось, будто два вражеских прожектора шарят по небу

— но тот, что снаружи, был слабее,— и сходятся на брезенте в яростной схватке, гонятся друг за другом и сшибаются, кусая брезент. Внутренний луч был достаточно сильным, чтобы высветить фигуру охранника, цепочку посетителей и квадратный черный ящик на четырех ножках, возносивших его на метр шестьдесят сантиметров над землю. (На стеклянной крышке ящика слабо отражалось светящееся отверстие в потолке, луч света метался по крышке, это было красиво.)

— Можете по одному подходить поближе,— сказал охранник, резко опуская фонарь (луч хлыстом ударил по цепочке людей) и направляя его на ящик.— Смотрите под ноги, земля скользкая.

Стелла шла первой с полным на то правом. Хуан забавлялся (не подсознательно, а всем своим существом, кожей), глядя, как она остановилась у ящика —

высунув кончик языка, крепко прижав к груди сумку,

поднялась на цыпочки,

вся дрожа в отблеске света, падавшего на стеклянную крышку, прелестная

языческая почитательница без веры, мощепоклонница, праздношатающаяся просительница

из породы зевак, созданных матерью-природой —

— **ДАВАЙТЕ, СЕНЬОРА, ПОВОРАЧИВАЙТЕ НАЗАД.**

На вате лежала кость. В луче света она искрилась, будто крупинками сахара. Все смотрели,

— **ДАВАЙТЕ, ПОВОРАЧИВАЙТЕ НАЗАД, НЕ СПИТЕ** —

видно было прекрасно, хотя мощи были почти такие же белые, как вата, чуть розовее ваты, с какими-то светло-желтыми пятнышками.

— **ВЫ ЧТО, ВСЮ НОЧЬ ТАМ СТОЯТЬ БУДЕТЕ** —

Пройдя мимо ящика, цепочка людей оказывалась у выхода — незакрепленного куска брезента. Репортер, замыкавший цепочку, задержался около ящика, не спеша разглядывал мощи. Охранник погасил фонарь —



— СЕАНС ОКОНЧЕН; ВЫХОДИТЕ.

и пришлось выходить, натываясь на людей, остановившихся у помоста послушать оратора. На их долю выпал рыжий толстяк в жилете с золотой цепочкой на брюхе.

— Хорошо бы произнес что-нибудь эдакое,— сказала Клара.— Для полноты впечатлений.

Шеренга на выходе рассыпалась, люди столпились у помоста. Сверху лились потоки света (лучи прожекторов иногда двигались), прищипывая людей, словно насекомых к картонке. Ничего не оставалось, как сбиться в кучку, прижаться друг к другу, Андресу к Стелле, Кларе к Хуану, а в центре — репортер. В двадцати метрах от них рокотал барабан, пели женщины, но все глаза были устремлены на оратора, который чего-то ждал.

— Я не буду говорить,— произнес наконец оратор, поднимаясь на цыпочки. (Он был маленького росточка, похожий на певца.) — Наоборот.— Розовым пальчиком он указывал на святилище.— Я прошу минуту молчания.— Но все и так молчали.— Чтобы почтить великое. (Нерешительная пауза.) Величайшее из величайших.— Все продолжали молчать.— Уникальное, единственное в своем роде.

— Только этого нам не хватало,— сказал репортер.— Ждешь захватывающей речи, а нарываешься на тягомотину.

— Тише,— сказал сеньор в черном галстуке.

— Тише,— сказал Андрес.— Одну минуту.

— Помолчи, пожалуйста,— взмолилась Стелла, озираясь по сторонам.

Оратор снова поднялся на цыпочки и замахал ручками, отгоняя moskitov. «Считает секунды, как рефери на ринге»,— подумал Хуан. Оратор раскрывал и закрывал рот, и люди ждали, но тут поднялся брезент над выходом и из святилища вышла следующая партия; у подмостков стало тесно, люди начали роптать и вдруг разом смолкли: так отчаянно замахал ручками оратор. «Самый момент выбить скамейку у него из-под ног и послать в задницу этот рыжий кусок мяса»,— подумал Хуан. Он отстранил Стеллу, расчищая пространство и становясь так, чтобы выходящие из шатра вытолкнули его вперед, но в этот самый миг оратор издал пронзительный клич и застыл, закатив глаза и вы-

бросив ручки вперед (золотая цепочка раскачивалась на брюхе).

— О минута! — завопил он. — Что такое минута, если веков не хватило молча умиляться, глядя на это свидетельство, —

— Послушайте, вы думаете, у меня ноги железобетонные?

в сравнении с которым, дамы и господа, ничто —

— Давайте рвать отсюда когти, — сказал репортер. — У него заготовлена целая речь.

величие самых великих святых —

— Убери свой локоть, всем святым закликаю!

и властителей, ибо настало время сказать это: Мы — АРГЕНТИНЦЫ!

— Наконец-то произнесено словечко, которое все объясняет, — сказал Андрес. — Давайте выбираться отсюда, вот здесь просвет. Пошли за этим лохматым псом, он знает, что делает!

Пес в мгновение ока вывел их из толпы, и репортер даже отважился почесать его за ухом в знак благодарности. Пес в ответ попытался куснуть его.

В кафе «Боливар» они немного стряхнули с себя пыль и усталость. Официант, бровастый испанец, отозвался о тумане как о своем личном недруге. Труднее всего было с глиной, Стеллины туфли пришлось отчищать ножом, а Кларе стыдно было даже смотреть на свои чулки. Официант оказался потрясающим парнем; его волновал только туман, это действительно дело серьезное. Он принес сигары, лимонный сок и опять пустился в рассуждения о тумане.

— А может, это и не туман, — сказал репортер. — Никто не знает, что это такое. Исследуют в лаборатории.

— Да еще ягуар, — сказал официант, который был знаком с репортером. — Не читали? В Колонии, в Серильос, в Энтре-Риос. Такой ягуарище, полсвета напугал. Просто кошмарный.

— Все звери семейства кошачьих — свирепы, — сказал Андрес. — А ягуар из семейства кошачьих.

— А ягуары свирепы? — спросила Клара.

— Ну да,— сказала Стелла.— Все звери из семейства кошачьих — свирепы.

Репортер со Стеллой говорили о мощах. Официант иногда отлучался к стойке или к другим столикам, а потом возвращался поговорить. Поскольку стол был большой и за ним сидели —

Клара с Хуаном (но между ними еще стоял стул, на котором лежали кочан и Кларина папка) и Андрес, совсем близко к Хуану, занимая, таким образом, весь этот край стола, а на другой его стороне — Стелла болтала с репортером (да еще официант втиснулся между ними).

В зале стоял ровный густой гул, который туман приносил снаружи, и он расползлся по залу и существовал сам по себе: это был не шум кафе, где ложечки отзванивали колокольчиками наподобие «Лакме» \* и официанты выкрикивали заказы — **ШЕСТЬ СМЕШАННЫХ САНДВИЧЕЙ, ДВА САНЧОУСАМИ!**

Андрес не был уверен, что они смогут поговорить с Хуаном так, чтобы Клара не слышала. Клара смотрела на здание Муниципалитета: пористая громада в тумане, красноватые фонари, балкон, а на нем — тени. А на одном балконе — густой туман и много теней.

— Мне кажется, ты его тоже видел,— сказал Андрес.

— Абея? Конечно, видел,— сказал Хуан.— Это был он, он.

— В Заведении ты мне сказал, что уже видел его сегодня. А теперь он здесь — стоит задуматься.

— Ты же знаешь, он сумасшедший,— сказал Хуан.— Может быть, чистое совпадение.

— На Майской площади Абею делать нечего,— сказал Андрес.— А если пришел, значит, шел за нами.

— Пускай его развлекается.

«А мне не нравится, что он развлекается за счет Клары»,— хотел сказать Андрес.

— Я бы на твоём месте покончил с этим делом,— сказал Андрес.

«Она грустна»,— подумал Андрес.

«А все туман,— думала Клара.— Приходим туманом,

\* Опера французского композитора Лео Делиба (1836—1891).

говорим туманом, но ведь это даже и не туман».

— Правда, что это не туман?

— Правда,— ответил репортер, оборачиваясь.— Никто не знает, что это такое. Наша газета занялась этим вопросом.

— Ничего,— сказал Хуан.— Он сумасшедший. Какое мне до него дело.

— Послушай,— сказал Андрес.— Горячие души более других открыты для гнева. Люди рождены неодинаковыми; они подобны четырем стихиям природы — огонь, вода, воздух и земля.

— Что это?

— Сенека. Прочитал сегодня утром. Но это относится и к Абелю.

— К Абелю? У Абеля, бедняжки, душа не горячая. Всё его горение — внешнее, как одежда. Он может сбросить с себя горение, как галстук.

— Я в этом не очень уверен,— сказал Андрес.— Слежка, преследование — такое занятие требует постоянства чувств. — Или скуки.

— Еще хуже. В таком случае дело гораздо серьезнее.

— А может быть,— сказал Хуан, пристально глядя на Андреса,— может быть, Абель просто обучается на бойскаута. Проходит практику.

— Ладно,— Андрес пожал плечами.— Не хочешь говорить об этом, не надо.

«Хочу,— подумал Хуан, оборачиваясь, чтобы улыбнуться Кларе.— Мне бы хотелось поговорить об Абеле, вместе с Андресом защититься от Абеля».

— Все эти пумы, дикие кошки — очень вредные животные,— сказал официант, отходя от стола. Репортер кивнул с излишней готовностью, а у Стеллы мурашки побежали по коже при мысли о ягуаре.

— Я устала,— сказала Клара, потягиваясь.— Спать не хочется, я бы не заснула. Со мной никто не разговаривает, я сижу тут такая одинокая, словно персонаж Вирджинии Вулф, вокруг огня, разговоры, а я — как персонаж Вирджинии Вулф, ужасно усталая.

— Пошли домой,— забеспокоился Хуан.— Возьмем так

си и Андреса со Стеллой подвезем. А репортера оставим газете.

— Я все равно не усну, накануне события наверняка будут сниться кошмары. Ты же знаешь, какие мне кошмары снятся. Модель А и Б. Модель А — специально для канунов. Модель Б для *lendemains* \*. — Она провела кончиками пальцев по лицу, словно нащупывая паутину. — Нет, Джонни, домой не пойдем. Мы встретим рассвет в городе, будем бродить и петь старые песни.

— Ты и вправду персонаж Вирджинии Вулф, — сказал репортер. — Меня в расчет не берите, я буду спать, как говорится, в фойе клуба.

(Il était trois petits enfants  
qui s'en allaient glaner aux champs  
s'en vinrent un soir chez un boucher:  
«Boucher voudrais-tu nous loger?»  
«Entrez, entrez, petits enfants,  
y'a de la place assurément».) \*\*

— Выпей еще лимонного соку, — сказал Андрес. — Наберешься сил и едкости для своих статей. Че, какую славную песенку ты напеваешь.

«Как она красива с закрытыми глазами», — подумал Андрес.

(Ils n'étaient pas sitot entrés,  
Que le boucher les a tués,  
Les a coupés en petit morceaux,  
Mis au saloir comme pourceaux...) \*\*\*

— Клара, — сказала Стелла, дотрагиваясь до нее. — А говоришь, что не хочешь спать. Сумасшедшая женщина.

— Я не сплю, — сказала Клара. — Я просто вспоминала...

\* Следующего дня. (франц.).

\*\* Три малыша, резвясь на воле.  
Пошли за колосками в поле.  
В дом мясника поздней порой  
Стучат: «Дай нам приют ночной».  
«Зайдите, детки, знайте — тут  
Всегда найдете вы приют». (франц.).

\*\*\* Вошли — он сразу их схватил  
И всех троих тотчас убил,  
Разрезал маленьких ребят  
И засолил, как поросят... (франц.).

Да, и песня тоже была будто в страшном сне. Какая страшная пора — детство, Стелла. Ты девочкой не испытывала страха, постоянного, непрекращающегося страха? А я испытывала, и он возвращается ко мне каждую ночь. Только эти образы из детства и остаются прочными и яркими. А может, это просто ощущение, что они были прочными и яркими. А все, что я вижу теперь, — как здание Муниципалитета, погляди на него, белесый сгусток в тумане.

— Очень хорошо говоришь, — одобрил Хуан.

— А может, это вовсе и не туман, — вздохнул Андрес. — Может, если продолжить мысль Клары, просто сгусток прожитых лет.

— Раньше у вещей был объем, они кончались, сверкали, — сказала Клара. — А теперь нам приходится довольствоваться знанием, что они есть, и пялиться на них, как обезьяны. Меня это до того бесит, что я приглушила все свои чувства и не даю им воли. Когда я на углу жду Хуана, один Бог знает, как сосет у меня внутри, и прежде чем он появится, я два или три раза вижу его: вижу его лицо, походку, все. Сегодня со мной случилось то же самое.

— Он такой обычный, можно спутать с любимым, — сказал Андрес.

— Не смейся, все это довольно грустно. Это — смазанная проекция мыслей, логический механизм. Однажды я ждала письма от мамы; почтальон всегда оставлял письма на стуле в гостиной. Я вошла в комнату и вижу: три письма. Еще в дверях я увидела верхнее письмо (мама всегда посылала письма в длинных конвертах), я увидела ее почерк, крупный, красивый. Увидела мое имя на конверте, первую букву, хорошо выписанную. И только когда взяла письмо в руки, увидела его: и конверт оказался не продолговатый, и почерк не мамин, и первая буква не К, а М.

— Желание — волшебный фонарь, — сказал Хуан. — Бедная Клара, как бы тебе хотелось упразднить посредников.

— Мне бы хотелось знать, кто я есть или кем была. И быть ею, а вовсе не той, за кого принимаешь меня ты, за кого принимаю себя я и все остальные.

— Со мной происходит то же самое, — сказал Хуан. — Почему, ты думаешь, я пишу стихи? Бывает такое состоя-

ние, такие моменты... Знаешь, перед тем как проснуться, иногда возникают удивительные ощущения: кажется, например, будто ты, словно клин клином, разом выбьешь все препятствия. И когда просыпаешься (с тобою бывает такое, Андрес?), в тебе остается память об этом. И ты оглядываешься вокруг: рядом тумбочка, а на ней — часы, только и всего, а поодаль — зеркало... Поэтому по утрам я бываю печален, во всяком случае до завтрака.

— Память о потерянном рае, — сказала Клара. — То, что ты рассказал, представляется мне смутным перепевом Платоновых идей. Быть может, в некоторых снах человек способен подступиться к Идеям.

— Хорошо бы, — сказал репортер. — Беда лишь, что сны битком набиты телефонами, лестницами, дурацкими полетами и преследованиями, совершенно не вдохновляющими.

— Знаешь, — сказал Андрес, — я иногда испытываю нечто похожее на то, о чем рассказывает Хуан, только я воспринимаю это не как отголосок сна, а гораздо хуже. Например, такое: утром я открываю глаза и вижу: встает солнце. И меня судорогой пронзает ужас, словно воспротивилось все мое существо — и тело, и душа (простите мне такое выражение). Я понял, что пережил ужас потери рая, ужаснулся тому, что нахожусь в подлунном мире. Солнце — каждый день, снова — солнце, солнце, нравится оно тебе или не нравится, солнце взойдет в шесть часов двадцать одну минуту, даже если Пикассо рисует «Гернику», даже если Элюар пишет «*Capitale de la Douleur*» \*, даже если Флагштад поет Брунгильду. Человечек — к солнцу! Солнце — к своим людишкам, и так — день за днем.

— Черт возьми, — сказал репортер. — Они рассуждают все сложнее и сложнее.

— Хватит, — сказала Стелла. — Может, пойдем отсюда?

Клара, разглядывавшая в окно витрину напротив, жестом выразила удивление.

— Конечно, пойдем, — сказал Андрес. — *The night is young* \*\*, как, наверное, поется в «*London again*».

— «*London again*» — музыка без слов, — сказал репортер

\* «Град скорби» (франц.) — цикл стихов Поля Элюара.

\*\* Ночь юна (англ.).

обиженно.— По-моему, пора отваливать, че. Но я вижу китаецца, и, по правде говоря, мне бы хотелось задать ему вопрос.

— Он знаком с китайцем! — сказала Стелла и всерьез заломила руки.

— Он китаец в смысле мышления,— пояснил репортер.— Немного вроде Андреса, только у Андреса китайская диалектика; а у этого китаецца все формы поведения китайские.

Андрес смотрел на Клару, как она ищет в сумке то, чего там нет, делая вид, что страшно занята. Ему показалось, что Клара побледнела.

— Отдай десять монет, негр, бля,— закричал разносчик газет на углу.— Мать твою так-разэтак, бля, сукин сын, падло.

— Dixit,— возвестил репортер в полном восторге.— Какая скотина. Шесть дней в неделю он не слазит с матерщины.

— В этом мы тоже чемпионы,— сказал Хуан.— Сила сквернословия, должно быть, находится в обратно пропорциональной зависимости от силы народа.

— Не так это просто,— сказал Андрес.— Все дело в напряжении. Ты, видно, хочешь сказать, что наше сквернословие — вялое, оно служит для заполнения жизненных пустот. Мы материмся просто так, чтобы подстегнуть себя, чтобы перекинуть мостик над тем, что вдруг разверзается под ногами и может поглотить нас. Матерщина дает нам запал преодолеть эту пропасть и еще какое-то время поддерживает нас до следующего раза. У Гюго, напротив, человек выпаливает ругательства, разряжаясь от напряжения, и они вылетают из него, как заряд из арбалета, когда Ватерлоо уже позади.

— На, на, возьми свои десять монет,— проговорил пронзительный голосок.— Какой визг поднял.

— Я защищаю свои права,— сказал разносчик газет.

— Давайте я познакомлю вас с китайцем,— сказал репортер.

— А с другой стороны, мы испытываем гораздо большие напряжения, чем другие народы,— продолжал Андрес.— Жаль только, что они негативные, подавленные.

— Ну вот, старая это песенка,— сказал репортер.— Ска-



жи еще, что если бы мы умели откладывать про запас, у нас бы не подводило животы, и тому подобное.

— Нет, это не то, психоаналитик ты наш из кафетерия. Просто я хотел сказать, что у нашего сквернословия две стороны: полная бесполезность с точки зрения рассудка, хотя оно и стимулирует нас, и крайняя необходимость ввиду трагической напряженности (прошу прощения), которая захлестывает нас. Другими словами, оно имеет право на существование, по сути, это — трагедия, видишь, как это понятие ввиду его существенности превратилось у меня из прилагательного в существительное. Что есть трагедия? Грандиозная ошеломляющая брань, направленная против Зевса. Не думай, что и муки, терзающие мозг Эсхила, не имеют последствий. Паскаля, обратись он к Зевсу вместо Господа Бога, уверен, поразило бы громом.

— А туман все гуще,— сказал официант, принесший кофе для Клары.— Сколькo машин столкнется. Вон тот сеньор, кажется, знает вас.

— Да, это Салавер,— сказал репортер.— Иди сюда, старик. Сейчас я вас познакомлю с китайцем, я хочу сказать, с Хуаном Салавером. Хуан, мой друг, сеньорита, сеньорита Стелла, тоже друг. Садись, Салавер, поговорим немножко, прежде чем разойдемся. Что ты подделываешь?

— Я — ничего,— сказал Салавер.— А вы что?

— Я? — сказал репортер.— Я пишу «Юдоли».

— А,— сказал Салавер, который обошел вокруг стола и теперь протягивал ему шершавую и довольно грязную руку.— Хорошо.

— Вы журналист? — спросила Стелла Салавера, остановившегося справа от нее.

— Да, точнее, хроникер,— сказал Салавер.— А сегодня как раз хожу собираю материал для заметки относительно —

### **НА КРЕСТНОМ ПУТИ ЖЕЛАНИЙ**

(у типа, который шел от улицы Иригойена и пел, наверное, были аденоиды, проходя мимо кафе, он запел во всю мочь)

**МГЛОУ ЗАЛЪЕТ МНЕ ДУШУ,  
ПОМЕРКНЕТ ЛАЗУРНОЕ НЕБО,  
И СНА Я ЛИШУСЯ НАВЕКИ,  
КОГДА ТЫ УЙДЕШЬ ОТ МЕНЯ.**

— Узнаю тебя, Общество аргентинских писателей, узнаю твой почерк, — сказал Хуан, ежась. — Но обрати внимание — какая символика. Туман проникает этому типу в самую душу. Он называет его мглюю, что поделаешь, не всем дано подняться до высокого уровня культуры.

—...и религиозного восприятия, — сказал Салавер.

Репортер смотрел на него ласково, задержавшись взглядом на лысине Салавера, на треугольных бачках, на его удлиннном лице. «Китаец, — подумал он. — Потрясающий тип».

— Ладно, поговорим о Евгении Гранде, — улыбнулся репортер. — Когда ты отправляешься в Испанию?

— Если все будет хорошо, через пять квадратов, — сказал Салавер.

— Он хочет сказать, через пять месяцев, — перевел репортер. — Ну-ка объясни сеньорам свою систему.

Салавер достал портмоне, из него — кошелечек для визитных карточек, а из кошелечка календарик в целлулоидном футлярчике, на обороте которого была изображена *glamour girl* \* в темных очках и реклама оптики Киршнера, а внутри — великолепный календарь из клеточек-дат на 1950 год. Год Освободителя генерала Сан-Мартина \*\*.

(именно тогда в Париже Иегуди Менухин исполнял сонаты Баха для скрипки без сопровождения, а в Падуе находился Эдвин Фишер,

и Арлетти представлял «Трамвай «Желание» (в Париже), а в Барракасе умирала сеньора Энкарнасьон Робледо де Муньос.

И кто-то в гостинице плакал, закрыв лицо руками, думая о сонате для скрипки Прокофьева, и какой-нибудь надсмотрщик из Чивилкоя останавливал машину возле кондитерской Галарсе и Треза и приказывал батраку: «Ну-ка, Синяя Птица, слетай, купи сладостей!» А в Монреале шел мелкий дождь)

— Пять квадратов, — сказал Салавер и положил кален-

\* Шикарная девица (англ.).

\*\* Хосе Сан-Мартин (1778—1850) — национальный герой Аргентины, один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке.

дарь временем кверху между двумя тарелками с жареными овощами.

— А,— сказала рассеянно Клара,— понятно.

— Действительно, понять довольно легко,— подтвердил Салавер.— Вы знаете, что моя тетушка Ольга живет в Малаге. Я желаю встретиться с тетушкой Ольгой с целью конкретизировать мои планы относительно окончательного переселения на полуостров.

«Рассказывает по пятому разу»,— подумал Андрес, и ему вспомнились слова Мурены, с которым он не был знаком, но кто был его товарищем по одиночеству и антагонистом по двадцати разным пунктам, однако союзником по многим другим:

«Содействуя — посредством извращения слова — тому, чтобы человек превратился в ничего не уважающего циркового зрителя, пресса...»

«Но китаец не похож на человека, ничего не уважающего,— подумал Андрес.— Он, бедняга, просто дурак».

— Вследствие этого,— сказал Салавер,— я привел в порядок этот беспорядок и полагаю, что в пятый квадрат как раз попадает Малага. Справа внизу.

— Между двадцать пятым и тридцатым августа,— сказал репортер, разглядывая квадратики, заполненные красными и черными цифрами.

— Но у меня нет уверенности, потому что контрслучай способен на самое худшее.

— Объясни нам про контрслучай.

— Все на свете — дело случая,— сказал Салавер.— Все. Философы этому учат, об этом написано во многих книгах. А значит, надо идти наперекор случаю, и я изобрел контрслучай — особый способ жить. Вот здесь все объяснено. Все мы живем в квадратах. И потому сначала надо сформировать суперслучай, чтобы естественный случай при входе в квадрат столкнулся с препятствием. Мой метод таков: каждое утро, глядя в потолок, я прокалываю булавкой мой квадрат и смотрю: если булавка попала на уже прожитые дни, то не считается и надо колоть снова. Когда же булавка попадает на тот период времени, к которому мы подходим, я смотрю

на условный знак, обозначающий длину светового дня в этой части земли. А потом думаю. Воды.

— Возьми.— Репортер подал ему сок.

— Теперь надо создать второй суперслучай, а это самое тонкое дело. Если, например, проколешь день, до которого остается, скажем, две недели, то принимаешься думать, как будешь жить этот кусок квадрата. Сначала обдумываешь физические обстоятельства: будет ли дождь, сильным или слабым будет ветер, придется ли тебе писать заметку относительно горючих материалов, которые самовозгорятся в городе под названием Буэнос-Айрес, или человек, облеченный полномочиями секретаря редакции, велит тебе подготовить справку по вопросу о рождаемости. Предположим, все это должно произойти. Ты предполагаешь эти обстоятельства. Это и есть суперслучай. И тогда,— Салавер выпрямился,— тогда ты подготавливаешь контрслучай. Я говорил о дожде и ветре; так вот, когда наступает указанный день, ты выходишь из дому в светлом костюме независимо от того, идет дождь или нет; я говорил о пожаре; в этот день ты приходишь в редакцию и пишешь о Бетховене, даже если горит Троя или Альбион-Хауз. Не важно, были или не были пожары. Заказали тебе или не заказали материал о рождаемости. Ты предусмотрел суперслучай и уничтожил его при помощи контрслучая.

— Ясно,— сказал Хуан в полном восторге.

— Разве я не говорил, что это грандиозно? — сказал репортер, до того не проронивший ни слова.

— По-моему, здорово,— сказал Андрес.— Значит, вы сможете отправиться в Малагу?

— Вполне вероятно,— сказал Салавер.— Пятый квадрат внизу справа, довольно-таки просто.

— Ах так?

— Суда отходят в определенные дни,— сказал Салавер.— В этом преимущество: случай тут преодолевается грубо практически, надо просто подняться на судно, другими словами, не остаться на берегу. А против всего остального будет действовать суперслучай, подкрепленный контрслучаем.

— Вам бы,— сказала Клара тусклым тоном,— следовало

зваться Саласаром \*.

— В моем имени тоже содержится знак, имеющий ко мне прямое отношение,— сказал Салавер.— Я — Опередивший Свое Время, и судьба велит мне смотреть, что ждет впереди.

— Очень интересно,— сказала Стелла, погруженная в календарь.— Так мы идем или нет?

— Идем, идем, здесь жарко.

— Всего хорошего,— сказал Салавер и быстро поднялся.— Мне было чрезвычайно приятно.

— Всего хорошего,— ответили ему все.

**А АБЕЛЬ ОТРАЖАЛСЯ В ВИТРИНЕ.**

— Пусть репортер платит за всех в наказание за квадраты и тетушку Ольгу,— сказал Хуан.— Допускаю, что он вполне китаец, если ты имеешь в виду то же самое, что и я.

— Расплачиваемся по-английски,— сказала Клара и положила на стол два песо. «Или я сошла с ума, или это опять Абелито. Только бы Хуан его не видел, только бы Хуан —»

— Пошел прочь! — закричал официант, пинком выбрасывая иссиня-черного песика, подбиравшегося к огрызку на полу. Потом отсчитал сдачу и сердечно попрощался, до крайности довольный тем, как ему удался пинок и как визжала собака.

Женщины вышли первыми, репортер еще попрощался с официантом, а рука Андреаса тихонько прикоснулась к плечу Хуана, шедшего впереди.

— Да, я его тоже видел,— сказал Хуан, не оборачиваясь.— Что поделаешь, он такой. Поразительно одно: как он улетучивается в мгновение ока, словно дым.

Андрес подождал репортера.

— Как дым — над этим следует подумать,— сказал он.— А ведь именно дым замечают прежде всего. Ты можешь прославиться: предложи через свою газету, чтобы благодарные пожарные воздвигли статую в честь дыма.

— Обязательно предложу,— сказал репортер.— А статую можно заказать Тройяни. Ну, ребята, туман совсем сгустился. Ничего себе ночку выбрали для прогулки. Одни мы...

\* Al azar — по воле случая (*исп.*); в фонетической транскрипции звучит как «аласар».

Ну да ладно, нужно проводить наших экзаменуемых.

Две колонны женщин шли в направлении Майского проспекта. Шли стройными рядами в сопровождении молодых людей с факелами и электрическими фонарями. В тумане процессия походила на гусеницу из японского сада, которая ползла, медленно подтягивая туловище. Кто-то вдруг закричал, и Хуан вспомнил —

— но Абель, этот болван, опять тут,—  
сирены «скорой помощи», мчащиеся по улице Леонардо Н. Алама. Он переложил сверток с кочаном под левую руку и крепче прижал к себе Клару.

— Ну, как ты, старушка?

— В порядке, все вижу и слышу, все понимаю и немного грущу.

— Клара,— сказал Хуан тихо.

— Да, я видела. А почему ты беспокоишься?

— Я не беспокоюсь. Просто мне это кажется абсурдным. Андрес тоже видел его.

— Бедный Андрес,— сказала Клара.

— Почему Андрес бедный?

— Потому что ему видятся призраки.

— А мы с тобой?

— И мы — тоже,— сказала Клара.— Но Абель живой, а не призрак.

Ей вдруг страшно захотелось плакать. Хорошо бы достался четвертый билет.

Репортер купил газету, и они пошли по улице Боливар к Алсине. Моросил теплый мелкий дождичек.

— Замечательно,— сказал репортер.— Депутаты утвердили проект защиты диких животных.

Когда подходили к проспекту Колумба, скользя на покатом спуске улицы Алсина, Андрес выпустил Стеллину руку — та всегда заставляла его вести ее под руку — и чуть отстал, прислушиваясь к резкому голосу репортера и вспыхивым репликам Хуана; он смотрел, как Хуан ведет Клару — будто ее хотят у него отнять. Хуан выглядел нелепо: прижимал к себе сверток и Клару и что-то выкрикивал в ответ репортеру да еще останавливался время от

времени, поджидая Стеллу и оглядываясь на нее, словно за поддержкой.

— Как я устал,— сказал Андрес.— Ну и ночь.

Свет фонарей падал с высоты, высвечивая щиколотки Клары, ее стремительную поступь. К утру, наверное, пойдет тонкий, горячий дождь, который всегда наводит уныние. «Я в это не верю!» — выкрикнул Хуан, останавливаясь на углу. Свет омывал волосы Клары и половину лица; Андрес остановился и смотрел на нее; он увидел, как репортер, знаками попросив подождать его, побежал на противоположную сторону улицы. Стелла и Клара разговаривали с Хуаном и совсем позабыли об Андресе, стоявшем в тени. «Я — свидетель,— подумал он.— Свидетельствующий... О чем я могу свидетельствовать, кроме как о себе самом, да и то...»

Из подъезда вышла женщина и тихонько свистнула. Высокая худая жгучая блондинка в черном платье, обтягивающем груди. Она остановилась в тени и снова свистнула, глядя на Андреса.

— Простите, что я не виляю хвостом, как воспитанный пес,— сказал Андрес,— но я не люблю, когда мне свистят.

— Пошли,— сказала женщина.— Пошли со мной, красавчик.

Андрес указал ей на группу на углу, на обернувшуюся Стеллу. Репортер уже возвращался с пакетом в руке.

— А,— проговорила женщина, сникая.— Так бы и сказал.

— Что поделаешь. Ты всегда тут?

— Иногда. Можешь найти меня в час в «Афмуне».

— Заметано,— сказал Андрес и помахал ей рукой на прощанье. Он видел, как она снова отступила в глубину подъезда, как сразу стали темными ее волосы. «Кто его знает,— подумал он.— Может, лучше выпиться с этой бедняжкой, чем...»

— Винцо первосортное! — кричал репортер.— Пришла пора для эутрапелии, старик, час ночи. Andiamo a fare una festicciola \* на площади Колумба, и пусть полиция questa sera \*\* будет слепа и нема.

\* Пойдем кутнем (итал.).

\*\* В этот вечер (итал.).

— Андрес! — крикнула Стелла, глядя, как он медленно подходит к ним, опустив руки в карманы.— Одиноким крысеныш, иди сюда, к своей кошечке.

— Кисеныш,— сказал Андрес.— Ты — ангел, удерживающий меня от искушений.

— Ах так, значит, правда,— сказала Стелла.— Кларе показалось, что ты разговариваешь с...— Она вдруг замолчала, смутившись. «Зря я помянула Клару»,— подумала она, но мысли этой не высказала, потому что

Андрес, котенок,

блондинка, вино и *festicciola* \*, проститутка, голос Клары, голос такой, будто она сердится, однако глупый, котенок, котик-обормотик, все-таки я — имею ПРАВО

руки, такие тонкие,

он никогда,

а как он пахнет, какой он жаркий

в любви, о, какое блаженство

— Чмок,— сказал Андрес, наклоняясь к ней всем телом (так наклоняются, когда руки — в карманах, наклоняются словно на шарнирах), и звонко чмокнул ее в волосы. «Кларе показалось,— подумал он, испытывая смущение и счастье.— Она видела, что я разговаривал с этой женщиной». Клара шла и слушала тишину, наполнявшую все ее существо, этот бархат, что трепещет на самом дне ушей; слушала, как ночь в ее теле сопротивлялась вторжению улицы с ее шумами и огнями. Рядом с ней разговаривали, слова проходили сквозь ее волосы, сквозь уши, сквозь кожу. «*Deep river, — подумала она, — my soul is on the Yordan*» \*\*. И приходили нелепые желания — остаться одной, оказаться в объятиях Хуана, слушать Мариан Андерсон, читать о приключениях Пуаро, статью Сесара Бруто, выпить воды с лимоном, увидеть прекрасный сон, какие снятся рано утром, когда внутренним взором видишь, что уже шесть часов, но так сладко потянуться, вытянуть ноги, прижаться к теплой, плотной спине и позволить себе снова опуститься в глубину и — хищный стервятник,

\* Вечеринка (итал.).

\*\* Глубокая река, моя душа в Иордане (англ.).



зато — кольцо и жестокая принцесса,  
а потом — водоворот, да, баллада —

— Ты грустная,— сказал Андрес.

Они шли по проспекту Колумба, и клочья тумана то и дело окутывали их, а мимо проходили люди и машины, такие им чужие и чуждые.

— Нет, просто ночь существует для того, чтобы думать,— ответила она чуть насмешливо.

— В таком случае прошу прощения,— сказал Андрес. Она коснулась кончиком пальца его руки.

— Я не тебя имела в виду. Говори, ты же знаешь, что...

— Да, да. Но это еще не значит...

— Что не значит?

— Что ты на самом деле хочешь, чтобы я говорил.

— Не глупи. Ах, какой ты обидчивый. Хуан, Андрес на меня обиделся.

— Жаль,— сказал Хуан, догоняя их.— Обиды Андреса благородны, потому что они, как правило, метафизические. Когда сосредоточиваешься на объекте, эффективность падает. *Aquila non capit, etcetera* \*.

— Отвратительно,— сказала Клара.— Ты относишься ко мне как к мошке.

— Накануне экзамена тебе бы следовало вспомнить, что в устах Гомера это звучало бы почти хвалой. А у Луциана, дорогая? Я люблю мошек, так грустно видеть, когда они с приходом зимы начинают умирать на оконных стеклах, на занавесках. Мошки — камерная музыка фауны. Ты и на самом деле псиная мошка инвективы. Псиная мошка, потрясающе! — И, сжимая кочан, захохотал как сумасшедший — (только сумасшедший мог бы так смеяться, а он не сумасшедший).

А разносчик газет на углу Иполито Иригойена смотрел, смотрел на него и тоже начал смеяться, сперва тихо, словно не желая.

— Псиная мошка! — завывал Хуан и сгибался в три погибели от хохота.— Потрясающе!

— Что же с ним будет, когда он хлебнет старого трапи-

\* Орел не ловит и т.д.— часть латинского выражения *Aquila non capit muscas* — орел не ловит мух.

че,— сказал репортер, испытывая неловкость.— Че, перестань, пошли, хватит ребячиться.

Андрес, ушедший на несколько шагов вперед, обернулся. Туман мешал разглядеть их. Он вспомнил мальчонку на Майской площади и жаждущие ритуального зрелища ненасытные лица присутствующих. Не затем ли и он пошел туда? — подумал Андрес. Очень может быть, у него самого белое лицо, как у тех, кто идет следом за ужасом. Он провел ладонью по влажному лицу.

— Пойдемте на прекрасную площадь Христофора,— распорядился репортер.— Стеллита, вашу руку. Да, это старое вино, трапиче, надо вернуться к простым ритуалам, к зутрапелии.

Высокий призрак вынырнул из тумана спиной к ним, вокруг его ног суетились неясные тени, хлопотливые фигуры, проступил крест. «Еще один стоит спиной ко всему,— подумала Клара.— Еще один созерцает воды ностальгии, бесполезную тропу бегства». Пес обнюхал Кларину юбку и усталился на нее ласково и преданно. Она почесала его щетинистую шею; он был мокрый, как Томас —

Томас, ее медвежонок,  
она оставляла его на улице, под открытым небом,  
а утром, когда вставало солнце,  
«Клара, Клара, что за девочка! Разве для этого  
тебе дарят игрушки!»

Какой ужас, как стыдно, Томас замерз,  
Томас намок, бедный мой Томас, промок, бедняжка, всю  
ночь один, а вокруг домовые и мохнатые совы, прости,  
прости, Томас, я никогда больше не буду так делать —  
— Военное министерство — как будто из картона,— сказала Стелла.

— Тонкое наблюдение,— сказал репортер.

И все равно было странно обнаружить, что Андрес так непрост, оказывается, он любит тишину, а это так некстати в Буэнос-Айресе, и немного рисуется, то и дело отставая от других на несколько шагов —

а женщина была блондинкой; вышла из подъезда неожиданно, как в кино —  
или уходит вперед, а потом с видом статуи поджидает

остальных. «Он как будто чего-то ждет от меня, — подумала Клара. — Как будто я ему что-то должна».

— А она подошла и положила на ладонь муравья, — рассказывала Стелла репортеру. — Ужасно. Никогда не знаешь, что она натворит. Такая озорница.

— Дети, — сказал репортер, — трагичны.

— Ой, они такие славные!

— Кошмарные, — сказал репортер. — Мерзкие дикари. Вы любите их кожей, ваш нос, ваш язык любят их. Но если вдумаетесь...

— Все мужчины одинаковые, — сказала Стелла. — А потом у них появляется ребенок, и они распускают слюни.

— Я не распушу слюни, даже лежа щекою на животе Гейл Рассел, — сказал репортер. — Че, надо сесть на хорошую скамеечку и одурманить себя как следует, созерцая Колумба и звездное коловращение.

— Вы гораздо более чувствительны, чем кажетесь, — сказала Стелла, проявляя интерес. — Насмешничаете, а сами добрый.

— Я просто ангел, — сказал репортер. — А потому не боюсь, что от меня будут дети. Что с тобою, Хуан?

Но Хуан смотрел куда-то вдаль, на деревья, терявшиеся в тумане. Потом достал платок и швырнул платок на скамейку —

как Дарио — в море —

и Клара села, вздохнув с облегчением, справа от нее сел Андрес, и Клара подвинулась, давая место Хуану; Стелла села на самый край, а репортер — между нею и Хуаном. И тогда Андрес поднялся со скамьи, а за ним и Хуан, по-прежнему не отрывая глаз от деревьев.

— Че, отдохните немножко, — говорил репортер. — Мы находимся на самой красивой, самой центральной, самой шикарной площади Буэнос-Айреса. Никто сюда не ходит, только влюбленные и министерские служащие. Однажды ночью я видел тут негра — он целовал мальчика лет четырнадцати. Мальчик слабо сопротивлялся, ему было стыдно — он видел, что я наблюдаю за ними.

— А зачем ты это делал? — спросил Хуан. — Ведь в твоих репортажах любовью не пахнет.

— Что вы такое говорите,— запричитала Стелла.— Негр целовал мальчика, какая гадость.

— Не скажите, в этом что-то было,— возразил репортер.— Некая статуарность в позе, на площади это хорошо смотрится. Ну-ка, Хуан, дай твой знаменитый штопор.

— Я больше не ношу его с собой. А если и у тебя нет, то плохо дело.

Но у репортера был, просто он стеснялся вынимать огромный перочинный нож с рукояткой из пожелтевшей кости и семью лезвиями из фирменной золингеновской стали.

— Придется пить из горла. Сначала — дамы, и не забудьте чокнуться с Колумбом, задрапированным в туман. Стелла, не жеманьтесь, берите пример с Клары, она, сразу видно, из племени пьющих.

— Выпьешь, и туман не будет к тебе липнуть,— сказала Клара, передавая той бутылку.— По правде говоря, надо было купить белого вина.

— Белого у них не бывает,— ответил репортер.— Как говорится, совершенно не их профиль. Это все равно что просить Чарли Паркера сыграть мазурку. Ну, а теперь ты, Хуанито. Да что ты застыл, как часовой? Кто там, Хуан?

— Я бы сам хотел это знать,— сказал Хуан, завладевая бутылкой.— Думаю, и Андрес не прочь бы узнать. Ты что-нибудь видел, Андрес?

— Не знаю. Такой туман. По-моему, да.

Клара остановилась и глядела в сторону клуба автомобилистов, проследив взглядом все изгибы не прямой улицы, огоньки автобусов «А» и «С», застывших на остановке.

— Совсем как начало «Гамлета»,— сказал репортер.— Или «Макбета»?

— Пускай их,— сказала Стелла.— Они все трое обожают сочинять романы. Что это у вас на лице прилипло? Позвольте, я сниму.

— Это пушинка,— сказал репортер в некотором удивлении.— Странное дело: у меня на лице — пушинка.

— Ветер,— пояснила Стелла.— И влажность, вот она и прилипла к носу.

Две женщины с мальчиком шли по площади и останови-

лись, чтобы мальчик пописал на газон. В тишине площади слышно было, как струйка упала на гравий.

— Так всегда, — сказала одна из женщин. — Сколько времени сидели у тебя, и ему в голову не пришло пописать, а только вышли — сразу приспичило.

— Ничего страшного, если только это, — сказала другая.

— Вот и имей детишек, — сказал репортер, забавляясь от всей души.

— А что такого? Что особенного? Слышишь, Клара? Представляешь?

— Нет, я замечталась, — сказала Клара. — Андрес, что мы так нервничаем? Можно подумать, он собирается нас съесть.

— Кто? — спросил репортер.

— Никто, Абель, — сказала Клара. — Обычный парень.

Андрес устало сел на скамейку.

— Ну раз уж мы его назвали, давайте поговорим, — сказал он. — Третий раз я его вижу сегодня.

— И я два раза, — сказали Клара и Хуан одновременно.

— А может, нам показалось. Туман...

— Это не туман, — сказал репортер. — Я уже устал повторять. Но вы что-то скрываете. Что за история с этим Абелем?

— Ничего не скрываем, — сказал Хуан, отдавая ему бутылку. — С этим парнем что-то не в порядке последнее время.

— Абелито немного странный, — сказала Стелла. — Но чтобы три раза за ночь... Он же не преследует нас.

— Блестящая мысль, — захолопал в ладоши Андрес.

— Перестань.

— Хорошо. Я перестану. Скамейка мокрая.

— Пошли домой, — сказал Хуан Кларе на ухо, но не понижая голоса.

— Нет, нет. Ты что, нервничаешь?

— Нет, я не поэтому. Просто боюсь, как бы ты не заболела, такая ночь. А завтра надо быть в порядке.

— Завтра никогда не бывает в порядке, — сказал репортер. — У меня никогда не бывает ловкие фразочки здорово получаются, видели бы вы, как они нравятся нашему Диреку. Он называет меня афористом.

— Аферистом,— сказал Андрес.— Кто говорит «завтра»?  
Завтра — вот оно, эта мучнистая липкость, что наваливается на нас, и есть завтра.

— Ну и ну.

АБЕЛЬ. БЕАЛЬ. ЛЬЕБА. АБЬЕЛ. ЛЬАБЕ.

ЕЛЬАБ. БЬЕАЛ. АЛЬБЕ. АЛЬЕБ. ЕЛЬБА.

— В воздухе полно пуху,— сказала вдруг Стелла.— Я проглотила пушинку.

— Это не пух, а слова, произнесенные людьми, туман их подхватывает и носит,— сказал Хуан.— В такую ночь...

Такая ночь нам

красит жизнь,

в такую ночь забудет сердце

свои сомненья и раздоры,

и звездный свет сияет в выси,

как свет лампад у алтаря,

и полная луна,

неспешно поднявшись

над морскою гладью,

к нему несет свои моления. Спорю на десять

монет, что не назовете автора.

— Кто-то из испанских романтиков,— сказал Андрес.—  
Такая ночь — превосходный материал для децим.

— Разумеется. Я заклинал стихами ночь.

Здравствуйте, звезды, здравствуй, Беласель, сладкий, как сахар, свей лианы в косу, пусть нас не жалят осы!  
Я знаю много заклятий. Уйму.

БЕАЛЬ ЛЬЕБА ЕЛЬАБ

АЛЬБЕ ЛЬАБЕ

— Кампоамор,— сказал Андрес.

— Нет.

— Дуке де Ривас.

— Габриэль и Галан,— сказал репортер.

— Нет. Кто еще? Нуньес де Арсе.

СЕРА АРЕС РЕСА

САРЕ АСЕР РАСЕ

— Ладно,— сказал Андрес.— Ты подобрал хороший пример.

Пройдя перекресток улиц Леонардо Алема и Митре, Абель свернул в боковую улочку, зашел в подъезд и закурил сигарету. Почему-то (может, из-за разницы температур или еще почему-то) в этом закоулке не было тумана. Возвращавшиеся с Майской площади люди шли по улочке, словно по световому туннелю, потому что яркие фонари тут стояли через каждые восемь метров (после покушения на Кардинала-примаса, произошедшего как раз напротив книжной лавки «Знания»).

Закурить сигарету для Абеля всегда было делом кропотливым и долгим.

#### БЕЛЬА АЛЬБЕ

— У Марии Андреа корзинки, корзинки, одни корзинки, — пропел негритенок — разносчик газет.

Абель порылся в кармане жилета, потом в правом наружном. Нужна была почтовая марка. Аккуратно достал какую-то бумажку, оглядел ее. Розовый автобусный билетик. Может быть, в другом кармане.

— В ночь, когда мы поженились, я не спал ни минутки...

#### БАЛЬЕ

— Мы уже больше двух часов не говорим о литературе. Невероятно, — сказал Хуан, опрокидывая вверх дном пустую бутылку. — Погасим фонарь?

— Настоящий портеньо, — сказал Андрес. — Гаси, не оставляй неудовлетворенных желаний.

Но Хуан, устыдившись, сунул бутылку под скамью.

— Хорошо здесь, — сказала Стелла. — Не так жарко, как на площади.

— Воспользуемся случаем и проведем опрос, — сказал репортер. — Какое образование получил ты, Андрес? Не злись, че, я журналист как-никак, nihil humanum a me alienum puto \*. Заметил, как смехотворно выглядит человек, употребляющий латинские цитаты?

— И всякие иные. А потому лучший способ — цитировать

\* Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

на своем родном языке, но не говорить, что это цитата. Именно это я проделываю сейчас.

— Ты — потрясающий, — сказал репортер. — Но серьезно: я бы хотел обойти всех и спросить: «Какое образование вы получили? Что вы читали в десять лет? Какие фильмы смотрели в пятнадцать?»

— Только и всего? — сказал Хуан насмешливо. — Только об изящных, до невозможности изящных искусствах и литературной чепухе?

— Дай репортеру сказать, — проговорила Клара. — Это великий час, мы на великой площади, в великом тумане — самое время и место говорить о таких вещах.

— Я думаю, можно много узнать об Аргентине, исследуя эволюцию нашего поколения. Проку от этого нет, но знаешь, старик, все-таки статистика... Какая наука! — воодушевился репортер. — Сперва допытываются, сколько собак было раздавлено за пять лет и сколько рек выходит из берегов в Судане.

— В Судане нет рек, — сказал Хуан.

— Я имел в виду Трансвааль. Потом сопоставляют результаты и на основании полученного выводят закон о рождаемости в семьях певцов итальянской школы.

— Статистика, имейте в виду, — это демократия в ее научной ипостаси, определение сути в расчете на душу населения.

— Как плетешь, — захохотал Андрес.

Клара слышала, как он смеется, и удивилась своему удивлению. «Как странно, — подумала она. — Он хороший, пусть посмеется». Она тихонько дотронулась до его колена, он посмотрел на нее.

— Репортер хочет знать, где ты черпал культуру. Ты будешь его первым подопытным кроликом.

— Вторым, — сказал репортер. — Первый — я сам. Статистик должен жертвовать собою в интересах науки и первым заполнять анкету для истории.

— У меня было дурацкое детство, — сказал Хуан. — Говори ты первым, Андрес.

— Я не люблю говорить о своем детстве, — сказал Андрес угрюмо, и Клара вдруг почувствовала во рту отчетливый



вкус чего-то нежного, отдававшего плодами рожкового дерева, ощутила сладкую слюну лета.

Детство —

лучше не говорить о нем, лучше не трогать его, пусть остается в темном уголке памяти, в своей клеточке,

лучше его не предавать —

Укромный уголок, арбузы, шепот на ушко, сиеста,

улитка, улитка, высуну рога.

Боженька, боженька, запахи,

карнавал, считалочки —

Я буду тармангани, а ты гомангани, ой, хватит —

— ...итак, вперед. Я только хочу знать, как ты из него выскочил. Когда распрощался с отрочеством, с порою изгрызенных ногтей и повышенного интереса к физиологическим отправлениям.

— Дорогой репортер, ты, я вижу, заинтересовался не на шутку, — сказал Андрес. — Ну что ж, я, пожалуй, помогу тебе. Итак, я не был скороспелкой, однако отважно принялся писать о вещах, о которых сейчас не отважился бы говорить. Интересно, что я писал языком фальшивым, ханжеским, без единого непристойного словечка. Персонажи говорили правильно, как в книжках, а действие всегда происходило *anywhere, out of Buenos Aires* \*. Уму непостижимо, до чего я тяготел к универсальности; и приходил в ужас от одной мысли написать что-нибудь конкретное об окружающей жизни; я старался, чтобы мои стихи — да, Хуанчо, именно тогда я разразился жестокими сонетами — и мои рассказы были одинаково понятны как в Упсале, так и в Сарате. Язык был дурацкий, однако то, что я пытался с его помощью выразить, обладало большей силой, чем то, что я пишу сейчас.

— Ты глубоко ошибаешься, — сказал Хуан. — Но продолжай, посмотрим, какой путь ты прошел.

Андрес сидел, опершись затылком на спинку скамейки, и курил.

— Иногда, — продолжал он, — хлесткий детерминизм

\* Где-то, не в Буэнос-Айресе (англ.).

бьет по струнам и рикошетом в кровь разбивает тебе лицо. Например, я до двадцати пяти лет испытывал подлинное творческое горение. Нельзя сказать, что я писал много по объему; но я без конца отрабатывал, тщательно отделявал свои вещи. И все равно я тогда писал больше, чем за свою остальную жизнь, и теперь, перечитывая, вижу, что шел правильным путем. Я лез во все, перевел понапрасну гору бумаги, но сегодня мне бы не хватило духу сказать некоторые вещи или таланту, чтобы написать хотя бы один сонет, подобный тем. Мне просто нравилось писать, я получал наслаждение. Сладостное мучение, похожее на то, когда чешешь место, которое чешется, расчесываешь до крови, но получаешь удовольствие.

— И почему же источник иссяк? — спросил репортер.

— Влияния и предрассудки под личиной опыта сгубили его. Плохо, что они были необходимы и выглядели благими. Но в конечном счете благо, что они подействовали на меня плохо. Это нелегко объяснить, но я попробую. У меня было двое друзей, которые меня очень любили и, наверное, поэтому почти никогда не хвалили моих вещей, а, наоборот, сурово и самоотверженно критиковали их. Я никогда не ждал от них восторженных оценок. Они отмечали все погрешности моего пера, указывали на все ненужное и считали, что мой долг — исправлять. И это вынудило меня — из верности нашей дружбе и благодарности — повернуть кран, оставить лишь тонкую струйку. Несколько дней и ночей я перелопачивал написанное, чистил, вылизывал и перетряхивал, пока не начинало вытанцовываться то, что можно было оставить. Да еще чтение: именно в ту пору я первый раз прочитал Кокто, мне было девятнадцать лет, и я просто бредил «Опиумом», «Opium». Сейчас я произношу название по-французски, но тогда это мне было не по карману, я достал дешевенькое испанское издание. Ты не представляешь, чем это было для меня. После «Илиады», моего первого рывка к асболюту, я вдруг погрузился в Кокто. Просто невероятно, я неделями не причесывался, дошел до того, что сестра и мать стали называть меня идиотом, я забивался в кафе и проводил там долгие часы, нейтральная обстановка способствовала одиночеству. Каждая фраза Жана точно стеклянным острием

пронзала мозг. Все — по сравнению с этим — казалось мне жидким дерьмом. И представь, старик, всего за два года до этого я читал Элинор Глин. И мог плакать над Пьером Лоти \*, чтоб пусто было его японской душе. И вдруг я натыкаюсь на эту книгу, итог целой жизни, но жизни, которая не чета твоей, жизни девятнадцатилетнего мускулистого портенью. Я погружаюсь во все это с головой и открываю рисунок, да, еще и это: я открыл пластику в рисунках, их крайнюю наивность, самую прекрасную; теперь-то я знаю, они недостойны такого изумления, однако эти геометрически простые букашки, эти матросы, эти опиумные безумства, знаешь, я ночи напролет разглядывал их и страдал, курил трубку и разглядывал, изучал и разглядывал, просто не отрывался от них, рачки, рачки, рачки, какое-то безумие.

— Черт возьми,— сказал репортер.

— Вот она, эта книга. На первый взгляд она трудна и сложна для понимания даже не тем, что там говорится, а тем, что подразумевается; об этом я не имел тогда даже отдаленного представления. Рильке, Виктор Гюго, серьезный Гюго, Малларме, Пруст, «Броненосец «Потемкин», Чаплин, Блез Сандрар, и я открыл, сам того не сознавая, насколько все это серьезно. И стал бояться писать; я стал выбрасывать бумажки, на которых нацарапывал что-нибудь на площади Сан-Мартина или на Ла-Перла дель Онсе. Эта книга и двое моих друзей прямым ходом отсылали меня к Малларме, я хочу сказать, к тому, что делал сам Малларме. Но меня иссушали, с одной стороны, неверие в себя, а с другой — страстное желание прикоснуться к абсолюту. Я стал писать герметические стихи, такие, что, наверно, не найдется и четырех человек, которые бы одолели даже первые строки. Я начал придавать исключительное значение обстоятельствам: писать только тогда, когда имелся совершенно необходимый повод. Так я написал плач на смерть Д'Аннунцио, которого безумно любил, написал, чтобы, как говорится, клин клином, и еще потому, что с ним, по сути, происходило то же самое, разве что он писал очень мало, но многими словами.

\* Пьер Лоти (1850—1923) — французский писатель, один из создателей «колониального романа», овеянного восточной экзотикой.

— А потом?

Но Андрес сидел с закрытыми глазами и, казалось, заснул.

— Потом я стал писать хорошо,— сказал Хуан, прикоснувшись пальцем ко лбу Андреса.— Смотри, на нем, как и на нас всех,— лунный свет. Он — здесь, а свет идет к нему из дальнего далека. Кокто... Мой свет иногда зовется Новалис, а иногда — Джон Китс. Мой свет — это Арденнский лес, сонет сэра Филипа Сиднея, сюита для клавесина Пёрселла, картина Брака.

— И я,— сказала Клара, неприлично потягиваясь.

— И ты, мышонок. Ах, репортер, только провинциалы, и то иногда, лишь иногда, способны создавать автономную культуру. Обрати внимание, я не говорю: автохтонную, потому что... Но, во всяком случае, со значительным местным колоритом. И правильно делают, как ты считаешь, репортер, правильно они делают?

— Ты себе противоречишь,— возразил репортер.— Можно специализироваться и на местном колорите, однако культура по самой сути своей экуменична. Должен ли я пояснить свои слова? Только на втором этапе можно оценить собственное своеобразие. Я понимаю Роберто Пайро постольку, поскольку я прочитал моего Мериме и мою «Бесплодную землю». Останавливаться на сиюминутном и полагать, что оно самодостаточно, свойственно моллюскам и дамам, прошу прощения у присутствующих здесь дам.

— Это так грустно, репортер,— сказал Хуан, вздохнув.— Так грустно чувствовать себя паразитом. Молодой англичанин определенного толка есть сонет Сиднея или рассуждения Порции. А какой-нибудь sockney — это твой «London again». А я, притом, что так люблю и знаю первых, я — всего лишь тонкая стопочка стихов и прозы, я — всего лишь погоня и ловля, лишь закованный в кожу гаучо.

— По-моему, это мелочные жалобы,— сказала Клара, выпрямляясь.— И не к лицу человеку, который всерьез, как ты, занимается настоящей интересной поэзией.

— Если взглянуть трезво,— сказал Хуан,— мало радости принадлежать к культуре пампы исключительно в силу

случая, носящего демографический характер.

— А в конце концов какая разница, к какой культуре ты принадлежишь, если ты создаешь свою собственную, как Андрес и многие, ему подобные? Тебя беспокоит, что ты неизвестен людям, собравшимся на Майской площади?

— Этим нужны химеры,— сказал репортер.— Они — здешние больше, чем мы с вами.

— Меня не волнуют эти люди,— сказал Хуан.— Меня беспокоят мои взаимоотношения с ними. Беспокоит, что какой-нибудь подонок именно потому, что он подонок, становится моим начальником в конторе, и вот он, заложив пальцы за жилет, говорит, что Пикассо следовало бы кастрировать. Меня бесит, когда какой-нибудь министр заявляет, что сюрреализм —

ах, зачем повторять все это,  
зачем —

Меня бесит, что я не могу с ними ужиться, понимаешь? Не-мо-гу-ужить-ся. И вопрос тут вовсе не в интеллектуальном уровне Брака, не в Матиссе, не в двенадцати ладах, в генах или в архимедузе. Эта несовместимость у нас в коже и в крови. Я скажу тебе страшную вещь, репортер. Я тебе скажу, что каждый раз, когда я вижу эти прилизанные черные волосы, эти удлинненные глаза, эту смуглую кожу, когда слышу этот провинциальный говорок,—

— меня с души воротит.

Каждый раз, когда вижу представителя этой породы, эдакого портенью, воротит с души. И от этих служащих — их ни с кем не спутаешь, они — продукт этого города,— с их парикмахерской прической, с их дерьмовой элегантностью, с их манерой насвистывать на улице — от них меня воротит с души.

— Ну что ж, понятно,— сказала Клара.— Вижу, ты и нас не обойдешь.

— Нет,— сказал Хуан.— Такие, как мы, вызывают у меня жалость.

Андрес слушал, сидя с закрытыми глазами. «Какое убожество,— думал он.— Только в страстях, только в эле-

ментарных вещах мы похожи на других. А там, где зарождаются отношения пары, где возникает сложная шкала ценностей, где образуются тонкие связи между человеком и окружающим его миром, где вспыхивают противостояния, там мы теряемся...»

Пух, отяжелев от влаги, срывался с мокрых листьев и падал на гравий. Сапог полицейского прошагал рядом, едва не придавив его. Легкий ветерок приподнял его над землей, и он закрутился на своих тоненьких щупальцах-волоках, прихватывая пылинки, крошечные частицы волокон, а потом струя воздуха подхватила пушинки и подняла вверх, к горящим фонарям. И пух летел от фонаря к фонарю, касаясь светящихся опаловых шаров. А потом силы у него иссякли, и он стал падать вниз.

Закрыв глаза, Андрес слушал разговор друзей. Репортер стал вспоминать стихи, которые Хуан написал давным-давно. Клара помнила их лучше и прочитала немного усталым тоном, но усталость, казалось, шла не от голоса, а была рождена словами. Стихи были несколько выпренные и отражали его тогдашнее настроение, о чем Хуан как раз и говорил. «Можно блевануть в цинковый таз и в севрскую вазу», — с горечью подумал Андрес.

— Как элегантно, — сказал Хуан, нарушая затянувшееся молчание. — Совсем неплохо, но эти приливы, эти морские раковины...

— Очень красиво, — сказала Клара. — Чем дальше, тем все больше ты боишься слов.

— Это хорошо, что хоть кто-то их боится, — пробормотал Андрес. — Я с Хуаном заодно.

— Но мы рискуем прийти к обнищанию, если будем и дальше бояться чрезмерности в манере выражения. Если вы думаете, что вернее сможете выразить суть, ограничивая себя в средствах выражения, то вы ошибаетесь.

— Может, прежде чем затевать столь жаркую дискуссию, договоримся о терминологии, — предложил репортер. — Средства выражения, например, и тому подобное.

Но Клара не желала терять время, ей нравились стихи

Хуана, и она считала, что и приливы, и морские раковины — все на месте.

— Что ни говорите, мы отступаем,— настаивала она.— Наши деды обильно уснащали свое письмо цитатами, а теперь это считается вычурным. Однако цитаты спасают нас от того, чтобы выразить плохо то, что кому-то уже удалось выразить хорошо, и, кроме того, указывают направление, наши предпочтения, помогая понять того, кто их использует.

— *Cuoth the raven: Nevermore* \*,— сказал репортер.— Сорока тоже может произнести: *Panta Rhei* \*\*.

— И этим нас не возьмешь,— сказала Клара.— Боязнь использовать цитаты, отыскивать сопоставления с классикой и есть формы стремительного обнищания. И потому настаиваю: худшее из зол — боязнь слов, тенденция замкнуться в своего рода *basic Spanish* \*\*\*.

— Лучше уж *basic Spanish*, чем лексикон «Войны гаучо» \*\*\*\*,— сказал репортер.

— Даром теряете время,— сказал Андрес как бы сквозь сон.— Опять эта дурацкая путаница целей и средств, формы и содержания. «Война гаучо» — блистательна, потому что она блистательно —

— простите мне великодушно это наречие — осмыслена. О чем мудро замечено: скажи мне, как ты пишешь, и я скажу тебе, что ты пишешь. Блистательная манера приводит к блистательному качеству, старик.

— С кем поведешься, от того и наберешься,— сказал репортер, глядя на Стеллу, почти засыпавшую на краю скамейки.— Не хватало только краткого экскурса в музыку, слегка коснуться живописи, разок-другой пройтись по психоанализу, и — можно по домам, завтра всех ждет работа.

— Завтра,— сказал Хуан,— надо сдавать экзамен.

Андрес снял прилипшую к губе пушинку.

— Если говорить все меньше и меньше,— пробормотал он,— то в конце концов придется говорить больше. Хуанито, поэту следует быть монофонным.

\* Каркнул Ворон: «Никогда» (англ.) — строка из стихотворения Эдгара По «Ворон».

\*\* Все течет (греч.) — выражение, приписываемое Гераклиту.

\*\*\* Здесь: упрощенный испанский (англ.).

\*\*\*\* Книга аргентинского писателя Л. Лугонеса (1874—1938).

— Вот именно,— сказал Хуан насмешливо.— И кончить, как семинаристы Германа Гессе,— онанизмом.

— Интересно, меня тоже тошнит от этого швейцарца,— сказал Андрес.— Однако справедливо признать правоту Клары. Язык аргентинцев богат лишь восклицательными формами в выражении нашей фальшивой трескучей агрессивности, да еще тем, что в провинции передается изустно. Самое удивительное — это как мы разделились с прилагательными. Послушай простую испанскую кухарку: как она расписывает паэлью \* или пирог, она пользуется прилагательными гораздо богаче, чем любой из нас, рассказывая о книге или о чем-то очень важном.

— Это совсем неплохо — опираться на существительное.

— Согласен, однако делаем ли мы это? Далеко не уверены. Боязнь цветистости приводит к поляризации эпитета. И возникает невероятный каталог —

ну и зверь, как он играл Дебюсси,  
зверский виртуоз,  
ну и талантище, звериный —

возьми, к примеру, магические прилагательные, циркулирующие в узких кругах, прилагательные для удобства, удобно подменяющие целый ряд слов. «Потрясающий» — одно из таких прилагательных. А раньше было и до сих пор еще сохранилось — «убойный».

— Не думаю, что эти механизмы свойственны только Буэнос-Айресу,— сказал Хуан.— Ты верно заметил, что слова эти играют роль знаков. Я сейчас вспоминаю: довольно давно я был в одном доме в Вилья Уркиса, и там был буэносайресец с каталонской фамилией, так вот от него я в первый раз услышал то, о чем ты рассказываешь. У него все подряд было «чудовищным»: так он определял то, что считал замечательным, что вызывало у него восторг. «Чудовищный роман, вы должны прочесть его сегодня же...» Я ходил туда, чтобы быть счастливым и овладеть техникой перевода. Чудовищные были годы,— добавил он тихо, улыбаясь своим воспоминаниям.

— Если по состоянию языка можно понять, как живет народ, который говорит на этом языке,— сказал репор-

\* Блюдо из риса с мясом и овощами.



тер, — тогда мы в полном дерьме. Язык наш вязкий, пожелтевший, высохший. Требуется срочно хлебнуть лимонаду.

— Есть, к счастью, люди с языком без костей, — сказал Хуан. — Думается мне, я — один из них, и едва ли Андрес побоится самых, я бы сказал... я бы сказал, достойных выражений. Выразаться достойным образом, не поддаваясь на удобные уловки —

— ибо, по сути дела, это не что иное, как, мать твою, оскопленный семинаристский язык, некий *trovar clus* \*, уже не имеющий смысла.

— Нет, смысл имеется, — сказал Андрес. — Только свой собственный смысл. Зачем отказывать артисту в возможности выразаться в точном соответствии с его поэтической или пластической сутью? Ты хорошо подобрал слово — «достоинство», — ты видишь, мы с тобой, во всяком случае, стремимся к достоинности выражения. Однако допусти и другие возможности, например, возможность *trovar clus*, который служит свою службу в той же мере, в какой и твой непосредственный и сущностный язык.

— Андрес прав, — сказала Клара. — Главное, чтобы язык выражал суть вещей, а у нас это случается редко. Но суть вещей многозначна, и соловьи в листве деревьев — это одно, а дичь в соусе — совершенно другое. Важно не называть амброзией водку и наоборот.

— Кошмар, — сказал репортер. — Если ты изложишь эту мысль завтра, тебя пинком выбросят с факультета.

— Очень хорошо, — улыбнулся Андрес и поглядел на Клару, словно чему-то удивляясь. — Превосходно. Роберто Арльт \*\* лучше всех усвоил урок «Мартина Фьерро» \*\*\* и бился изо всех сил над тем, чтобы достичь и утвердить это единство языка и смысла. Он одним из первых понял, что аргентинскому характеру, в определенном смысле характеру национальному, свойственно выходить за рамки, установленные культурным языком (который ты называешь семи-

\* *Trovar clus*... (*прованс.*) — темный, замкнутый стиль в отличие от «ясного» — поэтическая манера трубадуров, характеризующаяся выпретенностью и усложненностью.

\*\* Роберто Арльт (1900—1942) — аргентинский писатель.

\*\*\* Хрестоматийная поэма аргентинского поэта Х. Р. Эрнандеса (1834—1886).

наристским), и что только поэзия и роман могут вобрать в себя весь язык в полной мере. Он был романистом, и потому он бросился на улицу, по которой катит роман. Он дал такси ехать своей дорогой, а сам вошел в трамвай. Он был красив, и пусть его никогда не забудут.

— Все гораздо сложнее,— сказал Хуан, ерзая на скамейке.— Я согласен, что каждая суть должна иметь свой язык, должна сама себе быть языком и тому подобное. Предлагаю также тебе полное право на словоплетство. Эдуардо Лосано, на мой взгляд, имеет такое же право на свою поэзию, как я — на мою или Пти де Мюра — на свои элегии в открытом море или жестокие грезы. Проблема, по сути дела, всегда не в языке, а в смысле. Мы действительно хотим выйти на улицу? Короче говоря: это стоит делать? Конечно, мы немедленно ответим утвердительно, только ненормальному взбредет в голову выражать улицу в стиле «Ла Насьон» или писаний доктора Рохаса. Ясно, что у умного романиста нет другой дороги, кроме той, которую моя жена так славно определила: язык, единый со смыслом. Но возникает еще один серьезный вопрос: что такое улица? Она представляет, вмещает больше, чем, скажем, салон Эдуардо Уайлда или квартира с видом на реку у Эдуардо Мальеа\*?

— Не надо лишних слов,— сказала Клара.— Ты прекрасно знаешь, что улица — это улица и ходят по ней люди; а потому улица, по сути дела, представляет собой то же, что и салон, квартира или иное сообщество. До сих пор мы внимательно следили за твоими рассуждениями, но если ты поддашься обману символов, то ты сам перестанешь себя понимать.

— Ох, старик,— сказал репортер.— Девочка, как всегда, попала в точку.

— Конечно, в точку,— сказал Андрес.— Арлыт ходил по улице людей, и его романы — романы о человеке на улице, другими словами, о человеке более раскованном и менее homo sapiens, он гораздо больше человек, чем персонаж. Обрати внимание, термин «персонаж» не вяжется с существами из романа об улице. И при этом доктора Такого-то

\* Эдуардо Мальеа (р. 1903) — аргентинский прозаик.

мы совершенно справедливо называем персонажем. Возьми это в толк, друг мой репортер.

— Я бы с большим толком выпил кофе, — сказал Хуан. — Итак, я возвращаюсь к своей мысли. Возьмем человека, уже не типичного романного персонажа, но аргентинца, который бродит по романным улицам, в книгах, которые нам интересны и так немногочисленны, —

ты полагаешь, мы можем охватить его всего, с ног до головы, можем познать его и помочь ему познать самого себя, и для этого следует говорить о нем, выговариваться за него

на этом языке-абсолюте, раскрепощенном языке, который не считается ни с чем, кроме смысла, и не имеет иного назначения, кроме как служить своему человеку-романисту и его романным людям?

— Да, полагаю, — сказал Андрес. — Полагаю, черт подери, полагаю.

— Аминь, — сказал репортер.

## А РЕКА БЫЛА СОВСЕМ РЯДОМ, НЕВИДИМАЯ, УСЕЯННАЯ ГРЯЗНЫМИ БАКЕНАМИ.

Площадь почти совсем опустела; остались лишь редкие группки, несколько человек в белом несли длинный ящик, да еще полиция; на углу у Национального банка муниципальная поливочная машина (рабочие в резиновых сапогах уже вышли на площадь и собирали бумажки, апельсиновую кожуру) начала смывать грязь с мостовой и закраин тротуаров. Два полицейских инспектора несли караульную службу в черном «меркури». Дело близилось к рассвету.

— Начальник — страшная сука, че, — сказал низенький инспектор.

— А уж об этом вонючем козле из отдела парков и проспектов и говорить нечего, — сказал инспектор, сидевший за рулем «меркури». — Не поверишь, этот мерзавец положил под сукно мои документы на повышение и притворяется телеграфным столбом. Я знаю, что они у него, а мне неохота —

— Ну, понятно —

— сказать ему —

— Конечно —

— Ты же знаешь, какой он. Ударит ему в голову моча, перекроет тебе кислород — и привет.

— Да, у нас карьеры не сделаешь, че.

— Да уж.

— Ну, ладно, тут дело сделано. Ты думаешь, одной поливалки хватит?

— Само собой,— сказал инспектор, водитель «меркури».— Прибрать немножко сверху, и все дела, утром — опять все сначала.

Из отверстия, изнутри черного, с чуть дрожащими краями, где розоватая пленка то втягивалась вовнутрь, то выступала наружу, на мгновение застывая идеальной полусферой или вытягиваясь овалом, эллипсом, а то и тупым углом, вдруг выдавливалась густая клейкая змея, точно желеобразный фаллос.

И Абелито два раза лизнул языком марку, первый — чтобы размочить клей, а второй — чтобы почувствовать, — что это не меняется —

сменяются правительства,

уходят республики,

но эта основа,

этот липкий утверждающий состав,

этот вкус национального клея, сладковатая мерзостность тоненькой прочной пленочки, это желе, покрывающее с изнанки лицо Бернардино Ривадавии \*, триумвира, героя этой земли, великого, нашедшего последнее прибежище на марке —

что становится родиной героев —

важная штука — марка,

она становится родиной героев,

уже отшумевших и выброшенных в историю,—

но что такое история?

Вот именно,

история — это момент, ничтожное слово,

\* Бернардино Ривадавия (1780—1845) — аргентинский государственный деятель, борец за независимость Южной Америки от испанского господства.

ничтожное слово, которое звучит высокопарно,  
и воодушевляет?

И на все это Абель наклеил марку в соответствии с  
инструкциями Почтового ведомства. Быть может —

в силу мятежного духа, свойственного каждому портеню,  
наклеил ее чуть-чуть не на месте,

словно затем, чтобы труднее было машине проштемпеле-  
вать ее, чтобы машина нащупала ее и еще раз своей ог-  
ромной железной лапой прошлепнула несчастный голубой  
конвертик, расплющила и сделала его совершенно плос-  
ким —

плоский почерк, плоский конверт  
и марка

(которая становится родиной героев)

— совершенно плоская.

За пятак — Сан-Мартин, за гривенник — Ривадавия  
в ночной тиши, под сенью распростертых крыльев родины.

Нет, нет, не собственной персоной, на марке им не  
меститься, да и каким декретом можно лишить их гран-  
диозного величия, что простирается за пределы плоской  
марки? Стоит ли родиться, чтобы потом кто угодно лизал  
тебе с изнанки затылок в мутный предрассветный час?  
Чтобы штемпелем раскраивали тебе лицо два миллиона  
раз на дню —

(согласно статистическим данным Почтового ведомства.

Конверт с марками дороже одного песо —

аккуратненько —

не шлепайте так —

не швыряйте, потихоньку) — и это тоже называется «вой-  
ти-в-историю».

Самое страшное — ты сам себе не принадлежишь: ты  
провозглашаешь себя, а потом уже тебя провозглашают,  
тебя чествуют, ты нарекаешься, эксгумируешься, возвра-  
щаешься на родину, тебя возят по всему свету, захора-  
нивают в мавзолей, заштемпелевывают в марку, суесловят  
в речах.

Вот так.

И марка становится родиной героев: красивое лицо,  
не знающее, не ведающее о том, как красиво с ним раз-

делались,  
и трам-па-ра-рам,  
    трам-па-ра-рам,  
неувядающая слава, знамена по ветру, все —  
все свелось к всеохватному культу:  
миллионы языков лижут тебе шею с изнанки,  
миллионы штемпелей расплющивают тебе лицо.  
Почтовый ящик — Абель — туда его! — а завтра —  
он уже у адресата,  
а конверт — на помойку, вместе с этим  
лицом, с его неувядаемой славой,  
и Сан-Мартин — среди объедков лапши и комьев ман-  
ной каши.

## II

И вдруг он вспомнил. Ему было, наверное, три или четыре года, его укладывали спать в совершенно пустой комнате на широченном ложе, в изножье которого зияло огромное окно. Было лето, и окно распахнули настежь. Вспоминались мельчайшие подробности: просыпаясь, он видел белесое небо, словно вставленное в оконную раму вместо стекла, небо вязкое, грязноватое — рассвет. И тут пропел петух, словно разорвал застывший в тишине воздух. Ужас налетел на него, отвратительная машина страха. К нему прибежали, его утешали, взяли на руки...

— Боже мой.

Такси медленно выехало на улицу Леандро Алема. Здание Почтамта казалось декорацией, картинкой из книги по истории Малета. «Раненный во время восстания Ликург...»

— Поезжайте, пожалуйста, как можно медленнее, — попросила Клара. — Мы хотим посмотреть восход.

— Хорошо, сеньорита, — сказал шофер. — Славный будет денек.

— Как знать,— сказала Клара.— Воздух какой-то странный. Уже половина седьмого, должно бы развиднеться.

Она зевнула и откинулась головой на холодную кожаную спинку. Хуан сидел с закрытыми глазами.

— Петух,— пробормотал он.— Какой мерзавец.

— Ты о чем, дорогой?

— Да так, вспомнилось. Вначале было ку-ка-ре-ку.

— O vive lui, chaque fois  
que chante le coq gaulois \*.

— А ты заметил, репортер все время закидывал удочку, чтобы ты подарил ему свою капусту?

— И не на шутку...

— Не для того ты так к ней привязался,— сказала Клара,— чтобы он ее съел.

— Само собой. Мой кочан, и все тут.

Клара погладила его по волосам и уложила его голову себе на плечо.

— Вот теперь мне немножко захотелось спать,— сказала она.

— И мне тоже. Ну и ночка.

— Да уж,— сказала Клара, открывая глаза.

— Не шевелись,— попросил Хуан.— Мне хочется слышать запах твоих волос. Послушай, как надрывается поезд. Как тот мой петух.

— Ах, тот петух. И правда надрывается. Наверное, корова на путях,— догадалась Клара.— Обычная вещь — коровы на путях.

— В порту коровы не гуляют на свободе.

— Может, какая-нибудь забрела. Но поезд не задавит ее. Во-первых, поезд в порту двигаются очень медленно. А во-вторых, поезд надрывается из-за тумана, а не из-за коровы.

— Туман, туман. Репортер... Водитель, поезжайте вверх по Коррьентес. И тихо-тихо.

— Заметил,— сказала Клара,— что репортер углядел сразу два такси? Вот зрение!

— У него — в отличие от нас — сна не было ни в одном глазу,— сказал Хуан.— Не понимаю, как нам удалось

\* Слава тебе, галльский петух.

Твой крик нам услаждает слух (*франц.*).

прошататься всю ночь. А сколько времени на Майской площади простояли... Потрясающе, а потом еще этот китаец.

— Китаец да еще Абель, а уж когда женщина прицепилась к Андресу...

— Да, ведь еще женщина и Абель.

Он притронулся кончиком пальцев к ее губам, пощекотал нос. Клара куснула его, лизнула языком пальцы.

— Отдают сырой капустой,— сказала она.— Гляди, полицейские, вон там.

На углу Коррентес и Майпу двое полицейских и несколько прохожих разглядывали мостовую. Шофер притормозил, и они увидели, что кусок мостовой, длиною в два или три метра, провалился. Не очень глубоко, но вполне достаточно, чтобы машина сломала ось.

— А все — Муниципалитет,— сказал шофер.— В нашем квартале фонарный столб завалился. Сперва осел в землю на полметра, а потом завалился. Плохой цемент, Муниципалитет совсем не следит.

— Не думаю, что асфальт мог так провалиться под грузовиком,— сказала Клара сонным голосом.— Репортер нам все бы объяснил, все бы объяснил.

— Она хорошая,— занудел Хуан, не борясь больше со сном.— Она очень хорошая...

### И БЕЛЕЛО, БЕЛЕЛО ЛИЦО ПОД КРУГЛОЮ СИНЕЙ ШЛЯПОЙ

— Она пришла из Формосы, из Ковунко...

— Не надо,— попросила Клара.— Пожалуйста, не надо. Ведь это все, если разобраться, ужасно.

— Ужасно, как мой петух.

Клара свернулась в клубочек и прижалась к нему.

— Скажи, чтоб он ехал потише. Безумно хочется спать.

— А я,— сказал репортер,— думал.

— Возможно,— сказала Стелла, у которой по временам пробивалось чувство юмора.— Такое случается.

— И не считаю,— продолжал репортер,— что все, что вы говорили о литературе, верно.

— Попроси шофера, чтобы поехал по улице Кордова,—



пробормотал Андрес, которого считали спящим. — И оставь в покое литературу.

— Но я хочу сказать важную вещь, че. Сперва я принял вашу теорию о том, что мы не можем создать ничего из-за нашей вялости. А теперь я, пожалуй, не уверен, что причина в этом. Ответь мне, ты почему пишешь?

— Чтобы чем-то заняться, как и все, — сказал Андрес.

— Прекрасно, именно этого я и ждал. Ты не сказал «для развлечения», что потребовало бы некоторых разъяснений.

— Хочу добавить, — продолжал Андрес, — что чаще всего я испытываю в этом необходимость и поддаюсь. Испытываю некую напряженность, которая разряжается только на листе бумаги. Истинные писатели называют это «своей миссией», исходя из разумной мысли, что всякий заряженный арбалет предполагает наличие стрелы, а миссия стрелы — вылететь и вонзиться во что-то.

— Но эта необходимость, — забеспокоился репортер, — находится вне тебя? Назовем ее — нравственный императив —

пропедевтика, да хоть акушерство-гинекология, все равно главное, что это нечто обязывает тебя этически, так?

— Нет, старик, — сказал Андрес, открывая глаза. — Это мы все придумываем потом, как охотник разглагольствует о вреде, который наносят ферме лисы, и о целесообразности их уничтожения. По сути дела, писать — то же, что смеяться или заниматься любовью: даешь волю чувствам, и все.

— Согласен. Однако следует различать, скажем, «чистую» литературу, да простит мне Бог скверное выражение, и то, что пишется с достойными целями. Во втором случае — это более чем развлечение; как правило, тот, кто учит, не очень-то развлекается.

— По сути, это так, — сказал Андрес. — А если он учит по призванию, если в принципе он поступает так для того, чтобы выполнить свое предназначение, то, на мой взгляд, это тоже развлечение. Реализовываться значит развлекаться. Ты так не считаешь?

— Все-таки это очень тонкая материя, — сказал репортер,

пользуясь фразой из «Трех мушкетеров» в испанском переводе.

— Поэты, например, счастливы своими стихами, хотя более элегантным считается полагать обратное. Поэты прекрасно понимают, что их стихи — это их способ реализоваться, и смакуют их как могут. Не верь в рассказы, будто стихи пишутся слезами, если слезы и случаются, то они — в удовольствие, как у читателей. Настоящие слезы, слезы с хлористым натрием, льются наедине с собою или только для себя, а не для того чтобы разбавлять ими лирические чернила. Вспомни святого Августина, когда у него умер друг: «Я плакал не по нему, а по себе, я оплакивал то, что потерял». Поэтому элегии пишут много спустя, воссоздавая заново боль и испытывая счастливый восторг, подобный тому, какой испытываешь, слушая, как умирает Изольда, или присутствуя при бедах Гамлета.

— Принца Датского, — сказала Стелла.

— Конечно, это тонкая материя, как ты выразился. Я допускаю, что Вальехо мог плакать, когда писал свои последние страницы. Или, если хочешь, Мачадо. Но их боль была их человечностью, они были открыты для боли, подвластны боли. Поверь мне, репортер, их последние страницы, наверное, были лучшими моментами в их жизни, потому что воплощали их личную боль в гистрионизм высшего класса, что является необходимой составляющей поэзии. И страдания их в тот момент были под стать страданиям звезды или бури. Худшее начиналось потом, когда они закрывали тетрадь и предавались личной скорби. На этот раз страдали они сами, страдали, как страдают собаки, как люди, сломленные судьбой. И поэзия, точно сломанная игрушка, уже ничем не могла им помочь до нового озарения, до новых мгновений счастья.

— Наверное, так оно и есть, — сказал репортер. — А заодно объясни, пожалуйста, почему на меня всегда наводят тоску так называемые профессиональные писатели, которые представляются эдакими мучениками своей профессией. Почему мученики? Даже если они на самом деле страдают, когда творят, они должны были бы испытывать удовлетворение, как святые, поскольку страдания посылаются для

испытания, для укрепления духа.

— Когда я слышу, что писатель, сочиняя, безумно страдает, мне хочется послать его в задницу,— сказал Андрес.— У поэта только один девиз: в моих страданиях моя радость. Но вернемся к нашим, аргентинским, баранам: мы, старик, не страдаем так, чтобы творческая радость прорвала плотину и затопила все. Говоря о страдании, я имею в виду высокое чувство, то, что породило, например, поэзию Данте. А наша Аргентина сегодня — это крошечное преддверие, некое межсезонье, вялое существование между небытием прошлым и небытием будущим, как удачно заметил однажды Хуан.

— Значит, ты считаешь, что радостям обязательно должны предшествовать страдания? — испугался репортер.

— Необязательно, поскольку случайность для судьбы — не более чем эпидермис. Глупо утверждать, что тот, кто не плакал, не будет смеяться, ибо, по существу, в центральной лаборатории нет ни смеха, ни плача, ни боли, ни радости.

— Нет? — переспросил репортер.— Как это?

— Я говорю о поэте,— сказал Андрес.— Я подозреваю, что поэт — это такой человек, для которого в конечном счете боль не является реальностью. Англичане говорят, что поэты, страдая, обучаются тому, чему затем учат в своих песнях; однако эти страдания не воспринимаются поэтом как реальные, и доказательство тому то, что поэт обращает страдания в метафору, находит им иное применение. В этом весь ужас таких страданий: ты их переживаешь, зная, что они нереальны, что над поэтом они не властны, потому что поэт пропускает сквозь них, как сквозь призму, свои стихи, он лепит стихи из боли и к тому же испытывает удовольствие; так играешь с котенком и радуешься, хотя он царапает тебе руки. Страдания реальны лишь для тех, кто страдает по воле судьбы или случая, принимая их, допуская их в душу. По сути, поэт никогда не принимает боли; он страдает и одновременно является тем, другим, что смотрит на него, как он страдает, стоя в изножье его постели и думая, что за стенами дома сейчас солнечно.

— Я сойду на углу,— сказал репортер.— В общем, мне не удалось добраться, куда хотел. Я имею в виду тему

нашего разговора, а не свою квартиру. Во всем остальном я с тобой согласен. Вот здесь притормозите, у этой элегантной двери. Че, потрясающая была ночь. Особенно китаец...

— Бедный китаец! — сказала Стелла.

Они ехали по улице Кордова, по широкой ее части, где попадаются островки деревьев, и вдруг оказываешься на Анхель Гальардо, и открывается парк Сентенарио, где смутно пахнет утром первого дня творения. Стелла смотрела в окошко без внимания, отмечая только знакомые углы: вон аптечная вывеска, а вот плезиозавр, вывеска Музея, жилые дома, извилистые улочки парка, где робкие автомобилисты обучаются искусству вождения на древних распотрошенных колымагах.

— Славный будет денек.

Андрес как будто спал, ноги поджаты, затылок упирается в спинку сиденья. Он чуть улыбался и кивал на Стеллины слова, не вникая в их смысл.

«Какое чудо быть вместе, — думал он. — Встречаемся, и сразу возникает контакт. Просто шли рядом, иногда я брал ее под руку, а иногда мы спорили —

порою она бывала недоброй, или забывчивой,

или чуть-чуть, —

ну и что,

раз мы были рядом, вместе,

невыразимый миг, когда что-то отделяется от твоего «я» и говорит «ты». Говорит так, и так оно есть —

вот тут, есть, вот она, пресветлая —»

Обрывки образов, и не надо, чтобы они облекались в слова, слова разобщают. Лучше просто вспоминать, или просто —

быть там, быть все еще там и без слов возносить хвалы этому дару, этой безумной ночи —.

«А дню — нет, — подумал он. — Дню — нет». После всего, что было, невыносимо знать: во всем долгом дне не найдется мига, чтобы встретиться на улице, чтобы поговорить хотя бы немного и вместе пережить какой-нибудь образ. Сегодня ночью мы делили с ней хлеб —

и она налила мне стакан вина и сказала: «Хуан, Андрес

обиделся на меня» — и играла в ту Клару, будто верила, что эта Клара все еще может смотреть на меня, принимать мое присутствие. Но придет время —

воробьи прыгают и купаются в пыли,  
первозданное счастье,

каникулы, время, когда камень обращается птицей, —  
но дню — нет. Только она или я. И вдруг — телефон: это  
смерть. Да, случилось неожиданно. О любовь моя, моя  
любовь —

и тогда реванш взяло слово, лавина тропов, но это  
ужасно, ужасно не видеть ее больше и знать, что без-  
возвратно —

утро было совсем, совсем близко —  
и вдруг все рушится, все рушится —  
So sweet, so cold, so bare \*

— Остановите на углу. Выходим, милый. Ой, какой же ты  
сонный.

«Во всем свете нечем заплатить за истинность этих  
минут, — думал Андрес, ища бумажник. — Счастье возможно  
только потому, что человек способен забывать. Нет ничего  
ужаснее дара предвидения. Порхай, веселись, гуляй безза-  
ботно, вкушая свежесть ветра и сладость плодов. А я знаю,  
знаю, другое время грядет —

это медленное ленто, ужасное анданте,  
все это было раньше, до этой быстротечной лжи, этого  
настоящего времени, изъясительного наклонения —».

Он думал о Кларе. Перед сном (Стелла сварила кофе с  
молоком, а он долго купался в ванной, глядя сквозь при-  
открытое окно на улицу, на платаны) —

— был покой, и сон опутывал руки —

он снова увидел ее, ее суровость и горечь (для  
него, только для него и, быть может, еще для Хуана) пря-  
тались за вызывающим спокойствием: «Андрес, зачем так  
нервничать? Можно подумать, он нас съест». А репортер  
спросил: «Кто?» И Клара сказала: «Никто, Абель, один па-  
рень». Когда-нибудь — он уже спал, но мысль эта причинила

\* Так сладко, так прохладно, так пусто (англ.).

ему боль, — когда-нибудь, быть может: «Никто, Андрес, один парень».

А этот «никто» — субъект высказывания.

Стелла во сне постанывала, а потом положила ему руку на пояс. Андрес поддался сну, какая мягкая... Он уже шел рядом со Стеллой и не заметил, как его рука, отозвавшись на ее руку, легла ей на бедро.

С третьей попытки ключ застрял вообще. Хуан потихоньку выматерился. Хосе, сторож из уголовного дома, издали наблюдал за ними с удовольствием.

— Хосе! — крикнула Клара, потрясая пакетом. — Никакой опасности, что нас обворуют! И сами войти не можем!

Лицо Хосе, похожего на заспанного китайца, расплылось в смехе.

— Подумать только, — сказала Клара, — а мы такую замечательную капусту купили.

— Поосторожней с кочаном, — в ярости пробормотал Хуан. — Раскрошишь мне его в двух шагах от вазы.

— А ты собираешься ставить его в вазу?

— Разумеется, если мы, конечно, войдем в дом.

— Хосе, Хуан говорит, что, может быть, войдем в дом.

— Уже хорошо, сеньора, — сказал Хосе, испытывая невероятное удовольствие.

— Это не замок, — бормотал Хуан. — Язычок заклинило, как если бы дверь осела.

Но дверь неожиданно поддалась, и из подъезда пахнуло мыльными ночными испарениями. Хуан открыл дверь, навалившись всем телом, и они увидели, отчего она осела. Плитчатый пол немного просел с краю, и дверь вместе с ним. Клара удивленно вздохнула. Они махнули Хосе рукой на прощанье и пошли к лифту навстречу тугой волне прохлады. Не потребовалось много времени, чтобы понять: лифт застрял между этажами.

— Как бы в нем покойника не оказалось, — сказала Клара. — Обычное дело — покойник каким-то образом всегда останавливает лифт между этажами.

— Держи кочан, — сказал Хуан, еще в дверях взявший у Клары пакет. — Пойду посмотрю.

— Всего восемь этажей,— подбодрила его Клара,— а он, может, между пятым и шестым.

— Наверняка,— сказал Хуан, шагая через две ступеньки.— Чертова лестница.

Потом они заснули, но Клара и во сне продолжала ждать, когда спустится лифт с Хуаном. Дом огромный, и коридор (после улицы, где на другой стороне стоял Хосе, такой бдительный и такой бесполезный) казался еще более длинным и темным. Лифтная шахта терялась в темноте — нет, конечно, сейчас не белый день, не белый день там, где Хуан, без сомнения, уже возился с лифтом — (почему стоит сказать «без сомнения», как тотчас возникает самое что ни на есть серьезное сомнение? Конец главы: «И он нежно распрощался с супругой, которая, без сомнения, будет пребывать в полном здравии до его возвращения из поездки». Хороший читатель сразу: «Ба, сейчас начнется»)

#### А ХУАН ЗАДЕРЖИВАЛСЯ —

и капуста, этот тяжеловесный плод, этот белесый предмет, обернутый в свои зеленые одеяния, становился все тяжелее и тяжелее. Это от усталости, все на свете относительно — а может, потому, что вопреки ожиданиям задерживался лифт и все не шел, все не шел —

как темно в этой зарешеченной клетке фирмы «Отис» —  
**ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ЛЕСТНИЦЕ  
ВЛАДЕЛЕЦ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ**  
а Хуан между пятым и шестым

Sister Helen

Between Hell and Heaven \*,

но вот свет-огонек —

— свет указал пастухам путь —

спускается огонек, спускается —

фонарик на столбе, нет,

это лифт, ну, наконец-то лифт, наконец-то Хуан —

лифт в облаке света скользит вниз, наконец-то  
вниз,

\* Сестра Елена

Между раем и геенной (англ.).

и Абель хохочет,  
— только не смотреть на пол, только не смотреть  
на ноги Абея, потому что —  
там, на полу —

Хуан проснулся от крика. Клара вся дрожала и закрывала лицо руками. Он потормошил ее, Клара, всхлипнув во сне, расслабилась, затихла, и он решил, что лучше оставить ее в покое. Он стал гладить ее по волосам, и рука застыла на полдороге, сон сморил его. И почти сразу же стало сниться: дым пробивался из-под двери, и то было естественно — из-за провала в полу дверь осела, и у дверных петель образовалась довольно широкая щель. Дым сочился и в оконный проем. Проем-водоем-Ранкагуа-Писагуа — и девушка вдвоем —

— с малышом —

да это кочан (какая чушь, думал Хуан, поправляя на себе халат)

— дым может повредить Кларе —

— от дыма любая цветная капуста завянет. Но все не так страшно, потому что есть замечательный выход (он завязал пояс узлом и подтянулся, как завязанный боксер) — объявить —

### СОН ЛЖИВЫМ

— Вы ничего со мной не сделаете, — сказал он, целясь двумя пальцами в дым, клубившийся вокруг постели. — Поднимайся, Брунгильда. — Но Клара оставалась словно бездыханной, и у него защемило сердце; надо было искать другой способ.

— Лучше всего, чтобы меня разбудили, — нашелся Хуан и тут же проснулся. Он сидел на постели, прижимая руки к животу. В приоткрытое окно сочился туман.

Она этого не осознала, но ласка Хуана успокоила ее; все прошло, это был лишь страшный сон. На мгновение лицо, зубы Абея вновь промелькнули и исчезли. Все. Галерея отличалась благородной красотой, драпировки и столы как во дворце Питти \*, сверкают кусочки мрамора, тщательно по-

\* Старинный дворец во Флоренции.



добранные в мельчайшем, геометрически правильном рисунке. Она шла и разглядывала портреты своей сестры Тересы, все подписаны художником крупными, но неразборчивыми буквами; и в то же время чувствовала, что ее ведут за руку (однако не видела кто), и знала, что надо спускаться в подвал. Под хрупкой воздушной аркой она увидела Русского императора: бело-розовый человек, он и сам был аркой, и следовало пройти мимо него молча. Потом шли лестницы, лестницы, все сплошь в итальянском стиле, открытые, винтовые, скользить по ним вниз было бы удовольствием, если бы это делалось не по принуждению. По стенам вдоль винтовых лестниц висели картины, и на одной подпись художника была самой картиной, она шла через все полотно из нижнего левого угла в верхний правый, и на свободном месте едва помещалась зеленоватая рука, сжимавшая очки кончиками пальцев.

Словно звенела капель, слегка меняя тон: выше, выше, ниже, выше. Андрес был уверен, что это — сердце Мадам Ролан: он проснулся с чувством веселой уверенности. «Какой дурацкий сон», — подумал он, садясь на постели. Его опять разозлило, что он поддался обману, поверил, будто шум — не шум, а что-то другое. Всего минуту назад им владела радостная уверенность, уверенность человека, верящего в силу своей веры; и вот он уже стыдится этой своей радости, того, что наслаждался своей уверенностью. Он сидел в потемках, опершись затылком в изголовье постели, и слушал, как дышит Стелла. Потом нащупал стакан и с удовольствием выпил воды: «В стакане — вода? Кто может утверждать, что эта субстанция, оставленная в потемках, продолжает сохранять свою видимость?» И подумал: отчего ему снятся такие глупые сны, почему ему не снятся чудеса, о которых рассказывают другие? Жена одного его приятеля снилась себе мертвой, похороненной наподобие того, как это описано в «Необычайном приключении Дэвида Грея»; из хрустальной глубины она видела лица людей в слезах, склонившихся над ее могилой. Все совершалось в полном спокойствии, а ей хотелось закричать, что она есть, пусть не живая, не та, что раньше —

но она тут,  
и что она все видит —  
но устройство могилы не давало ей этого сделать. И она видела, как ее мать, вся в слезах, посадила розовый куст на ее могиле; из своей прозрачной глубины она видела все. А потом мать ушла, а куст остался; он рос, и корень его тоже рос вглубь и становился похожим на белую шпагу. Она почувствовала, как он дорос до нее и пронзил ей грудь.

Кончики пальцев сжимали очки. Оправа ветхая, будто изъеденная кость с зелеными и розовыми прожилками. Тихонько ступая на цыпочках, Клара перевела дух. Ее опять звали, она должна была спуститься в подвал. Смеясь, она вошла в столовую своего дома.

— Со мной такая чудесная штука приключилась, — сказала Клара, и мать подняла на нее глаза от вышивания.

— Я шла на работу, а Андрес поджидал меня, он хотел продать мне газету. На нем была форменная шапочка, как у разносчиков газет, а вид — свирепый.

— Странно, военные обычно совсем не такие, — сказала мать. Кларе не понравился ее тон, и она подошла поближе, чтобы заглянуть ей в глаза. Девочкой она всегда делала так. «Я хочу услышать твои глаза», — говорила она матери. И по глазам она узнала, что мать умрет, задолго до того, как у нее случился паралич. «Ох, этот стол, — подумала она с досадой, стараясь обойти стол, который, словно разлившаяся река, лег между нею и матерью, опять погружившейся в работу. — Почему она считает, что Андрес не может продать мне газету? Да еще не смотрит на меня, что-то скрывает...» Клара толкала стол животом, руками и шла — будто по песчаному берегу, по гладкой воде — по столешнице из каобы, в центре которой раскинулась плетеная салфетка.

На этот раз ему приятно было ощущать в ладони пояс халата. Стараясь не разбудить Клару, которая спала беспокойно, все время ворочалась и стонала, он подошел к окну и закрыл его. Туман пах жареными каштанами, хлором. «До чего густой, просто невероятно, — подумал Хуан. Он внюхивался в него с удивлением. — А может, репортер прав,

и это что-то совсем новое», — подумал он. Ткнувшись носом в оконное стекло, он увидел сквозь щели жалюзи дом напротив, улицу, мутный фонарь в огромном светящемся нимбе. Упершись лбом в теплое стекло, он полуспал, не сводя глаз с фонаря на углу. Детство на берегу Параны, сырое лето, парк Уркиса, речной откос, а внизу — стена для игры в пелоту — ручной мяч. Он играл в пелоту и пил чинчибиру, купался на острове, ослепленный солнцем и водяным простором, а после купания, умирая от голода, до отвала наедался бутербродами. Но был еще свет, тот, что вспомнился ему теперь, ночные фонари на углах: целый мир, миллионы насекомых в безумном стремительном коловороте вокруг фонаря вибрируют в унисон со слепящим биением и, ослепленные, ударяются, жужжат, бьются крылышками и отскакивают от горячего стекла. А по земле ползают жуки, а иногда мамборета разворачивала свой зеленый кошмар; да еще сороки, жуки-носороги, осы, а то и маленькая золотистая заблудившаяся планета — растерявшаяся пчела, неловкая, которую ничего не стоило сразу прихлопнуть рукой.

«Комары Успаллаты», — подумал он и, не проснувшись, вернулся в постель, на ходу роняя халат. Ему привиделся ясный свет в зените, горный ручей, листья кресса и тростники; он услышал далекое блеяние, крик пастуха. В пронизанном солнцем воздухе столбом вились комары, миллионы сверкающих точек. Воздушная сеть, нечто, угрожающее воплотиться в конкретную суть, геометрическая форма из живых кристаллов — комары! Они закручивались веретеном, живым веретеном, сами себе предел и содержимое этого прозрачного мира, повисшего в воздухе. Сидя неподалеку, он смотрел на это веретено, зависшее в пространстве так, словно это пространство было его владением, а дальше, выше оно двинуться не могло. Он никогда не мог поймать момент преращения танца и не знал, куда девались комары, когда рассыпался в жидком воздухе этот прозрачный призрак.

— Да, да, он хотел продать мне газеты. Почему я не могу подойти к тебе, мама?

— Потому что папа обидится.

— Ой, как смешно, — говорила Клара, увязая по пояс,

точно в болоте, в обеденном столе. А когда, удивившись, что ее сдерживают, оглянулась назад, то увидела, что она уже в центре стола, уже добралась до середины и держит ее, не пускает балерина, стоящая посреди стола в классической позе. «Андрес, Андрес», — подумала она. И голос ее прозвучал словно в пустой комнате, а мать продолжала вышивать, не поднимая глаз. «Андрес, давай послушаем фанфары». Надо было слушать фанфары вместе, потому что это было знаком примирения, встречи. И не важно, что мать произнесла ужасные слова: «Ей — фанфары, ему — контрапункт». Вот это было бы здорово. «А можно одни фанфары». Вдалеке отдалось —

фанфары ей а фары фары фары —  
фанфан тюльпан  
фан-кто фан-гог ван-гог c'est l'Ophan

«Надо быть полным дураком, — думал Андрес, раскачиваясь, пока не откинулся на спину. — Мадам Ролан! Гипноз, сколько глупостей совершается под твоей маркой». Он окончательно проснулся: усталость вдавливала голову в подушку, и он чувствовал, что уже не заснет. Он стал обдумывать план действия, необходимо было найти что-то, что бы отвлекло его от мысли, которая привязалась, точно муха. Жизненная насущность: перестать посещать Заведение, сойти с привычной колеи, завязать какие-нибудь дурацкие ниточки, которые бы держали его в этой жизни по методу контрудара. Не ходить больше в Заведение. Зачем ходить туда, Стелла обойдется там и без него. Выбрать ей Чтеца, и пусть ходит одна, получает образование. А между тем... «В том-то и дело, — подумал он. — В том-то и беда, что жизнь — это огромное «между тем». О одиночество! Дело не в том, чтобы остаться одному, а чтобы уметь отъединиться, находясь среди людей, достичь полного самопознания, и тогда все равно, где ты — на улице Флорида или на высокогорье Атакамы. Нет, ему никогда не познать себя, никогда; ходить в Заведение, подходить к Кларе, слушать голос Клары, жить со Стеллой означает отсрочку, промедление, которые делят всю жизнь и отодвигают на самый конец единственный долг, ко-

торый у него есть: to thine own self be true \*. Как я не знал этого раньше и ничего не сделал, чтобы знать?» «В моем действии — мое бездействие, — подумал он с горькой усмешкой. — Каждый день я решаю — ничего не решать». Он засыпал, улыбаясь. И в конце концов подумал, что проблем нет, что любая проблема — это всегда решение, повернувшееся к тебе спиной. Решиться, выбрать... эпифеномены; а другое, корень ветра, кроется в самой плоти вины. «Жаль, если проблема в этом; потому что проблема совсем в другом». Кто же это сказал? И, засмеявшись, он уснул.

А до того — до того, как сладкое видение о комарах наполнило его нежностью и грустью, — Хуан думал, чем может обернуться экзамен. Я начну с общего изложения основных положений метафизики Уайтхеда \*\*. Надо сказать, что структура знания, по Уайтхеду, имеет под собой сжатую солидную логическую основу Парменидова мира; и доказательство тому такое: едва наметив аналитическое видение вселенной, он показывает почти чудовищную взаимозависимость между любым живым существом и всеми остальными живыми существами, приобретающую характер игры, которая...

— А нельзя ли узнать, молодой человек, что означает слово «чудовищная»?

— Разумеется, профессор, можно. Уайтхед —

Уайт хед — белая голова —

Уайт хос — белая лошадь

О, sleep sweet embalmer of the night \*\*\*.

В своей комнатушке, совсем близко к звездам, спал репортер.

\* быть верным самому себе (англ.).

\*\* Альфред Норт Уайтхед (1861—1947) — английский философ и математик.

\*\*\* О сладкий благоуханный сон ночи (англ.).

### III

— Но правительство самым категорическим образом это опровергло,— сказал сеньор Фунес.

— Не верь категорическим категориям, папа,— сказала Клара.

— Ах, оставь свои неологизмы.

Хуан так присвистнул, что напугал Бебе Фунеса, гениально (если только гениальность означает терпение) вычищавшего мундштук с антиникотиновым фильтром.

— *Che gelida manina*,— пропел Хуан, подзадоривая Клару, которая серdito смотрела на отца.— *Andiamo in cucina, cara. No fame* \*.

— Подожди немножко. Вчера мы это видели своими глазами. И заявления правительства ни гроша не стоят.

— Ни гроша,— сказал Бебе, продувая мундштук и рассматривая его на свет.— Оптимистическая фразочка из тех времен, когда еще существовали гроши. А теперь, детка, довольствуйся одними правительственными заявлениями.

— Ты ее срезал, старик.— Хуан захлопал в ладоши.— Не совсем понял, что она имеет в виду, но ничего, все равно ты сказал вещь. А Клара совершенно права, сеньор тесть. Вчера мы это видели своими глазами, и никому не удастся опровергнуть того факта, что настоящий момент характеризуется массой диковинных предзнаменований, и еще более диковинно, что многие из них сбываются.

Клара улыбнулась.

— Может, у нас завелась чертовщина,— сказала она.— *Gilles et Domenique. Domenique et Gilles* \*\*.

— Кое-какие признаки,— пробормотал Хуан, разглядывая мундштук Бебе на свет; свет заливал стол, искрился в хрустальных бокалах.— А по сути — ничего.

— Некоторые просто ошатели,— сказал сеньор Фунес, всем своим видом давая понять, что лично он не имеет с оша-

\* Холодная ручонка... (итал.) — начало арии Рудольфа из оперы Пуччини «Богема». Далее слова Хуана: «Милая девчонка, сходи на кухню. Я голоден» (итал.).

\*\* Жиль и Доменика. Доменика и Жиль (франц.).

левшими ничего общего.— Такова психология масс, иррациональный страх. Как в отношении комет. Правительство правильно делает, что успокаивает население. Смешно было бы поддаваться таким глупостям. Помните, как с этим полио... как его?..

— Полиомиелитом,— сказал Бебе очень серьезно.

— Он самый. Точно так,— сказал сеньор Фунес, совершенно убежденный в собственной правоте.— Зачем сеять беспорядок, когда неясно, что на самом деле происходит.

— Итак, положение — лучше некуда,— сказал Хуан.— Однако давайте кушать, Клара. Скажи кухарке, чтобы пошевеливалась.

— Концерт в два часа,— сказал сеньор Фунес.

— Так рано?

— Это дневной концерт.

— А-а. Ну что ж, наверно, уже пора обедать, папа. Я скажу Ирме?

Но Ирма уже сама вошла с салатом, и все четверо живо уселись за стол и развернули салфетки. У Бебе все пальцы были в никотине, он недовольно понюхал их и пошел в ванную комнату. Хуан воспользовался случаем, пробормотал извинение и вышел вслед за ним. Бебе не спеша умывался и отфыркивался. Он не просто вымыл руки с мылом, но тер лицо и отдувался.

— Че, откуда взялся этот концерт?

— Я ничего не знаю,— сказал Бебе.— Лично я признаю только Пичуко или Брунелли да еще хорошую милонгу. И никакой классики, старик, никакой классики. Меня только один раз водили в театр «Колон» на оперу: какая-то пещера и все такое прочее. Так что оставьте меня в покое.

— Но что за концерт?

— А я откуда знаю? — сказал Бебе.— Идете-то вы.

Хуан вернулся в столовую. «Просто поразительно, придумать такое — засунуть нас в концерт именно сегодня,— думал он, поедая салат под майонезом с огромным аппетитом.— Конечно, я вчера согласился, но лучше бы поспать сегодня подольше, отдохнуть перед вечером». У Клары под глазами были круги, у рта залегла усталая складка, и говорила она тихим голосом. «Только бы не перепугалась,— думал

Хуан,— как в тот раз, на первом курсе —

— ну-ка, нет, это было на третьем, философия была на третьем курсе. Ее спросили, кто такой Гегель, и она ответила: друг Коперника». Он подавился вином, и вошедший в комнату Бебе стал хлопать его по спине. Хлопал по-настоящему, очень довольный.

— Он смеется сам с собой, будто сумасшедший,— сказала Клара, ласково проведя ладонью по его щеке и вытирая сбегавшую слезу.

— Позаимствую мысль у Честертона,— пробормотал Хуан, прокашливаясь,— но скажу тебе, что ни один сумасшедший не смеется сам с собой. Если мы имеем в виду то, что называется смехом, ты меня понимаешь. Только самым высокоорганизованным существам дано право абстрагироваться от собеседника и смеяться самому с собой; этот смех божественный, ибо он возникает сам собой и доставляет удовольствие себе. Своеобразная мастурбация гортани.

— Вчера вечером было нечто подобное,— пожаловалась Клара капризным тоном.— Назвал меня собачьей блохой, а потом сам пять минут надрылся от смеха. Бебе, как себя чувствует сеньора из восьмой квартиры?

— Я полагаю, лучше. Папа посылал вчера спросить.

— Умирает,— сказал сеньор Фунес.— Это от возраста. Она очень тебя любит, всегда про тебя спрашивает. Вообще все соседи всегда спрашивают меня о тебе.

По скатерти скользнула тень голубя. Ирма принесла жареное мясо и подала Кларе телефонный аппарат.

— Титина? Откуда ты узнала, что я у папы? А, ну конечно!

— Титина — это сарделька необъятных размеров,— сообщил Бебе Хуану.— Школьная подруга. Это — нечто. Занимается греблей и обожает наркотики.

— Так вот оно что,— сказал Хуан.— Вот для чего я пасу твою сестрицу — чтобы подцепить Титину. Верно, Клара?

— Враки,— сказала Клара, прикрывая трубку рукой.— Ну, конечно, Титина, когда хочешь. Я в восторге. А, это... Да, вчера было очень странно.

— Видишь, и она о том же,— сказал сеньор Фунес.— Представляю, сейчас половина Буэнос-Айреса звонит дру-



гой половине и пугает этой чушью. Говорят даже, будто в порту пароход затонул.

— Очень может быть,— сказал Бебе.— Во всех фильмах, где туман, всегда ревет пароход. Клара, чмокни ее от моего имени.

Но Клара уже повесила трубку и принялась за мясо.

— Пусти потихоньку радио, Бебе,— сказал сеньор Фунес.— Послушаем, что там сообщают. По-моему, солнце уходит.

— На самом деле того, что называется солнцем, и не было,— заявил Хуан, насмешливо поглядывая, как Бебе возится с радиоприемником.— Очень странно: при таком облачном небе — такой яркий свет. Заметили: по скатерти скользнула тень — пролетел голубь? Малую секунду, не больше.

— Да, тень была, значит, и солнце было,— сказал сеньор Фунес.— Найди Национальное радио, Бебе.

«Боится,— подумал Хуан.— Здорово боится мой сеньор теть». И сразу понял все про концерт: ему необходимо что-то делать, чтобы уйти от обложившего его со всех сторон —

— со всех сторон —

### А ДЕВУШКИ — НЕ КУКЛЫ ДЛЯ ЛЮБВИ

— Оставь это танго,— сказал сеньор Фунес.— А ты не хочешь, деточка, сыра и сладкого?

— Хочу, папа,— сказала Клара сонно.— Девушки — не куклы для любви. А для чего же они в таком случае?

— Для кукольной любви,— сказал Хуан.— Прелестно, кто первым угадал величие Делакруа?

— Третий билет,— сказала Клара.— Никто этого не знает, возможно, даже сам Делакруа. Следующий билет — Бодлер.

— Очень хорошо. А как называется знаменитая книга Тристана Корбьера \*?

— «Les Amours Jaunes» \*\*. А кто плохо отзывался об Эмиле Фаге в эссе, посвященном Бодлеру?

— Меналкас,— сказал Хуан и подмигнул.— А что ты думаешь о символизме?

\* Тристан Корбьер (1845—1875) — французский поэт.

\*\* «Желтая любовь» (франц.).

— Ввиду экзаменов о символизме я думаю то же самое, что и доктор Лефуматто.

— Ты сдашь, но ты чахнешь на глазах,— сказал Хуан.— Дон Карлос, я считаю, ваша дочь сдаст экзамен, если только в добром здравии добредет до конца.

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего, все в порядке,— сказал Хуан, немного застигнутый врасплох.— Никто не знает, удастся ли ему благополучно перебраться через Стикс седьмого билета. И потом, простите меня, но идти на концерт перед самым экзаменом...

— Неизвестно,— пробормотала Клара.— Может, даже к лучшему. Бесплезно учить и учить.— Зазвонил телефон, стоявший у самой Клариной тарелки, она дернулась и опрокинула стакан с водой.— Привет. Да. Ах, сеньора де Васто. Очень хорошо, сеньора.— Она знаком попросила Бебе сделать потише радио, из которого неслось звучное, во весь оркестр аллегро.— Мы все в порядке. Ах, какая беда. Ах, уже лучше? Ну, конечно, в это время года... Нет, а почему?

— Ну вот,— сказал сеньор Фунес.— Еще одна распускает слухи.

«Здорово боится,— подумал Хуан почти с завистью.— Ложа в концерте. Нашел способ физически запереть себя в ящик на три часа. Ложа — замечательное убежище, улитка несчастная. Старик, я в долгу перед тобой».

За обедом и за ужином вы получите полное удовольствие,

если

бшил Сплэнд

and they swam and they swam all  
over the dam \*

бботу Уго дель Карр

вет безопасности Организации Объединенных Наций, который собрался в

— Жаль,— сказал сеньор Фунес.— «Аргентинские новости» уже прошли. Теперь ждать до следующего выпуска.

— Желаю всем поправиться,— закончила Клара, которая говорила по телефону с закрытыми глазами, как, впрочем, и следует разговаривать по телефону. Она повесила

\* Плыли и плыли вперед  
по глади вод (англ.).

трубку и оглядела свою ладонь.— Какая влажность. Ко всему прилипаешь.

«Рейсинг» \* открыл ему золотые двери, чтобы он взлетел высоко. «Уракан» дал ему всю ширь неба, чтобы он достиг высот, где парят кондоры. И Усал с совершенным чутьем профессионального игрока целиком отдался игре в новой лиге. И таким мы его видим сегодня, великолепным, прихотливым в своих летучих пробежках, умным и энергичным, готовым в любой момент обуздать любые замыслы буэнос-айресских игроков».

— Выключи радио, Бебе,— сказал сеньор Фунес,— и иди есть салат с майонезом. Ирма, в шесть спуститесь и купите газеты, даже если я еще не вернусь.

— Хорошо, сеньор,— сказала Ирма.— Купить все три?

— Все три. Давай тарелку, Клара.

— Немножко, папа. Папа... ложка на четверых?

— Да. Давай тарелку, Хуан. Ты хочешь кого-нибудь пригласить?

— Репортера,— сказал Хуан.— Заметано: пригласим репортера. Смотрите!

Но тень на этот раз оказалась такой бледной и мелькнула по скатерти так быстро, что все увидели лишь палец Хуана, смешно тыкавший в ничто.

— Хорошо,— сказала Клара осторожно.— Пригласим репортера.

— У тебя был другой кандидат?

— Я никого не имела в виду.— Она протянула ему телефонный аппарат. Ирма вошла за блюдом из-под салата и положила письмо возле свободной руки Хуана, который засмеялся, услышав заспанный голос репортера. Клара взглянула на конверт, потом на Бебе и снова — на конверт. Почерк крупный, неровный. Резким движением она вскрыла конверт.

— Слушай, старик, оставь свои штучки,— говорил Хуан.— Мы и без того знаем, что газета высасывает твою спинномозговую жидкость, но сколько можно. Когда у тебя будет хотя бы один свободный день?

— Целую ночь вчера шатались, и тебе все мало? — говорил репортер простуженным голосом.

\* Аргентинский футбольный клуб.

- Пошли с нами. Ложа, не баран начхал.
- Не могу. Что ты пристал ко мне со своей ложей. Не похоже это на тебя. Зачем вам это?
- Откуда я знаю? — сказал Хуан.— Экзамен на носу, неплохо развлечься немного. Так ты не идешь?
- Нет. В редакции все как с ума посходили. Чуть не отстранили меня от работы из-за того, что вчера я не звонил им каждый час, уверяют, что мне так было приказано.
- А что оказалось?
- Ничего особенного, грибы,— сказал репортер.— Происходит чепуха. Анализ тумана еще нет, но полиция уже дала два сообщения, и какая-то старуха страшный скандал закатила на углу Диагонали и Суипачи с полчаса назад. Словом, дорогой, истерия ширится.
- Другими словами, у тебя свои развлечения,— пробормотал Хуан.— Я понял, ты не идешь.
- Рад, что ты понял,— сказал репортер.— Вчера ночью, чтобы заснуть, я читал твои стихи. Чао.
- Хуан, смеясь, положил трубку. Он почувствовал руку Клары в своем кармане, почувствовал шуршание бумаги.
- Не читай сейчас,— сказала Клара, глядя в тарелку.— Нет, папа, я не хочу больше мяса. Положи Бебе, он худой.

Хуан повернул ключ в замке, опустил крышку унитаза, закурил сигарету и, устроившись поудобнее, взялся за письмо. Сквозь матовое оконное стекло сочился отсвет густых желтоватых клочьев тумана; с другого этажа по радио доносился голос Тоти дель Монте, всюю дававшего петуха. В столовой сеньор Фунес, ожидая сводки новостей, опять шарил по шкале радиоприемника с помощью Бебе. Он хотел было позвонить в редакцию «Ла Пренса», обратиться к последнему источнику прорицаний за консультацией *in extremis* \*, но устыдился.

Клара попросила позволения уйти на минуту, взяла телефонный аппарат и пошла в комнату, принадлежавшую раньше матери, где теперь Бебе пришил на стены снимки девиц. Она подумала, что Хуан сейчас читает письмо Абе-ля, она была уверена, что Хуан читает его в ванной комна-

\* В крайних обстоятельствах (лат.).

те, в этом укромном месте, где выкуривается первая сигарета и в первый раз со стоном обнимают бесплотный призрак. Она набрала номер Андреса.

— Тень богов,— сказал голос Андреса.— Привет.

— Очень мило,— поздравила его Клара.— Прекрасно. У тебя большой набор или ты всегда повторяешь одно и то же?

— Дело в том, что я дверью прищемил палец,— сказал Андрес немного смущенный.— Чему я обязан столь высокой честью?

— Если, конечно, ты меня услышишь,— сказала Клара.— Такое впечатление, что в комнате на пальме верещит сорока. Прелестная.

— Телефон существует для больших шумов, другими словами, для пустяков.

— Вот именно ради них я тебе и звоню,— сказала Клара. «Почему все по-настоящему важное мне всегда приходится говорить по телефону»,— думала она, между тем как на другом конце провода наступило долгое молчание.

— Я не это хотел сказать,— проговорил наконец Андрес.

— Я и не думаю, что ты хотел. Но так оно и есть. Правда, мы с тобой почти никогда не разговариваем.

— Но зато, куда бы ни пошли, встречаемся.

— Да, это так.

— А сейчас хорошо, что ты позвонила,— сказал Андрес, и Клара отметила уловку — как он избежал слова «мне», скромность паче гордости. «Я должна ему сказать об этом,— подумала она и почувствовала странную боль в висках у корней волос.— Вот так жгутся нимбы у святых». Она услышала, как Андрес, отстранившись от трубки, кашляет.

— Жарко,— услышала она.— Тебе удалось поспать?

— Кое-как,— сказала Клара, испытывая странное желание заплакать, как будто он сказал ей что-то крайне необычное.— А вам?

— Более-менее.

— Из-за жары.

— Да, наверное.

— Послушай,— сказала Клара, мысленно представляя себе Хуана с письмом в руке, его лицо.— У папы ложа на

концерт какого-то там Хаиме. Мы идем втроем, хочешь пойти с нами? Выходим через десять минут.

Молчание донесло до нее явные колебания Андреса.

— Тени богов,— сказала Клара, ничуть не собираясь на-смешничать, а скорее чтобы поддержать его. «Нет, не смогу сказать ему по телефону,— подумала она.— Скажу там, улучу минутку в аванложе. Но зачем, раз уж...»

— Знаешь, Кларита, большое спасибо,— сказал Андрес.

— Понятно. Если не хочется идти, не надо.

— Спасибо. Я думаю, лучше без экивоков. Честно говоря, я сегодня не настроен на музыку.

«Значит, надо сказать ему сейчас»,— подумала Клара. Она услышала, как сеньор Фунес в гостиной стучит палкой в пол, созывая всех к столу.

— Знаешь, я бы хотела поговорить с тобой.

— Сегодня вечером я собирался на Факультет.

— А, ну тогда... А зачем тебе на Факультет? — закричала она истерично.— Тебе нравится наблюдать за казнью? Прости.

— Да, я понимаю. Жара,— сказал Андрес странным клоунским тоном.

— До свидания. Прости меня.

— До свидания.

Когда Хуан вошел, она сказала:

— Я звонила Андресу, не хочет ли он пойти в концерт.

— Его подцепить трудно.

— Да, он не захотел. Жаль.

— Да, жаль,— сказал Хуан, глядя на нее.— Полагаю, ты хотела поговорить с ним об этом.

— Да. Он должен быть в курсе. Ты знаешь, как он нас любит.

— Твой отец тоже нас очень любит, но ему мы не расскажем ни о чем.

— Это совсем другое дело,— сказала Клара, не глядя на него.— Впрочем, все не так страшно. Надо только не обращать внимания. Мы же не собираемся доносить на него, ничего подобного.

Хуан сел на край постели Бебе. Палка сеньора Фунеса

стучала в передней, вот он, разъяренный, вошел в комнату. Два удара. Еще один. Мольер, да и только.

— Какого черта вы тут делаете?

— Телефон,— сказала Клара, кивая на телефон, словно он был живым существом.

— Пойдемте в столовую,— сказал сеньор Фунес.— Вы что, забыли о десерте?

— Нет, конечно, но зачем спешить, папа?

— Уже половина второго,— сказал он.— Чем раньше выйдем, тем лучше.

Ну что ж, пойдем в концерт, хуже просто ждать, курить, ходить из угла в угол. Проходя мимо зеркала, Хуан увидел свое мокрое, все в поту лицо. За окном мальчишка повторял: «Вот увидишь, увидишь, увидишь, увидишь, вот!»

Клара доедала десерт, Бебе вырезал из «Лайфа» женскую фигурку; сыр на тарелке у Хуана распластался желтой резиной.

— Сливков двойную порцию,— сказал он Бебе.— Экзаменующимся очень полезно.

— Возьми те, что из холодильника,— сказал сеньор Фунес.

— Ты доволен холодильником? — рассеянно спросила Клара, не отрываясь от еды.

— О, замечательный. Девять кубических футов, чудесный.

— Такой огромный,— сказал Бебе.— Так и хочется залезть в него.

Хуан слушал, думая о своем. Принесли желе, и он поел еще немного, однако слова репортера не давали ему покоя, что-то насчет грибов. Бедный репортер.

— Шестифутовые никуда не годятся,— говорил отец сыну.

— Очень маленькие,— сказал Бебе.— Кладешь кочан капусты, одну морковку, и все — больше ничего не влазит.

— А кроме того, в этом сухой лед.

Клара ела желе, прикрыв глаза и подперев голову рукою.

— А есть четырехфутовые на керосине. Кошмарные.

— Какая пакость. Только не говори, что при помощи керосина можно делать холод.

Хуан вздохнул и поднялся, чтобы отсечь подальше, на софу, бывшую излюбленным местом его тещи. И принялся грустно писать, забыв и об Абеле, и об экзамене. И когда Клара села рядом, протянул ей бумагу. Клара увидела, что стихи написаны на конверте от письма, разъятого по швам и принявшего форму креста. А в углу дурацкий рисунок — холодильник, нарисованный рукою Хуана.

— Восшествие на трон,— прочитала Клара вслух.

Вот она, ее принесли, поглядите: о

белоснежный

сахар, о

дарохранительница!

Денек был славный, и мама пошла за цветами,

а сестры вздыхали, сраженные.

Все — в ожидании, в предчувствии радости и вот —

Аллилуйя!

Размягченные сердца, сплошь стеклянная башня,

мозаика, инкрустация!

(Отец хранит молчание, поддерживает тишину

скрещенными руками: он

созерцает.

И мы были там. Мы отважились,

еле-еле —)

Вот она, ее принесли, белоснежную дарохранительницу.

И пока она с нами — мы живы.

Мы живы, покуда ей это по нраву.

Осанна, Вестингхауз \*, осанна, осанна.

— Ты сумасшедший,— сказал Бебе.

— Под конец ничего не понятно, как всегда,— сказал сеньор Фунес.— Мясо есть больше не будете? — Он позвал Ирму, чтобы она принесла приборы, вытертые как следует, но Ирма сказала, что это воздух такой влажный, она принимала близко к сердцу все замечания. Она поблагодарила

\* Филиал американской компании в Англии, выпускает электрооборудование.



Бебе, который удачно заступился за нее, и тщательно вытерла мелкую тарелку, чтобы сеньор Фунес положил себе еще мяса.

— Жестокие стихи,— шепнула Клара, прислоняясь к Хуану.— Все, что ты пишешь в последнее время, кажется мне жестоким.

— Совершенно верно. А причина — злость.

— Бедные мы бедные,— сказала Клара словно сквозь сон.— Нам еще столько идти, а мы уже так устали.

— Сколько идти и как устали — не одно и то же. Если бы можно было разделить эти понятия.

И очень тихо (что выводило из себя сеньора Фунеса) продолжал:

— Мне нужна поэзия обличения, понимаешь? Не социальноподобная чушь, не заочный курс по изучению действительности. Меня не волнуют факты, я обличаю то, что им предшествует, а именно: то, что есть ты, я и все вокруг. Как ты думаешь, может получиться поэзия из такого разрушенного, внушающего такое бешенство материала?

— Послушай сводку новостей, в антракте я позвоню тебе из театра.

— Хорошо, папа.

— Не знаю,— сказала Клара.— Так необычно, что поэзия — не дитя света.

— Но такое может быть, дорогая,— прошептал Хуан.— Поэзия сама отыскивает свою истинную родину. Сама знает, где песнь невозможна, и сама развязывает битву за то, чтобы сбросить путы.

— Будь внимателен к любой мелочи. Нет ничего хуже паники.

— Разумеется, старик.

— Не знаю,— потерянно шептал Хуан.— Я готов был бы плакать всю ночь напролет, лишь бы, проснувшись, найти истину. Я шатаюсь по дому, я сплю у дороги.

— Я — крупинка истины,— сказала Клара.— Как глупо звучит — истина,— тебе не кажется? Дешевые радиопьесы прикончили нежность.

— Мои ключи!

— Ирма, ключи — сеньору!

— Шагом марш,— прошептал Хуан, поднимаясь.— Пошли, старуха. Ты как?

— Ужасно. Я хорошо сдам экзамен, по-моему, я буду вся светиться.

— Гегель — друг Коперника?

— Смейся, смейся надо мной.

Но Хуан не смеялся. «Ну, вот,— подумал он.— Улица, осталось несколько часов. Что за идиот, вздумал угрожать ей. Тоже мне аноним выискался, дурак, его куриный почерк нам известен уже тысячу лет». Ему стало почти жаль Абея, но все равно, надо было что-то делать, остановить это наступление на них: сперва лицо —

**БЕЛЕЛО**

под круглою синей шляпой,

а потом — письмо, первое прямое действие. Теперь уже мало было не обращать на него внимания. «Вот сдадим экзамен,— подумал Хуан, встряхиваясь, точно мокрый пес,— и пойду его искать». Как всегда, придумав план, он почувствовал удовлетворение, мысли пришли в порядок. *How to stop worrying and start living\**, двадцать песо, звон. по тел.

#### IV

Превосходно заметил Сесар Бруто: после того, как принялись сносить здания, Буэнос-Айрес перестал быть тем, чем был раньше. *Non sum qualis eram bonae sub regno Cynae\*\**.

И когда такси выехало на проспект 9 Июля, сеньор Фунес вдруг застыл, увидя фасад театра «Колон», на ко-

\* Как перестать волноваться и начать жить (англ.).

\*\* Уж не тот я, каким был при Цинаре моей (лат.). (Из Горация.  
Перевод Г. Церетели.)

тором власти недавно пристроили навес pour faire pendant\*.

— Но ведь здесь, перед театром, было кафе,— сказал сеньор Фунес.

— Было,— согласилась Клара.

— Кафе, где собирались музыканты.

— Угу.

— Поразительно,— сказал сеньор Фунес.— Как изменилось все за такое короткое время.

Он глядел в глубь проспекта, машины двигались беспорядочно, перспектива заслонялась клочьями тумана. При повороте на Тукуман такси занесло, и на мгновение Клара почувствовала, что соскальзывает в дурноту.

— Когда умираешь, наверное, похоже на это,— сказала она Хуану.— Вроде перемены движения. Машина едет равномерно, но вот ее заносит, и качество движения меняется: становится нереальным, словно машина не касается земли.

— Касается, но колеса не крутятся.

— Именно это. Умиравший похож на такое колесо: замирает и вступает в новое движение — покоя. Папа, пять семьдесят.

— Ну что ты, глупышка,— сказал Хуан, доставая бумажник.— Все в порядке, дон Карлос.

— Меня огорчает, что снесли кафе,— сказал сеньор Фунес.— И театр так странно выглядит с обнаженной стеной...

«Непристойно,— подумал Хуан.— Если обнажить некоторые фасады, получится просто порнография». И тут же задал себе вопрос: этот тип на ступенях не —

— ну, конечно, он.

— По правде говоря, я пришел по долгу службы,— сказал репортер, немного смущенный.

— Просто замечательно!

— Да нет, что такого. Работы у нас...— И он приветствовал сеньора Фунеса, с которым не был знаком, одновременно подмигнув Кларе.— Знаешь, ложа — это воодушевляет, че. Я театр «Колон» знаю, как говяжьё тушу, от рогов до хвоста, кроме вырезки. Славная штука.

\* Для симметрии (франц.).

— Ах ты, скототорговец,— сказала Клара, разглядывая публику в фойе — белые лики, серые лица, личины, облики, образины,— бросая быстрый, оценивающий взгляд на декольте, и сумочки (потому что ей нравились красивые сумки), и на лампы, и на хромого господина, который невообразимо медленно поднимался по лестнице, с той нереальной плавностью, какую придавали скрадывавшие звуки ковры, и слушая квохтанье сбивавшихся в группки людей, уже двинувшихся вверх по лестнице, чтобы заполнить заготовленные для них футляры; и вдруг в первый раз — пронзительно, со страхом — вспомнила: экзамен.

Она стиснула руку Хуана и прижалась к нему глупо, всем телом. Слышала, как репортер объяснял сеньору Фунесу, что в газете получены две дополнительные сводки и следующая поступит в четыре часа.

— Газета хочет зондировать настроение самых различных слоев населения —

(смешно было слышать, как репортер повторяет редакционную тарабарщину)

— и, принимая во внимание мой культурный уровень, мне поручили наблюдать за атмосферой на этом концерте.

— За этим тебе следовало бы отправиться в раек,— сказал Хуан.

— Ты прекрасно знаешь, что все сведения о рае всегда изготавливаются на земле. Славная шутка.

— Твоя газета и ее опросы представляются мне довольно дурацкими,— сказал Хуан.

— А как иначе: люди уже не довольствуются тем, что события происходят, они происходят для них лишь в тот момент, когда они читают про это на пятой или шестой странице.

— Вы полагаете, что имеет место паника? — спросил сеньор Фунес, полагавший именно так.

— Ну, знаете, паника — слишком громкое слово. Имеет место некоторая необычность, и все готовы верить любым выдумкам, вот почему правительственные сообщения пользуются фантастическим успехом.

— The yellow press meets the yellow ninety-nine \*,— пошутил Хуан.— Внимание, звонок.

Ложа помещалась на правой стороне. Над ложами бедуара, уже заполненными публикой, стоял торопливый гул, словно все старались расхватать новости до того, как погасят свет. Сидящая перед Хуаном Клара слышала, как отец нетерпеливо расспрашивал репортера, который, похоже, вовсе не был расположен рассуждать о своей работе и последних новостях.

— Следует соблюдать сдержанность,— говорил он.— К чему швыряться гипотезами, если анализы и экспертизы их опровергнут.

— Анализы? — переспросил сеньор Фунес.

— Ну конечно. Газета делает анализы, исследует туман. Результаты пока неизвестны.

— Исследует туман!

— Да, сеньор, исследует туман.

Хуан погладил Клару по волосам, очень красивые волосы.

— Хочешь, покажу истинную драгоценность великих ночей?

— Хочу,— сказала она, словно вдруг вспомнив.— Скорее, пока не погасла.

Хуан снял очки и аккуратно установил их на уровне груди. Клара наклонилась и увидела в стекле отражение: огромная люстра, уменьшенная до размеров золотой монеты, сверкала, словно желтыми глазами, мозаикой крошечных огней.

— Бальзаковские глаза,— сказал Хуан.— Золотая пыль, помнишь? Не знаю, кто это сказал.

— И глаза персонажа Фелисберто Эрнандеса,— сказала Клара,— кажется, он был капельдинером, тот, чьи глаза излучали свет.

— A dreadful trade \*\*, друг мой. Смотри, смотри, гаснет.

Глаза меркли, не закрывшись, и на месте света возникли своды зала, розовый диск, в котором зрачки, теперь уже потемневшие, казалось, смотрели вовнутрь себя, словно

\* Желтая пресса находит желтое большинство (англ.)

\*\* Ужасное ремесло (англ.)

глаза обезумевших бодхисатв \*. Хуан наслаждался синхронным угасанием света и перешептываний. «Гаснут голоса, — подумал он, — и уместно сказать: смолкают огни. Однако в этом зале присутствует страх». Наверху кашляли, сухо, неприятно. «А скоро начнут задыхаться от жары, уже и сейчас нехорошо. Лишь бы туман не просачивался —»

— Кто играет, че? — спросил репортер. — Хорошо бы сыграли что-нибудь Бородина.

— Какой прогресс, с тех пор как мы ловили тебя с Эриком Коатсом, — сказал Хуан. — Вот он, мудрый и древний, как Гомер, и, как он, — с посохом и поводырем.

— Уникальный случай приверженности искусству, — сказал сеньор Фунес.

Слепого вели двое служащих в ливреях и париках. Музыкант сжимал в руках скрипку и продвигался по сцене коротенькими шажками, походившими на балетные па. Акомпаниатор, плотный мужчина, шел позади, он сразу направился к роялю и принялся разбирать ноты, а музыкант остановился в определенном месте (должно быть, на полу мелем была проведена черта, чтобы служащие не ошиблись) и приветствовал публику: кланялся с серьезным видом, затем встряхивал головой, словно принохиваясь к воздуху, довольный, что служащие, похоже, ушли и оставили его наедине с залом.

— Что за фигня, — сказал репортер, аплодируя. — Я думал, что будет пианист.

— Смотри-ка. И ты тоже? — разозлился Хуан.

— Скрипка — благородный инструмент, — сказал сеньор Фунес.

«Говорит, как Андрес в худшие свои минуты, — подумал репортер. — Сейчас скажет, что этот инструмент более всех других похож на человеческий голос». Из соседней ложи донесся шепот: «...цензура. Но цензурой дела не поправишь». Кто-то настойчиво продолжал хлопать; с галерки на него зашикали. Наступила глубокая тишина, скрипка поднялась к подбородку артиста, и послышались звуки — словно билась и жужжала насекомые, это скрипач, чуть наклонившись к пианисту, настраивал инструмент. «Великий деревян-

\* В буддизме Махаяны — праведник, святой подвижник.

ный сверчок,— подумал Хуан.— Твердое, непреклонное существо, ключ ко всем песням». Он поискал руку Клары, влажные ладони столкнулись, но неприятное ощущение не поднялось выше запястья.

Аккомпаниатор встал и застыл, всей своей позой взывая к тишине.

— Маэстро,— произнес он с сильным балканским акцентом,— должен будет отдыхать между частями «Крейцеровой сонаты», поскольку его хрупкое здоровье —

Наверху уже аплодировали, и конец фразы остался неслышанным.

— Какого черта они хлопают? — сказал репортер на ухо Хуану.

— Потому что для этого рождены,— сказал Хуан.— Одни что-то делают, а другие им хлопают, и это называется музыкальной культурой.

— Не строй из себя чистопробного Зоила,— сказала Клара.— Хватит злиться на людей.

— Тихо,— приказал сеньор Фунес, явно взволнованный. И звучно высморкался, заглушив для всех сидящих рядом начало сонаты. Клара сидела с закрытыми глазами, и Хуан хотел было мстительно заметить ей, что сама она — чистопробный Джорджоне, но музыка победила. Он собирался подумать о чем-нибудь, укрепиться в своем скором гневе на истерические бараньи аплодисменты; а вместо этого погрузился в ритмы, в звучание скрипки, немного сухое и как бы ученическое. Сквозь полуприкрытые веки худенькая фигурка слепого артиста казалась ему просто заштрихованным силуэтом, куклой с резкими движениями и белыми волосами, раздуваемыми невесть откуда взявшимся ветром. Что-то было в нем от козла отпущения, напоминало путь на Голгофу, из его рук исходили все грехи мира; бесполезно прекрасная, злокозненная песнь. И рождалась она в мире мрака, как все голоса, что имеют значение, и падала в зал ложно темный, а на самом деле наполненный скрытыми отблесками, спрятанными лампочками запасных выходов, переливом драгоценностей, перешептыванием. Сверчок заливался, и театральный зал делал вид, что безотрывно внимает (вниманием, настоящим на праздности, на люб-

ви, на желании убежать и не видеть жизни вокруг) его языку, его смехотворно-гневному диалогу с разверстым роялем, смене голосов, сшибке тем, фугам, языку, всей раздраженной разнородной материи, сплавленной воедино кузнецом из Бонна. «Слепец играет глухому, — подумал Хуан. — Пусть потом говорят об аллегориях». Аплодисменты хлынули как песчаный ливень, и свет вспыхнул почти одновременно с последним аккордом.

— Какая чушь, — сказала Клара. — Я понимаю, он очень старый, но делать перерывы между частями — разбивать целое.

— Сейчас посадят его в угол и станут обмахивать полотенцами, — сказал репортер, глядя, как служащие в париках и ливреях уводят артиста. Аккомпаниатор остался на своем месте, но поскольку публика продолжала хлопать, стал раскланиваться, сперва из-за рояля, а потом поднявшись на ноги и даже выступив вперед, на авансцену.

— Рождается от нечестивого имени Иеговы, — сказал Хуан, глядя на рыжуху в бенуаре, красившую губы.

— Тебе скучно, — сказала Клара.

— Скучно.

— Но дома было бы так же.

— Если не хуже. Самая мерзкая форма скуки та, что застает тебя в пижаме. Тогда нет спасения. Репортер, покурим?

Они пошли по кругу, разговаривая и заодно поглядывая на женщин. Группки людей в фойе и в зеркальном салоне более чем обычно были заняты разговором; и говорили они не о концерте.

— Проверь свои наблюдения на практике, — предложил Хуан. — Я тебе помогу, например, скажу вон той сеньоре, что минуту назад упала Английская башня. А ты иди на галерку и считай, за какое время новость долетит туда.

— Перестань, дело серьезное, — говорил репортер, кося глазом на совсем молоденьких девушек. — Отсюда я должен идти в город, не знаю только куда — в Ла-Боку или в Матадерос, там народ пьющий и рот на замке не держит.



Плохо только, что вчерашняя усталость не прошла, работка меня ожидает та еще...

— Почему ты не уйдешь из газеты?

— Потому что не нахожу ничего лучше.

— Все что угодно лучше, чем газета.

— Не скажи,— ответил репортер, глядя в пол.— Иной раз пошлют на концерт, а то, глядишь, в числе немногих тебе посчастливится увидеть труп вдовы. По-твоему, имеет место паника?

— Нет,— сказал Хуан, оглядываясь вокруг и обнаружив вдруг в зеркале себя, худого и непричесанного.— Просто римляне наблюдают нашествие варваров, с одной лишь разницей: пришельцев не видно. Заметь, наука, показав, что самые страшные смерти невидимы, излечила нас от многих физических страхов. Вполне можно представить нашего современника, который дрожит перед букетом цветов от метафизического страха, от того, что есть в прекрасном, этой первой ступени прекрасного,—

и он же почти не огорчается, когда какая-нибудь «летающая крепость» вываливает ему на голову мелинит.

— Как ты отстал,— сказал репортер.— Мелинит. «Летающая крепость». Фу!

— Спасибо, что оставляешь мне букет цветов,— сказал Хуан. И они вернулись в ложу, а между тем артист, на этот раз вышедший на сцену самостоятельно, начал ленто, не дождавшись, пока погасят свет. Хуан принес Кларе мятные пастилки — та кротко осталась в антракте сидеть с отцом, который все чаще поглядывал на часы.

— Когда пойдем?

— Сразу отсюда,— сказал Хуан.— А кофе с молоком выпьем в баре на Виамонте.

— Начнется поздно, как всегда.

— Да, ничего страшного.

— И поговорим с Андресом,— сказала Клара.— Он обещал прийти.

Луч фонарика скользнул по полу ложи. Хуан почувствовал, что ему протягивают бумажку. Они слышали, как капельдинер, выходя, наткнулся на стену. Кто-то шикнул. Клара прижалась ртом к бархату перил и вдохнула глубоко-

ко; музыка ранила, и в то же время была в ней какая-то простоватость и скука, от которых веяло консерваторским учебником. Плодородная долина Нила давала египтянам обильные урожаи зерна, а разливы и спады полноводной реки —

программа на четверг:

три концерта для фортепиано с оркестром, ложа — восемнадцать песо —

«...прямо домой», — донеслось из соседней ложи. Дело шло к концу, и когда, словно жир на огне, затрещали первые аплодисменты, слепой угрожающе вскинул вверх смычок и набросился на аллегро. Похоже, что и пианист поддался волнению, во всяком случае теперь оба играли очень хорошо. В зале возникли те самые флюиды, которые позже уступят место слову «успех»; в публике почти не кашляли. Когда соната отзвучала, в ложах многие вскочили на ноги, а с галерки неся рев и визг, словно работали сверло и рубанок. Сеньор Фунес хлопал за четверых, и даже Клара расстрогалась, и слепота артиста вдруг представилась неким близким ей качеством, словно она была ее слепотой, приметой того звучащего мира, где слепец, эта милая певчая мумия, передвигался коротенькими прыжками вместе со своим сверчком, своим лакированным гробиком, — и прорицал. Артист кончил кланяться, на этот раз служащие в париках стояли по бокам, и пошел со сцены, останавливаясь на каждом шагу и поворачиваясь всем телом к залу, к роялю, жестами выражая удовольствие, отмахиваясь от готовых прийти на помощь служащих.

— Пошли покурим, — позвал Хуан Клару, которая продолжала сидеть, уткнувшись носом в бархатные перила.

— Вдохни, — сказала она, заставляя его понюхать бархат.

— Пахнет гнильцой и салицилатом.

— Наверное, это и называют запахом времени. — Клару передернуло. — Просто замечательно. Как идет Бетховену этот бархат.

— И нам, — сказал Хуан совсем тихо. — Нам, сидящим в ложе.

Выйдя из зала, они столкнулись с Пинчо Лопесом Мора-

лесом, большим специалистом в области hot jazz \* и поэзии Хавьера Вильяуррутии \*\*. Тот сообщил им, что за сценой с артистом приключился обморок и скорее всего концерт не будет продолжен. Репортер затерялся среди публики в фойе, где-то около гардероба, и сеньор Фунес отправился искать его, чтобы обсудить новость. Пинчо больше всего беспокоило, чем заполнить два часа, остававшиеся до первой вечерней рюмашки.

— Выходить на улицу — такое солнце шпарит, ты же понимаешь.

— А если не шпарит,— сказала Клара.— Придумываешь нарочно, себя заводишь. Ты не изменился, Пинчо. Эгоист чистой воды.

— Послушай, дорогая моя бывшая соученица, я не желаю зла артисту, однако несправедливо расстраивать человеку планы. Ты прекрасно знаешь, что каждый строит свои планы. И эти два часа теперь — как дырка в стене. Ну я посмотрю в нее и что увижу? Улицу Либертад, Коррьентес, просторный и чуждый мир. В то время как стены служат для того, чтобы на них развешивать картины между тем и этим...

— Так оно и есть, Пинчо, так оно и есть.

— А кроме того,— сказал Пинчо,— улица, как бы это сказать, улица сегодня довольно странная. Мама хочет, чтобы мы поехали в Лос-Оливос. И я начинаю думать, что она права.

— Страусиная политика,— сказал Хуан.— Разумеется, я так говорю потому, что у меня нет имени. Да, Уолли, я думаю, что у Шумана --- не музыка в обычном понимании этого слова, язык его «Davidsbündler» \*\*\* и «Карнавала» находится на пороге совершенно иного искусства.

— Да? — удивилась Уолли Лопес Моралес.— Но элементы — те же самые.

— Словами пишется и проза и поэзия, а между тем они друг на друга совсем не похожи. Музыка Шумана содержит

\* Горячий джаз (англ.) — направление в джазовой музыке наряду с холодным джазом (jazz cool) конца 40-х годов.

\*\* Хавьер Вильяуррутия (1903—1950) — мексиканский поэт-модернист.

\*\*\* «Танцы давидсбюндлеров» (нем.) — фортепианное сочинение.

интенцию —

прошу извинить меня за выражение —

и приближается к повествовательной категории, которая уже не является эстетикой —

или, лучше сказать, является не только эстетикой, — но, разумеется, не есть и категория литературная, другими словами, кота не выдают за зайца. Его музыка немного напоминает мне обряд посвящения. Такое не приходит в голову сказать о музыке Равеля или, например, Шопена.

— Да, Шуман странный, — сказала Уолли, хорошая собеседница. — Может, безумие...

— Как знать. Понимаешь, Уолли, Шуман знал, что он владеет тайной, я не хочу сказать, что эта тайна трансцендентальная; просто в его произведениях чувствуется неясное ощущение этого знания, однако ему она так же неведома, как и всем остальным. Перефразируя Сократа: я знаю только то, что кое-что знаю, но не знаю что. Похоже, он надеялся, что об этом расскажет сама музыкальная система, подобно тому, как Арто \* надеялся на свою поэзию. Обрати внимание, они похожи.

— Бедный Арто, — сказала Уолли. — Как в калейдоскопе: произведение переходит в другие руки, и в тот же миг меняется рисунок, смена рук — и это уже совсем другая вещь.

— Может быть, — сказала Клара, стоявшая рядом, — значительны не те произведения, которые значат что-то сами по себе, но те, которые способны отражать. Я хочу сказать, позволяют нам отражаться в них. Как говорил Вальери, «малая достаточность».

— Из чего делается тщеславный вывод, — сказала Уолли, — сколь значительны мы сами. Твоя мысль может стать первым пунктом устава для клуба читателей. А я лично предпочитаю быть маленькой-маленькой и чтобы книга всегда была выше меня.

— Ты, наверное, из тех, кто читает по две книги в день, — сказала Клара чуть насмешливо.

— Бывает и так. Столько книг издается, хорошо бы и читатели были жадны до книг.

\* Антонен Арто (1896—1935) — французский поэт и драматург-авангардист.

— Одно плохо,— сказала Клара,— писатели рассчитывают на другого читателя, на того, кто носит книжку в кармане и не расстается с ней.

— Зачем же тогда тиражи по пять тысяч экземпляров? Зачем писатели пишут по пять—десять книг? Как в боулинге: за каждой новой книгой выскакивают другие.— Последние слова Уолли проговорила с улыбкой и в знак прощания губами изобразила поцелуй. Пинчо взял ее под руку, и они стали подниматься по боковой лестнице; Уолли, чуть перегнувшись через балюстраду, показывала на продавщицу сластей, а Пинчо, похоже, не соглашался на ее уговоры.

— Колоссальная парочка,— сказала Клара.— Такие жизнелюбы.

— Такие жизнелюбы,— пробормотал Хуан,— что завтра утром уже будут у себя в имени. Посмотри вон на тех, слева, нет, дальше. Женщина с голубоватыми волосами.

— Она как будто что-то скрывает,— сказала Клара.— Немножко как мы, как я.— Она сжала руку Хуана, а тот смотрел на нее и улыбался.— Хоть бы скорее прошел сегодняшний день, Хуан. Четверть четвертого, еще всего четверть четвертого.

— Всего на час меньше,— сказал Хуан.— И договорю за тебя: разве у тебя такое состояние только из-за экзамена?

Она не ответила ему, и они медленно вернулись в ложу, где репортер объяснял сеньору Фунесу, как стать акционером Национальной лотереи и к чему привела забастовка рабочих на севере страны. Едва они уселись, как свет резко погас, и господин в жемчужно-сером костюме быстрым шагом вышел на сцену.

— Театр считает своим долгом опровергнуть злостные слухи относительно физического состояния артиста, который оказал нам честь своим выступлением,— выпалил он.— Артист чувствует себя превосходно.

Кто-то — один-единственный — захлопал: один хлопок, два, три.

— Убедительно просим публику не обращать внимания на необоснованные слухи. Через несколько минут начнется вторая часть концерта. Благодарю вас.

— Никогда не мог понять, за что благодарят в подобных

случаях, — сказал репортер. — А с другой стороны, у него действительно был самый настоящий обморок.

— Верим тебе, — сказал Хуан. — Знать — твоя профессия. Что ты еще знаешь?

— Ха, разное. Я скоро буду в редакции. Если хочешь, позвони мне вечером попозже, и я сообщу тебе самые последние сплетни. В фойе я видел Маноло Саэнса из «Ла Расон», и он мне вывалил целую кучу новостей насчет грибов и беспокойства в городе. Но он не слишком этим озабочен, гораздо больше его взволновало то, что рассказала какая-то сеньора о закулисной жизни артиста: и что никакой он не слепой и что прабабка у него негритянка. Интересно, как ей удалось это пронюхать. Маноло считает, что она мифоманка и очень ловко собрала все сплетни; видно, у нее закваски газетчика гораздо больше, чем у меня, я-то родился для созерцания и для музыки. Ну, ладно, пора идти, кинуть что-нибудь в пасть секретарю редакции, хотя добыл я не так уж много.

Хуан собирался задать вопрос, но тут раздались аплодисменты. Двое служащих в париках поставили артиста на его место; тот говорил что-то на ухо одному из них, но служащий вел себя так, словно не понял. Тогда артист повернулся к другому, но результат был тот же самый. Переглянувшись, служащие повернулись и ушли гораздо быстрее, чем было необходимо. Артист покачнулся, отступил сперва назад, словно ища защиты у рояля, потом двинулся к оркестровой яме; в ложах бенуара испуганно зашептались, зашумели. Сеньор Фунес, вскочив на ноги, размахивал руками, шумно дышал; в соседней ложе завизжала сеньора, пронзительно, точно мышь, попавшая в мышеловку. Клара почувствовала, как голова у нее закружилась, и обеими руками ухватилась за бархатные перила. Люди вскакивали с мест, свет в зале замигал и снова погас. Артист поднял смычок, словно ощупывая воздух перед собою, и с видом нашкодившего сорванца вернулся на свое место. Публика еще не успела смолкнуть, а он уже играл «Партиту ре-минор» Баха.

— Во всяком случае, — пробормотал репортер, — еще двадцать сантиметров, и он бы стал газетной сенсацией.

— Не будь скотиной,— сказал Хуан.— Думаешь, он сделал это специально?

— Конечно. Тип этот, видно, с характером. Поразительно, как они его опекают, посмотри налево.

Сеньор в жемчужно-сером костюме был явственно виден за спинами служащих в париках. Стоя у приоткрытой двери цвета увядшей розы, которая вела на эстраду, они притворялись безразличными.

Аллеманда

Куранта

Сарабанда

Жига

Чакона

— Длинновато,— была эпитафия сеньора Фунеса.— И скрипка наполовину теряется, когда рояль не сопровождает.

— Разумеется,— сказал репортер, в его голосе дрожала ярость.— Гораздо лучше, когда играют все сорок скрипок в увертюре к «Травиате».

Клара посмотрела на отца и увидела, что он доволен поддержкой репортера. Она возвращалась из Баха, словно из головокругительного путешествия. Не хотелось говорить, а лучше бы остаться здесь и сидеть много часов (чтобы только вокруг не хлопали и артист не уходил бы и не выходил снова в сопровождении служащих в париках). Она обрадовалась, когда в антракте ее оставили одну. Погрузившись в тайну бархатных перил, она спрятала лицо в ладонях и закрыла глаза. Спать, Бах, прекрасная сарабанда, спать, Бах, спать — ей виделись звезды, пурпурные точки; она сильнее надавила на глаза, по телу пробежала дрожь. Боязнь публики, страх. Берите билет. Какое это теперь имеет значение. Она услышала (протекло долгое время внутри нее, может быть, даже она задремала) далекий крик, топот бегущих ног. Нет, ничто не имеет значения. Снова закричали. Обращать внимание на необоснованные слухи. Большое спасибо. Спать, взять билет. Спать.

Хуан с репортером — и сеньор Фунес посерединке — гуляли по коридорам. Кто-то заметил, что надо бы зайти в помещение под названием «Кавалеры», в театре «Колон» на вывеске было написано: «Мужчины» —

а Пинчо с Уолли пожирали мятные пастилки —

— Че, а тип-то оправился! — закричал Пинчо в восторге оттого, что видит Хуана.— Теперь мы поедем на машине.

— Не знаю, знаком ли ему иной способ передвижения, — сказал Хуан репортеру.— Прелестный мир: ужас перед непредвиденным здесь заглушают тем, что перестраивают планы. Никто не обскачет наших портенью на этом маскараде построения жизненных планов.

— Ты слишком категоричен, — сказал репортер.— По сути дела, жизнь ни из чего другого и не состоит. Строить планы означает идти наперекор случаю, вспомни китайца.

— Случай не существует. Случай — это издержки наших слабостей, промахи в наших жизненных планах.

— Ах так? Значит, землетрясение, которое накрывает тебя в постели...

— Но это — не случай, — сказал Хуан удивленно.— Это — поэзия.

Они пропустили вперед сеньора Фунеса и вслед за ним вошли в туалет. Тут было много мужчин, уже облепившихся, одни курили и смеялись, а другие сосредоточенно мыли руки и ожидали очереди воспользоваться нейлоновой расческой, висевшей на хромированной цепочке под зеркалом.

— Ты обожаешь формулы, — говорил репортер, немного сердясь.— Если принять случай за поэтическую категорию, то из этого не следует, что это — поэзия, а не случай.

Но Хуан уже увидел Луисито Стеймберга и внимательно слушал, что тот говорил о концерте. Вошел Пинчо и тоже подошел к ним в восторге от того, как все здорово складывается, а репортер, отойдя в сторону, смотрел на сеньора Фунеса, стоявшего в очереди за расческой. Делалось все жарче, а когда раскрывались дверцы, стыдливо отделявшие уборные, врывался запах отдушки и горячего талька, который, смешиваясь с запахом мочи, бил в нос, а это, сказал сеньор Фунес молодцеватому сеньору, стоявшему за ним в очереди, — это просто позор —

— можно подумать, что театр «Колон» не в состоянии приобрести приличные дезодоранты, сильные, вроде тех, о которых пишут в «Ридерс дайджест». Молодцеватый сеньор заметил с немецким акцентом, что это дело обычное, но



ответ не удовлетворил сеньора Фунеса, уже дождавшегося своей очереди. Репортер подошел к Хуану: тот позвал его, чтобы представить Пинчо и Стеймбергу, которые желали знать, что такое журналист. Они собирались задать вопросы, и репортеру было неловко; он не боялся вопросов, но со скукой догадывался, какие вопросы зададут и как он будет врать или выкручиваться в ответ; в дверь входили новые посетители, а из кабинок выходили мужчины (кавалеры) с фальшивой естественностью, с какой всегда выходят оттуда, и шли к умывальникам (очередь к умывальникам росла, вытянулась из конца в конец зала и начала закручиваться); набилось полно народу, и кто-то, слышно было, сказал, что, мол, кто пописал, пусть выходит, зачем зря толпиться.

— Всегда — одно и то же, — изумился сеньор Фунес. — Маленький куренок строит из себя петуха. Не успели войти, как уже распоряжаются.

— А, — сказал молодеватый сеньор. — Молодежь, она такая.

— Дурно воспитана, — сказал сеньор Фунес и оказался перед умывальником, на том самом месте, где его предшественник аккуратно вытер расческу и положил на место, на полочку. Сеньор Фунес отступил на шаг влево, встав прямо перед зеркалом, и протянул руку за расческой. (Репортер следил за ним и слушал несшиеся издали хлопки в ладоши — это капельдинеры призывали публику вернуться в ложи), —

а Пинчо говорил Хуану, что у полиции кури-и-иный менталитет, они чудо-о-овишно неэффективны, —

что, похоже, доставляло удовольствие Стеймбергу, — расческу на хромированной цепочке вдруг резко дернули: репортер видел лишь, как она взлетела, подобно блестящему снаряду, вырвавшись из рук сеньора Фунеса, который застыл словно громом пораженный, —

и, описав короткую траекторию, оказалась в руках у типа, стоявшего спиной к сеньору Фунесу; как выяснилось, он-то и дернул хромированную цепочку; затем он сделал шаг вправо прямо перед носом у сеньора Фунеса и оттер его от зеркала да еще наклонился немного, чтобы удобнее было причесываться —

## ЦЕПЬ БЫЛА НЕ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ.

— Ну, это уже верх всего,— сказал репортер, хватая Хуана за руку, чтобы он поглядел.

— Подожди,— торопливо сказал Хуан, который в этот момент спросил что-то у Стеймберга (министерские служащие всегда много знают) и не хотел пропустить ответ. Когда репортер дернул его за руку второй раз, он обернулся, и как раз в этот момент сеньор Фунес, покрасневший от гнева, шагнул вперед так, что тип с расческой потерял равновесие, выпустил расческу из рук и, чтобы не упасть, ухватился за блондина с сигарой.

— Что там происходит? — спросил Хуан. — Пойдемте, дон Карлос... — Ему не было видно, что происходит, потому что очередь заволновалась и рассыпалась, и кроме того, Пинчо со Стеймбергом стояли между ним и умывальником. Он хотел подойти поближе, но туда уже подоспел репортер, видя, что тип с расческой, белый от ярости, ответно толкнул сеньора Фунеса, одной рукой упершись ему в грудь, а другой выстрелив точно пружиной. Репортер сзади взял его за пиджак и притянул к себе, неизвестно зачем, но тот вырвался (еще раз ухватившись для равновесия за блондина с сигарой) и развернулся лицом к репортеру, въехав, сам того не желая, локтем в лицо низенькому толстому человеку, который закачался, истошно вопя. Изрыгая ругательства, репортер подскочил к типу с расческой, у которого на лице было написано удивление и в то же время пронизательная готовность, но именно в этот момент подоспели Хуан (который понял ситуацию и поспешил вмешаться) и Луисито Стеймберг, разбив очередь, которая замельтешила и потеряла уверенную стройность. Неразбериха и толчея росли, и в них совсем затерялся низенький сеньор с залитым кровью лицом, —

все старались пробиться к выходу, а для этого надо преодолеть самую узкую часть помещения — подступы к умывальникам, — а это шло вразрез с намерением сеньора Фунеса добраться-таки до расчески (которая болталась на цепочке ниже раковины) и завладеть ею в знак, надо полагать, самоутверждения и победы над противником, который в этот момент, находясь совсем близко от репортера, хотя их раз-

деляли Хуан и Стеймберг, словно бы приглашал его ударить первым и что-то при этом говорил, чего оглушительные причитания низенького окровавленного сеньора не позволяли слышать; гвалт стоял страшный, и в довершение все время хлопали двери — новые кавалеры валом валили в уборную. Видно было, как сеньор Фунес взмахнул наконец расческой и почти тотчас же потерял ее, потому что Пинчо, по-видимому желая успокоить разволновавшегося сеньора Фунеса, дернул за цепочку и, таким образом, вырвал расческу у него из рук, и в то же самое время (репортер, напроць отрезанный от агрессивного типа, видел, как подходили все новые и новые люди, и среди совершенно незнакомых различал знакомые лица, видел, как они толпились в дверях и пытались протиснуться внутрь) —

со всех сторон к злосчастной цепочке тянулись руки, каждый дергал ее на себя в меру сил, так что Пинчо вскрикнул от боли и выпустил расческу, но она успела порезать ему два пальца, он выматерился и окровавленной рукой влепил здоровенную оплеуху блондину с сигарой — так что сигара у того вылетела изо рта и опустилась догорать в углу, точно горящий глаз наблюдал за бешеным топтанием и кручением десятков пар штиблет,—

Хуан кричал тество, чтобы он выбирался из этой свалки, но сеньору Фунесу в этот миг уже удалось вцепиться в цепочку, совсем близко к расческе, и тут наконец-то появился первый капельдинер, совсем белый от страха, он воздевал руки кверху,—

но крики, слившись в единый вопль, усиленный акустикой, разносились по всем этажам театра, сея тревогу,—

массажист сделал знак слепому не вставать с канапе и, набросив на его обнаженный торс одеяло, побежал к двери послушать, что происходит (Клара, сидя в ложе, тоже слышала крики),—

хотя никто не мог точно указать место потасовки с того момента, как капельдинер застрял в толпе, которая ринулась за ним, до того, как двери уже невозможно было открыть снаружи и в узком коридорчике перед умывальниками скопилась тьма народу,—

в силу странного акустического эффекта сквозь весь этот

гвалт совершенно отчетливо разносился наводящий тоску стук —

это стучали те, кто оказался запертым в кабинках, потому что дверцы снаружи подпирали спины и плечи кавалеров, набившихся в тесное помещение так, что Луисито Стеймберг чувствовал себя мумией, втиснутой в узкий старинный писсуар,—

старинный писсуар, какие в давние времена ставились на улицах,— и ругательства на идиш слетали с его языка, точно раскаленные гвозди, однако выйти он не мог, хотя репортер (который сперва подумал, какого черта, а потом, что, пожалуй, нет, он ошибся) пытался протянуть ему руку над головою низенького сеньора с залитым кровью лицом, чтобы вытащить его,—

и в то же время не переставал думать, не обозначился ли он и действительно ли был среди последней партии вошедших —

а, впрочем, что тут странного, мир так тесен, а если еще к тому же он любит скрипку —

без сомнения, он ошибся,—

а вот и сеньор Фунес, его просто вытолкнули, в руке у него обрывок цепочки, а Пинчо сосет ранку на руке, а сам бледный как полотно —

стена спин, и Хуан ввинчивается в нее, расталкивает, пробираясь к тестю, расческа уже в руках у здорового типа, и он поднял ее над головой с криком «отпустите, отпустите!», будто она не у него в руках, и дверца одной из кабинок сантиметр за сантиметром открывается рядом с той, откуда только что выбрался-таки Луисито Стеймберг, который теперь тупо оглаживал на бедрах пиджак,—

дверца сантиметр за сантиметром открывается, и в нее протискивается стриженная голова в очках, ни дать ни взять — черепаха высунула голову посмотреть, что творится,—

в отличие от добропорядочных черепах —

в дверцы кабинок колотят со страшной силой, и наконец последняя решительная схватка, в результате которой расческа взлетает в воздух —

и падает в раковину.

Но туда за ней уже никто не протягивает руки, потому что

в раковине вода и плавают волосы, а кроме того, мгновенно воцаряется тишина, первым стихает агрессор, с которого все началось,— теперь он стоит у входа в узкий коридорчик, опустив руки, и смотрит на полицейского, который врывается в туалет словно пуля, пробив броню,— свирепый, внушающий уважение, и — конец — делу венец.

Репортер (теперь он уверен, что обознался, принял не за того человека в глубине туалетной комнаты, и там уже его нет, он выскочил вместе с другими) —

репортер вздохнул, словно выходя из глубокого наркоза. «Как глупо,— подумал он. И тут же:— Именно потому и происходит».

— Вот увидишь,— говорил Пинчо Хуану, поправлявшему одежду на сеньоре Фунесе.— Артиста этот скандал рассердит. Бьюсь об заклад, он не станет играть третью часть, словом, день испорчен.

Хуан хохотал, одергивая пиджак на доне Карлосе, поправляя плечи. Потом вынул из кармана свою расческу и протянул ему. Руки слушались с трудом.

Услыхав приказ полицейского, репортер показал ему журналистское удостоверение. Полицейский, похоже, собирался отправить его вместе с остальными.

— Вы меня не узнаете? — спросил репортер.— А помните историю с парнишкой на улице Пенья?

— Ах да, сеньор. Все в порядке.

— Я предупрежу Клару,— сказал репортер Хуану.— Скажите, куда вы их ведете?

— В зал прессы. Там разберемся.

— В общем, ничего страшного. Не стоит беспокоиться. До свидания.

«Как он держится,— подумал Хуан, развлекаясь от всей души, хотя все еще не мог вздохнуть после удара, который получил в подреберье.— Ну что ж, во всяком случае избавляюсь от экзамена». Он аккуратно спрятал расческу, которую ему вернул дон Карлос, и они двинулись между двух рядов зрителей, наводнивших коридоры. В зале уже погасили свет. Уолли смотрела на них, сложив губы трубочкой, словно собиралась свистнуть.

— Невероятная история,— сказал репортер.— Даже не

пытаться представить, Кларита. Просто апофеоз, конец света, апокалипсис, вселенский бардак.

— Но сами они в порядке? — спросила Клара, которая сама удивлялась своему спокойствию.

— Хуан накостылял кое-кому, да и папа ваш дрался как лев, — ответил репортер с поклоном. — Все в полном порядке за исключением того, что их замели.

— Ну что же, прекрасное завершение дня, — сказала Клара, не слишком расстраиваясь.

— Верите, такой шум поднялся, что полиция просто вынуждена заняться этим делом. И тем самым только усугубит нервную обстановку и через полчаса —

но я не понимаю, зачем гасят свет, если концерта не будет, —

и кроме того, — сказал репортер, неожиданно вспомнив, — очень странная вещь. Я видел там одного вашего знакомого. Того, что вчера ночью ходил за вами следом.

В Дирекции срочно созвали совещание. Сеньор в жемчужно-сером костюме подвел итоги:

— Одним словом, играть отказывается. Меня грубо оскорбил — завел канитель насчет искусства, уважения и всего такого прочего.

— Заставить его нельзя, — сказал директор.

— Да, но выходить к публике и строить из себя дурака опять придется мне.

— Ты это умеешь лучше всех, — сказал директор. — Я хочу сказать, лучше всех умеешь разговаривать с этими сукиными детьми.

— Абея?

— Да, кажется, вы его так называли.

— Но вы же его не знаете, — сказала Клара, глядя на него с удивлением.

— Сеньора, — сказал репортер, — я — газетчик, ерго \*, пользуюсь собственными глазами, ерго, вчера для меня не составило труда заметить парня, который так действовал

\* Следовательно (лат.).

вам на нервы под сенью деревьев на площади Колумба.

— И он участвовал в этой свалке?

— Участвовать не участвовал. Наблюдал за финалом. Я думаю, полицейский появился раньше времени и не дал ему поразиться. Ну, кажется, начинаем.

Сеньор в сером сделал знак публике поскорее усаживаться. В зале громко разговаривали и было душно — не продохнуть.

— Дамы и господа,— сказал сеньор.— Мы с сожалением должны сообщить, что последняя часть концерта не состоится. Легкое недомогание артиста —

**КАК ОН РЫДАЛ, ЛЕЖА НИЧКОМ НА КАНАПЕ,** — лишает нас возможности насладиться его великолепным искусством. Я хотел бы также успокоить дам, которых мог взволновать незначительный инцидент, имевший место несколько минут назад. Ничего страшного не произошло —

**КАК ВСХЛИПЫВАЛ, ЗАКРЫВ ЛИЦО РУКАМИ,  
А МАССАЖИСТ СМОТРЕЛ НА НЕГО —**

итак, все выходы из зала —  
к вашим услугам.

— Абелито? — переспросила Клара.— Значит, это правда.

— Что?

— Что он сумасшедший.— Она невольно оглянулась на темноту аванложи.— Уму непостижимо. А где Хуан, скажите пожалуйста?

— В зале для прессы вместе с остальными.

— Пойдемте.

— Пойдемте, но спешить не будем. Пусть сначала выйдут все, смотрите, как они недовольны.

Господина в сером проводили тремя хлопками и чудовищным свистом с галерки; в ложах недовольная публика, полумертвая от жары, начала двигаться, громко переговариваясь через головы.

Значит, Абель —

но абсурд имеет свои пределы для тех, кто исповедует африканский культ воды на улице Диагональ или Флориде. И надо было выбираться из ложи, этой крепостной башни

(репортер, полный доброй воли, ждал, повернувшись спиной к аванложе —)

Ланселот, Галаад, Герреэт \*

### СБЫВАЮТСЯ МРАЧНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА

«Неверно», — подумала Клара, оглядываясь на себя с презрением (глаз, нос, половина рта, другой глаз, очки, это отражение души, это вечное дробление целого на отдельные части —

и пусть твоя левая рука не знает того, что —

но это так, это действительно так, она никогда этого не знает. Что знает мой язык о том, как живет моя нога). «Какой ужас», — и уже нету мыслей, нет слов, чтобы выразить гнездящееся в сердцевине ее существа недовольство центробежными устремлениями, этим намерениям бежать от себя самой, которые центр должен был бы предотвратить, упорядочить, упразднить. Теперь, когда Хуан, неделимая часть ее кожи, отделился куда-то —

найти его и —

однако куда же его увели. «Я ведь просила его прийти», и чувствовать, что Андрес ей нужен (потому что — куда же все-таки увели Хуана) —

бедняга репортер, бедняга —

«Я просила его прийти, а он не захотел. Наверное, пойдет», —

и в последний раз бросила взгляд (невидящий) на сцену, где служащий в парике аккуратно закрутил крышку роля.

Присутствовали полицейский инспектор в штатском, полицейский, арестовавший их, и еще один полицейский. Снаружи доносился ропот тех, кто уходил из театра, так и не узнав ничего толком. Но родственники и друзья арестованных толпились у дверей и ждали.

— Встаньте в ряд, — сказал инспектор.

Он стоял позади стола, уверенный в твердости этого бастиона.

— Сделайте одолжение, не говорите все разом, — сказал он. — Кто начал драку?

\* Герои средневековых рыцарских романов.



Сеньор Фунес выступил вперед, но один из полицейских опустил ему руку на плечо.

— Дайте мне,— пробормотал сеньор Фунес, чуть пошатнувшись.— Начал я, сеньор, но я действовал, защищая свои права.

— Вот как? — сказал инспектор вроде бы рассеянно.

— Этот сеньор — мой тесть,— выступил вперед Хуан,— и вы видите, что он пси-хо-ло-ги-чес-ки не в состоянии ничего объяснить.

— Вернитесь в строй,— сказал инспектор.

— Хорошо, но дайте мне объяснить.

— Ладно, говорите.

Хуан вдруг осознал, что он ничего не знает о случившемся. Что-то там происходило с расческой, из-за нее началась война, а потом в силу диковинной сублимации она превратилась в знамя битвы. Он улыбнулся, не желая того, инспектор смотрел на него, прищурившись.

— Я знаю, что произошло,— сказал Луисито Стеймберг.— Этот сеньор с челкой отнял расческу у сеньора тестя этого сеньора.

— Вы это видели?

— Видеть не видел, потому что в этот момент...

— Совершенно точно,— сказал сеньор Фунес.— Как раз подошла моя очередь причесываться.

— Как сказать,— возразил сеньор с челкой, выглядевший уязвленным.— Я увидел: расческа на полочке — и взял ее.

— Неправда,— сказал сеньор Фунес, делая попытку выйти из строя.— Вы не стояли в очереди, и схватились вы не за расческу, а за цепочку.

— Какая разница,— сказал сеньор с челкой.— Если к вам ближе цепочка, вы дергаете за нее и получаете расческу.

— Но очередь на расческу была моя. И я уже держал ее в руке. Только взял, как вы дернули за цепочку и вырвали у меня ее из рук.

— С серьезным риском для рук сеньора,— сказал Пинчо Лопес Моралес.— Посмотрите на мои пальцы: порезаны расческой, какой-то негодяй вырвал ее у меня из рук.

— Умерьте свой пыл,— сказал инспектор,— и не гово-

рите, пока вас не спросят, к вам это тоже относится — и к вам.

— Из-за ничего такой шум поднимают,— сказал сеньор с челкой, не слишком спокойно.

— Замолчите. Значит, имело место рукоприкладство?

— Совершенно верно,— сказал сеньор Фунес, немного успокаиваясь.— Он меня так толкнул, да, сеньор, ТОЛК-НУЛ — я чуть не упал на других сеньоров.

— Фигня,— сказал сеньор с челкой.— Видели бы, какого пинка отвалил он мне.

— А вы чего хотели?— закричал сеньор Фунес.— Чтобы я отвалил вам благодарность?

— Замолчите! — крикнул инспектор.— Что было потом?

— Видите ли, потом все перемешалось,— сказал Пинчо.— Я бы взял на себя смелость определить дальнейшее как стремление двадцати человек покончить с другими девятнадцатью с целью завладения расческой. С социологической точки зрения...— И он расхохотался, глядя на Хуана, которого мучило точно такое же желание. «Ну и псих,— подумал Хуан.— Называется, построил план на весь остаток дня».

— Вам,— инспектор выбросил вперед палец-телескоп,— вам не поздоровится, если будете так резвиться. Ну-ка скажите,— он нацелил палец на парнишку с перепуганным лицом, который до сих пор не проронил ни слова,— что было потом?

— Страшная свалка,— ответил допрашиваемый.— Меня толкали со всех сторон.

— А вы, конечно, святой, и пальцем не шевельнули.

— Сначала — нет,— неожиданно ответил вопрошаемый.— А потом сделал все возможное, чтобы расческа осталась у меня.

— И вы — тоже.

— Но она переходила из рук в руки.

— Как фальшивая монета,— пробормотал Пинчо.

— Когда же драка закончилась?

— Когда вошел я, сеньор,— свирепо сказал полицейский.— И вот привел их всех сюда.

Инспектор поглядел на сеньора с челкой. Потом вытер лицо грязным платком. За дверями кто-то тревожно свист-

нул, и дверь немного приоткрылась. И осталась так, словно кто-то собирался войти.

— Давайте документы,— сказал инспектор, оглядев платок и снова вытирая им лицо. Никак не реагируя, он слушал бормотание: да, но у меня ничего нет с собой, кому же придет в голову идти в концерт со всеми своими бумагами, можете позвонить мне домой, вы не имеете права, я к этому абсолютно не причастен —

на улице меня ждет жена.

— Замолчите,— сказал инспектор, стукнув ладонью по столу.— Давайте имена, фамилии.— Он сел и раскрыл синюю тетрадку. Резко зазвонил телефон, полицейский посмотрел на инспектора, ожидая, что тот велит ему снять трубку. Сквозь приоткрытую дверь доносились разговоры ожидавших, пронзительный крик разносчика газет, снова свист.

— Возьмите трубку вы, Кампос,— сказал инспектор полицейскому, производившему арест.— Почему дверь открыта?

— Пришел офицер из Управления, сеньор,— сказал полицейский, стоявший у двери.— Хотел войти, но остановился с...

— Ну-ка, вы,— сказал инспектор сеньору Фунесу.— Документы.

— У меня их нет,— сказал сеньор Фунес, тяжело дыша, воротник его рубашки был мокрым от пота.— Может, вам сгодится мое пенсионное удостоверение?

— Ну да, ну да,— говорил полицейский в трубку.— Позвоните попозже, сейчас никого нет.

Инспектор посмотрел в удостоверение, потом на сеньора Фунеса, снова в удостоверение.

— Я целиком и полностью к вашим услугам,— сказал сеньор Фунес.— Я действовал в соответствии со своими обязанностями перед лицом невообразимого нарушения справедливости. И отдаю себя в распоряжение правосудия.

— Я уже понял, что вы отдаете себя в распоряжение,— сказал инспектор,— так что замолчите.

Хуан выскочил вперед, и теперь только стол отделял его от инспектора.

— Это вы замолчите,— сказал он.— Вы не имеете права так обращаться с этим сеньором.

— Иди сюда,— сказал за его спиной Пинчо.— Не затевай скандала.

Инспектор встал. Полицейский, отвечавший по телефону, в мгновение ока оказался рядом с Хуаном, рука схватилась за пистолет. В приоткрытую дверь вошел офицер, чудовищно толстый мулат. За ним ворвался шум. «Кончайте там!..» — крикнул кто-то пронзительно, но дверь захлопнулась, оборвав фразу на половине.

— Подождите минуту,— сказал инспектор тихо, сверля глазами Хуана так, что тот почувствовал холод внизу живота. Инспектор вышел из-за стола и подошел к офицеру, остановившемуся у двери.

— Я все уже знаю,— сказал офицер.— Немедленно возвращайся в Морено. Там серьезно.

— А эти люди...

— По домам, сию же минуту. Тут ничего страшного. Отпускайте их.

— Видите ли...

— Приказ сверху, че.

Пинчо вышел первым, вежливо попрощавшись. Хуан забрал удостоверение дона Карлоса — тот оставил его на столе — и вышел вместе с тестем и со Стеймбергом. Инспектор повернулся к ним спиной, полицейский стоял у открытой двери, как тюремный надзиратель.

— Наконец-то,— сказала Клара, пытаясь улыбнуться.— Вас пытали?

— Да, бенгальскими огнями. Пошли, пошли отсюда скорей.

— Какая жара,— сказал Пинчо, вздыхая.— Че, а сколько народу собралось, как на Нюрнбергском процессе. Позвольте, сеньора, позвольте.

Когда вышли на дневной свет, он недоуменно заморгал.

— Я и забыл, что еще рано,— жалобно сказал он.— Уолли, воплощение верности, пошли в какое-нибудь прохладное и темное местечко.

Стеймберг, примолкший и как будто напуганный, вышел за ними и ушел, не попрощавшись. Хуан с репортером эскорти-

ровали сеньора Фунеса и Клару. На углу Тукуман и Либертад подвернулось свободное такси. Хуан посмотрел на часы.

— Поезжайте домой, дон Карлос, и отдохните немного. А мы с Кларой пойдем пешком в центр.

— У вас еще есть время,— сказал сеньор Фунес.— Можно выпить шоколаду.

— Нет, нет,— сказала Клара.— Поезжай, папа, поспи немного и прими бром. А завтра...

Проехала пожарная машина и заглушила ее слова. Хуан с удивлением принюхивался к воздуху и смотрел на Луисито Стеймберга, который на остановке ждал трамвая. Трамваев не было, только редкие машины.

— Ну ладно,— сказал сеньор Фунес.— В таком случае желаю вам обоим всего хорошего.

— Спасибо, папа.

— Спасибо, дон Карлос.

— Может быть, я вас подвезу?— спросил сеньор Фунес репортера.

— Нет, спасибо. Я пройду с ребятами.

Полицейская машина, проревев сиреной, свернула на Тукуман. Они думали, что она остановится у театра, но она поехала дальше, вверх по Либертад. Они смотрели вслед такси, увозившему сеньора Фунеса, тот махал им рукой.

— Бедный старик,— сказал Хуан.— Как они с ним. Пошли выпьем пива, умираю, хочу пить. Как хорошо, что ты с нами, репортер. Я тебе расскажу, как нас допрашивали, это потрясающе.

— Подумаешь, новость,— сказал репортер, сплевывая пух.— А вот пиво — это дело.

В «Эдельвейсе» пива не было; беловолосый официант попытался уговорить их выпить сидра. Они не стали поднимать шума, потому что знали: уже несколько дней пива в столице не хватает. И пошли в «Нобель»; Хуан смыл свежую кровь с левой руки. И, смывая, увидел, что кровь эта — чужая.

— Я бы хотела послушать Einderszenen,— говорила Клара репортеру.— Когда я была девочкой, один друг нашей семьи играл это по вечерам у нас в темном салоне.

— Ну, конечно, в салоне.

— Конечно. Я выросла в доме с салоном и сделала все возможное, чтобы точно такой салончик образовался у меня в голове. Не смейтесь, у дядюшки Роке был изумительный маленький салон культурного назначения. Где рассказывались анекдоты о генерале Мансилье, восхищались альманахами и где плавали ароматы душистого мыла. Я обожала сидеть там и вдыхать его изысканную пыль.

— Иногда ты хватаешь через край,— сказал Хуан, потягиваясь в кресле.— Не бойся, нынешнее культурное ведомство тоже держит салон. Он невидимый, но угроза его повсюду, во всем, что отдает старьем,— все эти детекторные приемники, проспекты с обещанием панацеи — все это тот же салон.

— Большая деревня,— сказал репортер таким тоном, каким говорят: «Большая флейта».— Во всяком случае, в твоём невидимом салончике наверняка нет ни консолей, ни макраме, ни зачехленных арф.

— Не надо слишком сурово относиться к салонам,— сказала Клара.— Там не было ничего, имеющего отношение к физиологии, единственное место, куда не было доступа сладким пирогам, грязной сieste, одним словом, занятиям, связанным с продолжением рода.

— Жарко,— сказал Хуан, отпивая из своего стакана.— И все тяжелее становится, как-то не по себе...— В открытые окна доносились выкрики негритенка, продававшего газету. Голос звучал одиноко — улица почти опустела, редкие прохожие торопились. Очень далеко (и Кларе сразу вспомнилась ночная улица Леандро Алема) завывала сирена «скорой помощи».

— Второй выпуск «Критики»,— сказал репортер.— Половина пятого. Пунктуальны, как шотландцы. Какая газета, старик. А мне уже давно пора быть в редакции.

— Садись с нами в метро, и через десять минут — на месте.

— Ну да. Одним словом, концерт удался.

— Бедный папа,— сказала Клара.— В кои-то веки собрался послушать музыку.

— Не беспокойся, я думаю, он даже получил удовольствие,— сказал Хуан.— Вот отдохнет и еще будет гордиться

приключением. Видела бы ты, как он раздавал пинки направо и налево. Я думаю, для него это — большой день, он будет вспоминать это, как подвиг во имя святого Грааля.

— Не будь злым.

— Но ведь это правда, — заступился за Хуана репортер. — Будет что вспомнить, это его «Эрнани» \*. С каждым днем остается все меньше воспоминаний. Вы заметили, как люди стали все забывать?

— Дымом нос забило, — сказала Клара. — Однако не думаю, что мы стали забывать больше, чем прежде. Просто прежде люди бежали прошлого, эскапизм и так далее. И более того: религия ориентировала на будущее и тому подобное. А сейчас... вот именно: сейчас *no place for memories* \*\*.

— Но вы же знаете, что на самом деле «сейчас» не существует, — сказал репортер.

— Не существует?

— Репортер хочет сказать, что важно лишь то, что дает смысл настоящему моменту, впрочем, так же как прошлому и будущему.

— Я хотел сказать совсем другое, — возразил репортер. — Однако это вполне вяжется с моей главной мыслью. Люди теперь вспоминают меньше потому, что всякое воспоминание в определенном смысле — обвинение.

— Как ты прав, — сказал Хуан. — Именно это носится сейчас в воздухе — ощущение, что все мы виноваты в чем-то, что все мы — обвиняемся...

(А порою это и находит свое воплощение, Уильям Уилсон, *je suis hanté, hanté, hanté, hanté, hanté*\*\*\*. А бедняга Йозеф К \*\*\*\*... А сами мы, зачем ходить далеко —)

— Но какое право у прошлого обвинять нас? — сказала Клара, осторожно открывая губную помаду.

— Никакого, — сказал Хуан. — Не прошлое обвиняет нас, а мы сами. Просто эпизоды на этом процессе приходят из прошлого. То, что сделали мы. Или то, чего не сделали, а это еще хуже. Губительное несовпадение.

\* Постановка драмы В. Гюго «Эрнани» ознаменовала триумф романтиков в знаменитой «битве романтиков и классиков».

\*\* Нет места воспоминаниям (англ.)

\*\*\* Я преследуем, преследуем, преследуем... (франц.).

\*\*\*\* Герой романа Франца Кафки «Процесс».

— На эту тему много говорят, но мало понимают,— сказал репортер.— Говорят, будто мы терпим неудачи потому, что нам не хватает стиля, потому, что мы соскочили с катушек, забыли золотое правило пропорций. Может, отсюда наши невроты?

— Причина гораздо серьезнее,— сказал Хуан и, вытерев руки бумажной салфеткой, положил грязный бумажный шарик на край тарелки.— Если бы мы утратили только то, что ты называешь стилем. Нет, мы как те воскресшие из мертвых в день Страшного суда на каменном барельефе в Бурже —

помнишь эту репродукцию, Кларуча: одна нога наружу, а другая еще в гробу; он силится выйти, но привычка смерти цепко держит. Мы — между двух вод, как господин Вальдемар \*, и будем страдать от бесчестья, пока не пройдем наш недолгий жизненный круг.

— Красиво говоришь,— вздохнула Клара,— но путано.

— Путано то, что я хочу выразить. Согласись, репортер. Лучше всех других ужас существования видел Рембо: «Мои, esclave de mon variéte» \*\*. Ты веришь в христианское Писание, которое подобно черепашьему панцирю: можешь вытянуться и расположиться в нем, пока не заполнишь его целиком. А если ты кролик, а не черепаха, ясно, что тебе неудобно. Черепахи, как и великий бог Пан, умерли, а общество — подобно слепой кормилице — старается втиснуть кроликов в жесткую черепашую оболочку.

— Хорошее сравнение,— сказала Клара, отхлебывая изрядный глоток русского императорского пива.

— Ты считаешь себя одержимым великими идеями-фикс, но в один прекрасный день совершаешь первое личное открытие — идеи эти не очень применимы в жизни; а поскольку ты не идиот и любишь жизнь, выясняется, что ты жаждешь свободы действия. Хлоп! — и натыкаешься на те самые идеи, которые получил при крещении. И не в форме внешних законов и установлений —

заметь, это очень важно. Не в формах практического

\* «Воскрешенный» герой гротеска Э. По «Правда о том, что случилось с мосью Вальдемаром».

\*\* «Я раб со дня своих крестин» (франц.).



принуждения, которые так разочаровывают мятежную шпану, —

потому что привычные формы принуждения, встречающиеся в обычной жизни на каждом шагу, так или иначе всегда можно обойти, —

но ты наталкиваешься на самого себя: на то, что получил с крещением, на свое вероисповедание, старик.

— Орестовы фурии, — сказала Клара.

— Ты христианин, — сказал Хуан. — Ты западноевропейский христианин во всем, начиная с манеры стричь ногти и кончая видом твоих военных знамен —

Итак, ты схвачен, ты начинаешь задыхаться. Вообрази себе орла, воспитанного среди овец, который в один прекрасный день начинает ощущать в себе орлиные силы и потребности —

или наоборот (поскольку не следует быть чересчур самонадеянным), —

вообрази себе все это, и увидишь, что получится.

— Да, — сказал репортер. — Одно плохо: ничего не поде-лаешь.

— Это еще что, — сказала Клара. — Важно, чтобы это все-таки было именно так. Но я в этом вовсе не уверена.

— А мне кажется, что это так, — сказал Хуан. — Во всяком случае, лично я склонен этому верить. Я чувствую, как каждое истинное мое движение тормозится, лишается запа-ла конформизмом моей натуры. На каждом шагу, стоит мне решиться, тотчас же происходит бунт: «Потом, завтра —». А что такое завтра, что такое потом? И почему потом? И швейцарские часы начинают тикать отлаженно и исправно, а кукушка, что сидит у меня в голове, напевает: «Завтра будет новый день, утро облачное, в течение дня температура будет подниматься, восход солнца в шесть двадцать две, день святой Цецилии. Ты встанешь в восемь, умоешься —»

обрати внимание; ты встанешь —

ты умоешься —

вот оно, твое христианское воспитание, твои оковы, твоя структура западного человека.

— И потому ты так плохо себя чувствуешь? — спросил

репортер.— Попробуй другое: вставай в одиннадцать и протирай лицо спиртом.

— Глупо, и никого не обманешь этим. Если уж родился овцой, то и живи как овца, а орлу нужно пространство, чтобы взлететь ввысь. Я могу принять форму консервной банки, в которую я втиснут с тех пор, как Христос превратился для людей Запада в третье око; но одно дело — консервная банка, а другое — консервированная сардина. Мне кажется, я знаю, что представляет собой моя консервная банка; а этого достаточно, чтобы отличать себя от нее.

— А отличив себя от нее — бежать...

— Не знаю, смогу ли я убежать,— сказал Хуан.— Но знаю, что мой долг перед самим собою — сделать это. В данном случае результаты значат меньше, чем поступок.

— Твой долг перед тобою,— прошептала Клара.— Считаешься только с собою?

— Только с собою и то в малой степени,— сказал Хуан.— При этом я еще должен вычесть из себя ту свою враждебную часть, которая выросла во мне с целью убить вольную часть моего существа. Того, который должен был быть хорошим, любить своего папочку и не залезать с ногами на стул — в гостях. И остается так мало меня самого; но это малое бдит, оно всегда начеку. Бодлер прав, дорогой мой репортер: это Каин — мятежный и свободный — должен остерегаться мягкого, вязкого, хорошо воспитанного Абея —

Он пристально посмотрел на Клару.

— Кстати говоря,— сказала Клара.— Однако продолжай, не стану тебя прерывать.

(«Он не вязкий»,— подумала она с нелепой нежностью.)

— Все сказано,— продолжал Хуан.— Я рад, что не имею Бога. Меня некому прощать, и мне не надо заслуживать прощения. У меня в жизни нет этого преимущества, этого великого средства — раскаяния. Мне нет смысла раскаиваться, потому что во мне самом нет прощения. Возможно, раскаяния и вообще не существует, а это значит, что судьба полностью в моих руках; я знаю — за отсутствием шкалы ценностей,— что я делаю; и знаю, во всяком случае полагаю, что знаю, почему это делаю; а значит, мой поступок не

подлежит прощению. И если бы я даже раскаялся, все равно бесполезно; я бы впал в сострадание к самому себе, а это уже казуистика; лучше умереть сто раз.

— Это называется гордостью,— сказал репортер, собирая чеки.

— Нет, это называется быть самим собою, быть самому по себе и верить только в себя. Потому что считаю: только тот, кто не собирается кататься на коньках, способен ясно видеть риск этого занятия, и наоборот.

— Маленький сартровский Орест,— усмехнулся репортер ласково.

— Спасибо,— сказал Хуан.— Muito obrigado \*.

На углу Талькауано им пришлось пойти в обход, повинуюсь путаным указаниям муниципального служащего, распорядившегося уличным движением. Бочки, фонари и разноцветные флаги придавали улице вид боевой баррикады, довершенный заблудившимся «шевроле», котормый, переехав запретную черту, въехал передним колесом в провал и выглядел гротескно, как всякая машина, вырванная из привычной обстановки. Диалог шофера с муниципальным служащим достиг такого накала, что — как заметил репортер — недалеко было до рукопашной. Казалось странным, что вокруг ссорившихся было мало народу и зрелище тонуло в тумане, который здесь был очень низким и зловонным.

— Ладно, можем подняться по Талькауано до улицы Лаваже, а там свернуть к метро,— сказал репортер. Он шел впереди, чтобы оставить вдвоем Хуана с Кларой, молчаливо шедших под руку.

На углу площади Правосудия работал автоматический насос, и водяной поток низвергался с лестниц Дворца на площадь. Репортер собирался было задать вопрос пожарнику, но в этот момент властная команда «пуск!» снова привела насос в действие. Два автобуса со служебными номерами с открытыми дверями ждали у въезда на улицу Лаваже. Точно ручьи муравьев, по ступеням вверх и вниз текли вереницы служащих с папками и кипами бумаг; один автобус

\* Большое спасибо (португал.).

уже почти заполнился. «Отправляются куда-то со всей своей музыкой?» — подумал репортер.

— Не знаю, нарочно ли ты это сделал, — резко произнесла Клара. — Но, называя его, ты смотрел на меня.

— Я понял это, когда уже сделал, — сказал Хуан. — Совершенно случайно и, естественно, посмотрел на тебя, заметила ли ты это.

— Как не заметить, — сказала Клара. — Репортер сказал, что видел его во время свалки в театре.

— Не может быть! — Хуан остановился.

— В самом конце среди зевак, вошедших последними. И ему удалось уйти прежде, чем всех вас сгребли.

— Наверное, обознался, — сказал Хуан вяло. — А впрочем, все равно.

— Конечно, но все-таки слишком, — сказала Клара. — Неприятно ходить и все время оглядываться. В ложе мне даже стало страшно. Сейчас-то я с тобой, но может случиться, что я снова почувствую страх, а мне это не нравится.

— Че, поглядите, — крикнул им репортер с угла улицы Уругвая. Огромная машина перевернулась, и десятки ящиков с яйцами вывалились и рассыпались по мостовой.

— А они такие дорогие, — сказала Клара. — Прошу прощения за лишнее замечание.

Хуан молчал, глядел на яйца, раскатившиеся по улице, вдыхал туман, и он скапливался во рту, так что приходилось сплевывать что-то вроде пуха. На углу в дверях дома стоял огромный негр. Клара похолодела, потому что негр насвистывал одну за другой мелодии из «Петрушки», накручивал их одну на другую и высвистывал в туман.

«Словно пузырьки в дыму», — подумала Клара, размягчаясь. И хотела уже сказать Хуану, но тот шел, опустив глаза в землю.

«Словно глазами катит по льду на коньках», — подумала Клара, испытывая удовольствие от получившегося сравнения. Удовольствие было горьким и поднималось изнутри кверху. По руке оно переходило к Хуану, оставалось в нем и приближало ее к ровному и спокойному его дыханию. «Осталось совсем недолго». На часы смотреть не хотелось. «Уже пятый час». Она подумала об Андресе, который, на-

верное, сейчас там, молчит, полный дружеских чувств, с книгой под мышкой (всегда что-нибудь самое неожиданное — Де Куинси, Роберто Арльт, или Диксон Карр, — или Адан Буэносайрес, который так ему нравился, или Тристан Л'Эрмит, или Колетт, — и такой не от мира сего, такой погруженный в дебри своих авторов. Андрес, далекий привет былой бури, запорошенный пеплом образ, иногда вдруг вспыхивающий, разгорающийся пожаром ярости, обличения, —

и как он мог спокойно ходить по улицам тогда, то чуть впереди, то отставал немного, заходил в подъезд, чтобы исследовать дверной молоток или эхо собственных шагов —). Как Хуан, который —

да, как Хуан без стихов, зеленое растение без плодов и почти без цветов. «Андрес, — подумала она, сжимая губы, чтобы не пробрался туман. — Как я позволила тебе упасть».

— Че, да тут объявление, и оно мне совсем не нравится, — сказал репортер, переходивший через улицу. — Как бы не остаться без метро.

Объявление было написано от руки (зелеными чернилами) и приклеено к дощечке, которая в свою очередь была прикручена проволокой к решетке над входом на улице Коррентес:

«Фирма не несет ответственности за регулярность движения поездов».

— Какая фирма? — сказал Хуан, разъярясь. — Разве эта мерзость не государственная?

— Писал какой-нибудь десятиразрядный служащий.

— В безумной спешке, — сказал репортер. — Зелеными чернилами, какая пакость.

— Ладно, пошли, — сказала Клара. — Как-нибудь доведут нас до центра. Хоть и без ответственности.

По скользкой лестнице они спустились в длинный подземный переход. Множество людей столпились в баре, в грязном спертom воздухе плавал дух жареных сосисок. Туман сюда не опустился, но на стенах осела влага, на полу собрались лужи и огромные кучи мусора.

— Уже несколько дней не убирают, — сказал репортер. — Я бы зажал нос классическим жестом —

если бы из-за этого не пришлось открывать рот, что еще

хуже. Я всегда считал, что запах — это вкус, только ущербный; если запах вдыхаешь ртом, можно почувствовать вкус запаха, а представляете, какой вкус у этого желе.

— Слишком ты деликатный,— сказал Хуан.— Сразу видно, не проходил военную службу.

— Не проходил,— сказал репортер.— Зато часто хожу на футбол. Че, остальные-то палатки закрыты. Вот это новость: палатки закрывают, когда людей мало или вообще нет.

— Ты думаешь? Смотри, какое столпотворение у стойки.

— Еще бы. Я убедился, что испанцы дышат языком и умирают от удушья, если не могут говорить,—

а вот буэносайресцы дышат желудком. Едят, едят, сколько едят, мамочка родная! «Baby beef» \* — слышали вы подобное где-нибудь еще?

— Машины по производству какашек. Кто нас так назвал?

— Тот, кто проходил мимо этого бара. Че, беру назад все свои слова. Эти люди не едят.

Издали они видели, как две девушки помогали подняться поскользнувшейся женщине. Репортер был прав. Люди в баре складывали что-то в пакеты, а толстый продавец в грязном плаще торговал.

— Закупают съестное,— сказала Клара и почувствовала страх —

и ощутила, как рука Хуана сжала ее руку.

— Ну и сукины дети,— сказал репортер.— Где здесь телефон? Это же начало черного рынка.

— В вашей газете, конечно, знают об этом,— сказала Клара с горечью.— У вашего Дирека наверняка гараж забит мешками с сахаром и картошкой.

— Чтоб они сгнили,— сказал репортер.— Хуан, дорогой, есть монетки?

— Две.

У начала лестницы валялись скомканные газеты, палка от швабры и обложка журнала «Куэнтаме». Из шахты туннеля донесся лай. Клара взялась было за перила, но с отвращением отдернула руку: они сочились жижей.

— Возьми вытри.— Хуан протянул ей носовой платок и поддержал под руку.— Это мне напомнило случай: однажды

\* Бэби-говядина (англ.).

ночью я вошел к себе в комнату и в темноте взял со стола ноты Седьмой симфонии \*, у которой есть еще одно название — «апофеоз танца». Я взял ноты в полной темноте и вдруг почувствовал: что-то шевелится в ладони. Представляешь мою реакцию: Седьмая полетела в угол комнаты, а я как сумасшедший шарил выключатель. Когда я увидел свою ладонь, на ней еще дергались приклеившиеся лапки сороконожки. Огромное мерзкое членистоногое нашло приют в корешке тетради.

— Я полагаю,— сказала Клара,— ты стер в порошок злополучную Седьмую.

— Нет, че. В таких случаях приходится сдерживаться.

— Слышишь лай? — спросил репортер.

«Представить только, что было время, когда меня волновал Сезар Франк \*\*, — подумал Хуан. — Что мне нравилось пралине...» А Клара думала: лай — Бетховен — дом в Ка-стеларе — Моцарт — «Турецкий марш» — рожки в Пятой симфонии —

все это имело смысл —

непонятный —

глубокий (колодец в лунном свете, жабы) —

гранат-карбункул, слова, прекрасные, как карбункул, как самоцветы —

прикосновение, да, это было —

видение, кто может сказать, о чем — собачий лай, для чего

видение, прикосновение в ночи, стук

сердца, и никаких слов — родник —

обнаженная жизнь —

Так лает, так стучится в дверь судьба —

жизнь, точно

недвижное падение в музыку —

в водоворот звуков,

имеющих название: жар души, красота, останься, завтра —

смерть, самопожертвование, самоцветы, Сандокан —

— Осторожно,— сказал им сторож. Они наткнулись на

\* Имеется в виду Седьмая симфония Бетховена, которую Вагнер назвал «апофеозом танца».

\*\* Французский органист и композитор (1822—1890).

него у лестницы, видимо, он дежурил у выхода на платформу.— Очень возможно, что бешеный.

— Кто,— сказал репортер,— этот пес, что лает?

— Да. Они прибегают из туннеля, этот сегодня уже пятый.

— Раз лает, значит, не бешеный,— сказал Хуан, который читал жизнеописание Пастера.— Пес, страдающий водобоязнью,— существо издыхающее, глаза у него налиты кровью, и кусает он потому, что не может плакать.

— Вы шутите, а вот тяпнет за ногу...

— Пятый за день? — спросила Клара.— А откуда они берутся?

— Не знаю, уже несколько дней такое. Вон смотрите, тащится.

Инстинктивно они отпрянули. Пес брел по платформе, тощий и лохматый, голова опущена к земле, язык болтается тряпкой. Немногие пассажиры, ожидавшие поезда на платформе, закричали, чтобы привлечь внимание дежурного, и тот суетливо замахал шваброй. Пес остановился метрах в двух от швабры и одышливо заскулил. Вполне мог оказаться и бешеным. Из глубины туннеля приглушенно ему ответил лай.

— Как они сюда попали? — сказала Клара, прижимаясь к Хуану.

— Эти куда только не влезут,— сказал дежурный, не сводя глаз с пса.— Я уже десять раз звонил на центральную станцию, чтобы прислали живодеров и отстреляли собак, да там, видно, спят. А еще эта заваруха с поездами, в Агуэро поезда столкнулись, ну и жизнь пошла.

— Наверное, бегут от жары,— пробормотал Хуан.— А может, от тумана. Спускаются в темноту. Но почему лают, почему у них такой тоскливый вид?

— Бедный пес,— сказала Клара, глядя на собаку: та, тяжело дыша и дрожа, легла на край платформы и озиралась.

— Не бешеная, так сбесится,— сказал репортер.— От жажды и от страха. Че, погляди-ка там, в глубине, в глубине туннеля.

Из глубины туннеля, почти у самой земли, на них смотрят



рели два глаза. Секунда-другая, и показался белый ком — из туннеля бежала собака. Послышался гул — с запада шел поезд.

— От него же мокрого места не останется,— сказала Клара.— Может собака уйти от поезда?

— По обе стороны путей есть узкие тротуары. Пойдем, это наш.

Они сошли с лестницы, прошли мимо дежурного, который со шваброй наготове не отрывал глаз от пса. Поезд быстро приближался и, подходя к платформе, дал свисток. Клара с Хуаном глядели на пса: животное не трогалось с места, безучастное ко всему, только чуть подрагивала голова. Дежурный кинулся к нему и хрястнул шваброй поперек туловища; он хорошо рассчитал: пес рухнул на рельсы за секунду до того, как поезд промчался по ним, и псиный вой, как и крик Клары, потонул в визге тормозов и лязге железа.

## V

— Смотрите.

Продавец Лопес с видом энтомолога демонстрировал вырезку из газеты «Ла Насьон».

— «Население предупреждают, что до результатов анализов, которые в настоящее время проводятся Министерством общественного здоровья —

Он читал и прищелкивал языком, внутренне осуждая, откашливался —  
не следует употреблять в пищу грибы, появившиеся вчера вечером, в очень небольших количествах, в столице».

— Ну, сеньор, это уже конец света.

— Что — грибы или то, что их нельзя есть? — спросил Андрес со вздохом.

— То, как об этом сообщают. Лицемерие, сеньор Фава,—

вот как я это называю. Лицемерие. Пудрят людям мозги. Как будто кто-то собирался есть эту пакость.

Он загадочно понизил голос. Знаками он пригласил Андреса (старый продавец — старый клиент) за высокую пирамиду продукции издательства «Сантьяго Руэда», «Акме», «Лосада» и «Эмесе». Согнулся, разглядывая что-то на нижней пустой полке. Потом выпрямился, торжествующе сопя и оглянувшись по сторонам с невинным видом, и знаком предложил Андресу наклониться и поглядеть. В глубине полки слабо фосфоресцировали серебристые грибочки. Андрес оглядел их с интересом, такие он видел первый раз.

— От этой грязной сырости, — сказал продавец Лопес. — Пусть рассказывают сказки, я-то знаю, что к чему. В жизни не помню такой жары и такой жуткой сырости.

— Верно, — сказал Андрес. — Липкая к тому же, как Рахманинов. Однако не верю, что эти грибы...

— Верьте, сеньор Фава. Это от сырости началось, от сырости. Я говорю сеньору Гомаре: надо что-то делать. Смотрите, как книга покоробилась, на что это похоже...

Андрес взял в руки том под названием «Радуга», книга была мягкой и пахла жиром.

— Никогда не думал, что книга может гнить, как человек, — сказал он.

— Ну уж... — Продавец, похоже, был шокирован — гнить —

есть же слова, вполне пристойные,

обозначающие то же самое,

но эта молодежь, как она любит —

просто для эпатажа, только и всего —

Андрес расхаживал по просторному залу в нижнем этаже книжного магазина «Атенео». «Студенческие годы, — думал он, вытирая ладони, — мои жалкие песо, бумажки по пять песо... Все, как тогда. Какую книгу я купил первой? Не помню —

но не помнить — это все равно что убить, предать. В один прекрасный день я пришел сюда, вошел в эту дверь, нашел продавца, попросил книгу —

а теперь не помню какую».

Прислонившись к красноватой колонне из словарей Ка-

сареса, он закрыл глаза. Постарался вспомнить. Голова закружилась, и он открыл глаза. Тихонько стал насвистывать:

It's easy to remember  
but so hard to forget — \*

Но одно из первых своих посещений вспомнил: он купил тогда Эшила, Софокла, Теокрита, выпущенных в Валенсии издательством «Прометей» по одному песо за книжку, — а разве не Бласко Ибаньес вел эту серию? —

а еще (в другой раз) «Портрет Дориана Грея» в серии «Новая библиотека». Ему вспомнились магазины старой книги, где книги продавались на вес. Там он купил О'Нила, «Двадцать стихотворений о любви» \*\*, «Сыновья и любовники» \*\*\*. И оттуда — сразу в кафе («Официант, пожалуйста, чашку кофе и нож»), разрезать книги, предвкушая удовольствие, какое счастье. Дни были высокими, а нужда только помогала счастью.

«Вкус, аромат сигарет, — подумал он. — И тень деревьев на площади». Он взял книгу из стопки, положил обратно. Каждую минуту приходилось вытирать ладони. Он поднял глаза и увидел служащих, ходивших на втором этаже вдоль перил; они походили на насекомых, один насвистывал «Песню Сольвейг». «Вот бестия», — подумал Андрес с нежностью. В «Атенео» он зашел купить последнюю книгу Рикардо Молинали; входя, он остановился в дверях, глядя на шествовавших мимо членов организации «Восемьдесят Женщин». Первая несла странный плакат — некоторые газеты уже обсудили его — что-то насчет Сивилловых пророчеств и призывы вступать в их ряды, —

НЕ ТЕРЯЯ НИ ДНЯ,  
ИБО И ОДИН ДЕНЬ МОЖЕТ ПОГУБИТЬ ТЕБЯ,  
О ЖЕНЩИНА,  
СЕСТРА ВОСЬМИДЕСЯТИ,  
КОТОРЫЕ МОЛЯТСЯ, МОЛЯТСЯ —

и все это под музыку, под бешеный треск пластмассовых

\* Но вспомнить так легко,  
а вот забыть — непросто (англ.).

\*\* Поэтический цикл Пабло Неруды (1904—1973).

\*\*\* Роман Д. Г. Лоуренса (1885—1930).

кастаньет,

## О ЖЕНЩИНА —

а с грузовика, на котором были установлены репродукторы, заунывно вещала прозелитка.

«Очищение,— подумал Андрес, глядя на них.— Чего они боятся, какие знамена разгадывают...» Процессия ненадолго остановилась и потом затерялась, уйдя вверх по улице Флорида. Когда Андрес вошел в «Атенео» (было четыре часа пополудни), еще один грузовик быстро проехал мимо, выкрикивая в усилитель официальное сообщение, в котором упоминались грибы.

— Какая жара, Фава,— сказал Артуро Планес из-за стопки книг серии «Колексьон Аустраль».— Как поживаешь, старик?

— Да ничего. Вот слушаю, что говорят.

— Говорят еще и не такое,— сказал Артуро, протягивая ему большую красную руку, по которой струился пот.— Я сыт по горло разговорами. Ты-то, кажется, живешь не в центре, а мы тут...

— Представляю. Быть продавцом на улице Флорида — да уж — кошмар, да и только —

— К тому же — продавцом книг, это так скучно,— пожаловался Артуро.— Хорошо хоть в последние дни у нас есть чем развлечься. Ты не поверишь, но на втором этаже — (он давился от смеха, поглядывая наверх) —

че, потрясающе —

там, наверху, ее просто утащили. Говорят, что она — подпорченная, что-то в этом роде. С позавчерашнего дня, когда поднялся северный ветер.

— И что они делают? — спросил Андрес, рассеянно поглаживая томик рассказов Луиса Сернуды, и вспомнил:

Какой тебе прок от лета,  
соловей, на снегу застывший,  
коль жизненный краткий путь  
не даст свершиться мечтаньям?

— Моются,— сказал Артуро, отступая.

Продавец Лопес прошел мимо со стопкою изданий Капелюша в руках, и две робкие отроковицы шли за ним по пятам, словно боясь, что их книги потеряются. Андрес гля-

дел на них отрешенно. «Все проходит, — подумал он, — и эти угомонятся, сядут изучать реки Азии, изобары —

унылые изотермы». Одна из девушек поглядела на него, и Андрес чуть улыбнулся ей; она опустила глаза, потом снова поглядела на него и окончательно о нем забыла. Он почувствовал: его образ распадается в сознании девушки, превращается в ничто. Капелюш, изотермы, среднее статистическое, Тайрон Пауэр, «I'll be seeing you», Викки Баум.

— Че, да ты слушай, что я говорю, — жалобно сказал Артуро. — Ты что, тоже шархнутый?

— Конечно, — сказал Андрес. — Так, значит, моются?

— Да, посреди конторы. Клянусь тебе всем самым святым. Погляди сам, поднимись наверх, иди, иди, не бойся. Я просто не могу оставить отдел. Иди и потом мне расскажешь. Кстати, может, купишь какой-нибудь кирпич у меня в отделе?

— А какой у тебя отдел?

— Градостроительство и дорожное дело, — сказал Артуро, немного стыдясь. — Про железобетон и функциональные города.

— Это действительно не по моей части, — сказал Андрес, кладя на место томик Сернуды. «Беззаботный, — вспомнил он. — Построить жизнь так, чтобы в один прекрасный день ты оказался в каменном доме, а у порога — песчаный берег и водяная гладь без конца и края...» Он улыбнулся, услышав новый лай репродуктора на улице. Монахиня, сопровождавшая перепуганную молоденькую девушку, разглядывала стопки серии «My first English book», капельки пота собрались на тонком темном пушке над верхней губой, время от времени нетерпеливым движением она отгоняла муху. Продавец Лопес с сеньором Гомарой закрывали двухстворчатую дверь, чтобы не впускать туман, уже скрывший от глаз противоположную сторону улицы.

Лестница была пуста. Он прошел меж столов и полок безо всякого воодушевления, ища то, что доставляло такое удовольствие Артуро. Перегнулся через перила («Теперь и я похож на насекомое», — подумал Андрес), знаком выразил недоумение. Артуро энергично указал пальцем в сторону служебных помещений. Андрес увидел маленькие окошечки

и вспомнил, как однажды просил кредита на покупку Фрейда, Жироду, Гарсиа Лорки; все прочитано, за все заплачено, почти все забыто. Из небольшой двери справа чересчур резво выскакивали служащие, дверь почти примыкала к перилам, и Андресу показалось —

СЕСТРА ВОСЬМИДЕСЯТИ,  
КОТОРЫЕ МОЛЯТСЯ,  
МОЛЯТСЯ

— голос был прилушенный,  
но в нем слышался отзвук уличной трескотни и автомобильных клаксонов,—

показалось, что они чудом сдерживались (один был невероятно бледен, другие, наоборот, красные и слишком суетились) —

словно повинуюсь строгому приказу. «Меня туда не пустят,— подумал Андрес.— Какая жалость, что нет рядом Хуана с репортером». Слева зазвонил телефон, и бледный служащий —

теперь уже семь или восемь служащих, выйдя из конторских дверей, поднимались по лестнице —

подскачил к трубке. «Вы ошиблись»,— услышал Андрес. Не успел служащий положить трубку, как телефон зазвонил снова.

— Нет, нет. Вы ошиблись,— повторил бледный молодой человек и умоляюще поглядел на Андреса, словно тот мог ему помочь.

— Сейчас снова позвонят,— сказал Андрес, и телефон зазвонил.

— Добрый день. Нет, нет, вы ошиблись. Набирайте аккуратнее. Да, другой номер. Нет. Звоните на станцию. Не знаю.

— Скажите, чтобы набрали девяносто шесть,— сказал Андрес.

— Набирайте девяносто шесть. Все, я вешаю трубку.— И он замер, глядя на трубку в ожидании. С середины лестницы позвали: «Филиппелли, Филиппелли!» — и бледный продавец удалился, оставив Андреса наедине с телефоном, который снова зазвонил. Андрес, смеясь, поднял трубку.

— Я попала к Менендесам? — произнес тонкий, но довольно требовательный голос.

— Нет, в «Атенео».

— Но я набираю номер...

— Лучше, если вы закажете разговор через телефонистку,— сказал Андрес.

— А как это сделать?

**ИБО И ОДИН ДЕНЬ МОЖЕТ ПОГУБИТЬ ТЕБЯ —**

— Наберите девяносто шесть, сеньорита.

— Ах, девяносто шесть. А дальше —

**О ЖЕНЩИНА —**

— А дальше попросите телефонистку. И расскажите, что происходит с номером...

— Менендесов,— сказал голос.— Благодарю вас, сеньор.

— Желаю удачи, сеньорита.

— Мне нужно...— снова сказал голос, и затем в трубке щелкнуло. Андрес подержал немного трубку в руке, ни о чем не думая, вживаясь в телефон,—

а телефон — это такая вещь, в которой на секунду что-то твое и что-то другого человека

соединяются, не становясь единством,

**О ЖЕНЩИНА —**

и слушают друг друга, но зачем,—

и кто это будет в следующий раз — с кем ты соединишься, не становясь единством,

на секунду прикоснешься

к ничто, к Кларе, например, как в тот раз — к Кларе —

**НЕ ТЕРЯЯ НИ ДНЯ,**

**СЕСТРА ВОСЬМИДЕСЯТИ!**

Он положил трубку на рычаг. Посидеть немного на обитых кожей скамьях, посмотреть сверху, утешаясь мыслью, что смотришь на других сверху вниз, на лысину продавца Лопеса, на подобные вареным крабам руки Артуро Планеса, на книги —

**КОТОРЫЕ МОЛЯТСЯ, МОЛЯТСЯ.**

Но он воспользовался тем, что путь к двери в служебное помещение был свободен, поскольку служащие, похоже, не обращали внимания на посторонних. Дверь слабо светилась; из-за перегородки матового стекла слышались плеск

воды, глухое покашливание, шепот многих голосов. Он вошел, засунув руки в карманы пиджака, не глядя ни на кого в отдельности, пропустив прежде толстого седого сеньора, который наткнулся на дверь и чертыхнулся (не столько в адрес двери, сколько в свой собственный) и, войдя, расчистил для Андреса широкое пространство, так что тот мог, прислонясь к полкам, набитым библиоратами, наблюдать сцену, немного ослепленный желтым светом, падающим в огромные окна, за которыми туман уже стирал очертания зданий напротив. Когда он привык к желтому свету и смог уже разглядеть ванну посередине (письменные столы были сдвинуты, образуя как бы маленькую цирковую арену, маленький уличный цирк, и даже опилки на полу) —

*Не следует употреблять в пищу —*

он увидел у края ванны начальницу отдела кредитов, а по обе стороны от нее — двух девушек и еще мужчин (восемь или девять поодаль, теснившихся у края этой самой — да, конечно, это была ванночка, цинковая детская ванночка, формой напоминающая плавучий гробик, изящно окантованная серенькая ванночка, которую вода наполнила белыми звездами, синими отсветами —

как бы прервавших на минуту какую-то церемонию. Задняя часть помещения тонула в полумраке, желтый свет освещал только круг в центре (но Андрес успел увидеть и других служащих, толпившихся в глубине, кожаный диван и длинную фигуру, лежащую на нем, не то спящую, не то в обмороке). Никто почти не разговаривал в этот момент, и хотя женщины посмотрели на Андреса и он был совершенно уверен, что его присутствие замечено, тем не менее все шло своим чередом, и начальница кредитного отдела сделала знак одному из мужчин, и тот выступил вперед —

*в ожидании результатов анализов —*

(«Как они долбят по темечку этими анализами», — сказал кто-то в глубине комнаты) —

и подошел к ванночке, ожидая от начальницы кредитного отдела следующего знака, чтобы, повинувшись ему, медленно нагнуться, опустить ладонь в воду, зачерпнуть ее и, наклонив голову, омыть рот и подбородок, —



меж тем как одна из девушек поджидала с полотенцем, уже довольно мокрым, и начальница кредитного отдела сказала что-то, чего Андрес не расслышал, потому что как раз в этот момент шел мимо окон к людям, столпившимся вокруг человека на диване. Продавец Лопес направлялся туда же с другого конца комнаты, страшно возбужденный, неся в руках губку, смоченную в уксусе (пахло уксусом, хотя позже Андресу подумалось, что это мог быть и нашатырный спирт или смесь солей вроде тех, что Стелла носила в сумочке в те дни, когда —

хотя больше всего это походило на уксус). За спиной он слышал перешептывания, плеск воды. «Они потеряли голову», — подумал Андрес, а потом подумал, что нет, что как раз голову-то они и спасали; техника очищения —

потому что это был один из способов, О ЖЕНЩИНА, хитроумных способов —

да, проводили губкой по губам, и тут Андрес в подробностях разглядел человека на диване: вытянувшуюся недвижимую фигуру, лицо (да, теперь-то он понял, с него сняли очки, один из служащих держал их в руках), которое столько раз видел на лекциях, густые брови, щеки без растительности, тощую шею, на которой висел мятый и смешной синий галстук, узел галстука был отпущен. Он не знал, кто это, но испытал шок узнавания, чувство братства, возникающее в группе, команде, в помете —

«Только не братства, — подумал он, — скорее чувство уверенности от мысли, что всегда будем встречать те же самые лица и в книжных магазинах, и в Обществе писателей, и в Заведении, и в концерте. И этот...» Он встречал его в картинных галереях, в кинотеатрах, где они оба (теперь он осознал этот параллелизм) досиживали до конца на фильмах Марсея Карне или Лоуренса Оливье. «Он бывал на концертах Исаака Стерна, — подумал Андрес, вдруг испытывая тоскливое чувство, — был на последней выставке Батля Планаса, на лекциях дона Эсекьеля, на занятиях Борхеса в Обществе культуры —»

— Ему стало плохо у двери, — сказал продавец Лопес, узяв Андреса.

— Стоял, отбирал книги, а потом видят: он падает. Вот

это приведет его в чувство, а ты, Освальдо, принеси лучше воды, да погляди, нет ли коньяку. Такая жара —

Но он знал (и Андресу было ясно, что он знал: все это знают), что губка была просто жестом, и уксус (с нашатырем) — тоже жестом.

— А врача нет? — прошептал он устало, цепляясь за край дивана.

— Ничего страшного, просто обморок. Такое тут не в диковинку.

Андрес смотрел на тело: темные волосы, короткие и нечистые, грязные ботинки, длинные ноги. Рука (огромная, худая) покоилась на колене, другая, вывернутая ладонью кверху, словно просила что-то. Из-под ресниц сквозило зеленым. «Кто бы это мог быть? — подумал Андрес.— И почему вдруг —». Он прикрыл глаза, чуть покачнулся. Продавец Лопес кинул на него беспокойный взгляд. Андрес открыл глаза, почувствовав в носу ожог нашатыря. Глубоко вдохнул, улыбнулся.

— Ничего, чепуха, — сказал он, отстраняя губку. — Кто этот человек?

— Не знаю, — сказал продавец Лопес. — Приходил часто, но его счета у нас не было. По-моему, очень молодой, я иногда его обслуживал.

Все смотрели на тело. Андрес снова услышал плеск воды за спиной, шепот. Прежде чем уйти — потому что, действительно, ему тут нечего было делать, — он остановился в изножье дивана и поглядел на мертвеца, охватил его взглядом с головы до ног. Ему показалось, что рука, лежавшая ладонью кверху, чуть заметно сжималась: но это была игра света.

Сидя на ступеньках прислонясь к стене, он смотрел на ботинки, сбегавшие вниз и вверх по лестнице. Прошел продавец Освальдо со стаканом воды. Прошел бледный молодой человек, подходивший к телефону.

— Не знаю, что и думать, — прошептал Андрес. — Умер ли он вовремя или достоин был продержаться еще какое-то время? Какое право имел он умереть так, именно сейчас? Ну и фокус.

Он чувствовал раздражение, перед глазами стояло лицо, такое белое, невыразительно-гладкое, с выступающими скулами, слабым подбородком, запавшими висками. «Эскапист, смылся,— подумал он зло.— С одной стороны — туман, с другой — «Восемьдесят Женщин», вот и сбежал. Трус». Но жалость побеждала. Теперь ему отчетливо представлялась тощая фигура в коридорах «Одеона», вспомнилось, как однажды они случайно наткнулись друг на друга, обменялись извинениями возле касс в кинотеатре. И всегда — один, иногда разговаривал с друзьями, но всегда — один. Кто он был? Должно быть, от него остались книги, пластинки. Горько усмехнувшись, Андрес упрекнул себя в потребности все квалифицировать. Единственно ценное, что он мог сказать, была фраза Марло по поводу Лорда Джима: «He was one of us» \*. Но, по сути дела, она ничего не объясняла.

«Ну вот,— подумал он.— Теперь он начнет гнить. Пройдет через все стадии нормального трупа». Странно, при этом он видел себя самого, он думал о том мертвец, а видел себя, видел, как разлагается он сам. А как же иначе? Если в чем-то и можно быть уверенным, то именно в этом финальном превращении в мыло; предвидеть это (даже если тело само отпрядывает назад, словно конь, увидевший скелет) означает почти достичь нравственного совершенства. Пронести до последнего вздоха, до последней черты ощущение жизни, своей человеческой ипостаси. «Я не кончаюсь со смертью,— подумал он, обжигая рот сигаретой.— Я был моим телом, и я должен быть верен ему, быть с ним до самого конца. Воображение доходит до двери и там прощается, любезная гостья. Нет, давайте выйдем на улицу, пойдем и дальше вместе. Если со смертью я кончаюсь, то что это за ощущение жизни, которое я сейчас испытываю, это ощущение себя, которое ужасным образом продолжается во мне ночь за ночью, раздувается, разрастается, разрывается и съезживается. Самое меньшее, на что я способен, это предвидеть его разрушение, взглянуть на него еще из жизни. О Орканья \*\*, художник, живописующий гниение —».

\* Он был один из нас (англ.).

\*\* Андреа Орканья (1308—1368) — итальянский художник, скульптор, архитектор.

Мимо проходили люди, украдкой бросали на него взгляд. Прошел один с чемоданчиком. Должно быть, вызвали врача. «К чему? — подумал Андрес. — Исколют ему руки и грудь, станут вводить корамин, доказывая полную свою бесполезность, примутся трясти, раздевать, унижать». Ему хотелось вернуться и прокричать им, что этот человек уже мертв. Все это прекрасно знали и все-таки надеялись, что это простой обморок, не более.

— Я становлюсь старым, — прошептал Андрес. — И сентиментальным.

Со своей ступеньки он видел людей, покупавших книги, видел Артуро, трудившегося в своем отделе. Снова открыли двери, как будто тумана стало меньше, но с улицы уже не доносились прежние шумы. Прошел продавец Освальдо с тем самым стаканом воды. Андрес видел, что стакан полон. «Странно, что он не додумался выплеснуть его в ванночку». В голову пришла ужасная мысль: может, они положили в ванну мертвеца, чтобы он очухался. «Ну, конечно, и форма у нее подходящая». «*Ars moriendi*» \*, однако умирать — вовсе не искусство. «В этот день я узнал, что уже умирал не однажды — », так отчетливо, безо всякой торжественности; это не спектакль, как сны, это легкий переход, легкий, как птица: смерть повторяется — возвращается —

«Гнить еще раз, сгнить столько раз, сколько она вернется. Принудительное освобождение на определенное время — к солнцу» —

The Sunne who goes so many miles in  
a minut, the Starres of the Firmament,  
which goes many more, goes not so fast,  
as my body to the earth.

Donne \*\*

«Шантаж души, какая чушь, — подумал Андрес. — Трубы воскресят тела. Разве не так сказано? Из них — все солнце,

\* «Искусство умирать» (лат.).

\*\* Солнце, проходящее много миль за одно мгновенье, Звезды на небосводе, летящие еще стремительнее, не движутся с такой неумолимостью, с какой мое тело движется к земле.

Джон Донн (англ.)

весь космос. Каждая смерть отрицает мир: я — не есть моя смерть, я есть мир, и я его утверждаю, как апельсин утверждает солнце. Я не есть моя смерть: я отбрасываю ее в глубину моего существа, в такую далекую даль, что неизвестно, где она; это мой предел, а поскольку предел моего тела не есть мое тело — хотя и вычленяет его из воздуха и делает его сущим —».

Он был готов поклясться, что эта круглая шляпа в отделе прозы, —

но ее уже не было видно.

«Умереть — это как писать, — думал Андрес. — Да, дорогой Паскаль, да, каждый умирает в одиночку». Он вспомнил свои первые литературные опыты, свои первые неуклюжие рассказы. И как он потом обсуждал их с товарищами: и мысли, и постановку вопроса, вспомнил всю ту атмосферу. А потом он писал пьесу и пил горький мате ночами, иногда черный кот сидел у него на коленях, такой чужой, но такой теплый. А он один на один с чистым листом бумаги, без свидетелей. Как в минуту смерти — ведь служащие не видели, как тот человек умирал, видели только, как он падал. А может, в тот миг он был с людьми, думал о ком-то; а может, последним промелькнувшим перед ним образом был корешок книги или торопливый цокот каблучков за спиной. «Если бы хоть одна книга могла подняться до высокого достоинства смерти, — подумал Андрес, — или наоборот —». Вот оно, искушение метафорой, смерть просто приглашала объять ее словом, увести с улицы, наделить ее свойствами, дабы отринуть отрицательное.

Ну конечно, он опять тут. Что за совпадение. И Артуро разговаривает с —

«А раз так — смерть меня не касается, — подумал Андрес шутливо, и горло у него перехватило при воспоминании о человеке, лежавшем наверху. — Если я есть, то это — жизнь, разве не так? Я жив, я есть, потому что жив. И я не вижу, как я могу перестать жить без того, чтобы перестать быть тем, что я есть. Вот это довод, просто чудо.

А из этого совершенно очевидно следует, что —

если, умерев, я перестаю быть собой,

значит, умерший — другой человек. А следовательно, ка-

кое мне до этого дело? Я могу пожалеть его отсюда, из сей минуты. Это сия минута жалеет, что тот, кем был я, умер. Бедняга, такой достойный человек. Писал эссе и все такое прочее. У него было будущее, а теперь — сплошной плюсквамперфектум...» Он закурил еще одну сигарету, с удивлением глядя, как дрожат у него пальцы. Абель стоял перед книгами по экономике, опустив руки в карманы — да, да, обе руки — в карманах, —

и отрицательно чуть мотал головой, наверное, каким-то своим мыслям, синяя широкополая шляпа покачивалась. Андрес сразу забыл о нем —

фигура, вытянувшаяся на диване, заслонила все, жесткая и бесполезная. Труп чудовищным препятствием заступал путь.

«Этот парень должен был бы подойти и сесть со мной рядом, — подумал Андрес. — Оставить того, другого, на диване, если его, конечно, не сунули в ванночку, —

прийти сюда и сказать мне: «Да, умер, но мне, который был его жизнью, какое мне до этого дело». И мы бы вместе покурили».

А если он не идет, если он не идет, —

значит, дело серьезное. «Если он не идет, значит, это не продумано до конца; что-то ужасное препятствует такому раздвоению. Значит, живой уходит вместе с мертвым. Но такого не может быть, это несправедливо, это недостойно. Только что я так отчетливо чувствовал, что это не я умру в один прекрасный день... Не может быть, чтобы он, в том или ином виде, в виде воздуха, или образа, или звука, не был бы здесь, не ходил бы тут, как ему вздумается...»

Андрес опустил голову — устал. «Все это — не более чем рассуждения, ты придумал себе двойника, как другие — душу. Ты опоздал, старик, ты повторяешь уже сказанное...» И тем не менее он сам только что познал, что его удел — только жизнь, только жизнь — он, а другое...

— В таком случае это — грабеж, — пробормотал он, швыряя окурки и давя его ногой. — Хватит фантазировать. Не проси от прозы того, что дает только поэзия. Неплохо сказано? Десять минут шестого, у ребят экзамен. Ну-ка взбодрись, жизнелюб.

У лестницы Артуро встретил его смехом.

— Тебе тоже лицо умыли?

— Нет, но этого мне как раз и не хватает,— сказал Андрес, оглядывая свой грязный и мокрый носовой платок.— Я подумал, что неудобно, что я для «Атенео» всего лишь постоянный клиент с десятипроцентной скидкой...

— Да они с ума посходили,— сказал Артуро, приходя в возбуждение.— Этот идиот Гомара заставлял и меня. Они чокнутые, че.

— Помыться никогда нелишне,— сказал Андрес.— Я бы на твоём месте пошел. Вышло очень забавно: там мертвец, а ему оказывают первую помощь.

— Скажешь тоже.— Артуро бросил на него взгляд искоса.

— Поди посмотри, если не веришь.

— Ты меня дурачишь.— Он смотрел на него не видя, изо всех сил сдерживался. И вдруг хохотнул (но Андрес уловил хрупкую грань, когда хохоток сорвался на рыдание) и кинулся вверх по лестнице. Андрес медленно поднял голову, дал ему время взбежать и проследил за ним взглядом; тот шел совсем близко к перилам и не свернул, столкнувшись с продавцом Лопесом. Отступив в сторону, продавец Лопес посмотрел ему вслед. За Лопесом шел врач с чемоданчиком.

«До чего странно,— подумал Андрес с интересом.— Как он всегда ускользает».

Он искал Абея за полками, за лифтом на лестничной площадке, возле кассы. Он вышел на улицу, хотелось пройти пешком, понюхать желтый запах. На углу улицы Коррьентес развернули пункт медицинской помощи; сквозь туман видны были практиканты в белых блузах и медицинские сестры; медпункт расположился на тротуаре Майорги (там делали инъекции и раздавали памятки насчет опасных грибов), но, по сути дела, медпункт простирался до самой середины улицы —

где, сразу же за провалами мостовой на углу Майпу,— муниципальный служащий лично распорядился перекрыть движение как на Майпу, так и на улицах Эсмеральды и Лаваже. Проезжать могли только машины «скорой помощи»,

и то лишь по северному тротуару Коррьентес, а заезжали со стороны Суипачи, и санитары ждали возле «Биньоли», чтобы подбирать тех, кому станет дурно, или интоксцированных. На тротуаре у «Трапиче» стоял грузовик федеральной полиции в полной боевой готовности на тот случай (чересчур живое воображение буэносайресцев всегда тяготеет к преувеличению), если вдруг возникнет паника на территории медпункта.

— Пожалуй, они не смогут пробраться на Факультет, — сказал Андрес, по старой доброй привычке разговаривая сам с собою на улице. Он рассеянно слушал сообщение по громкоговорителю: перечислялись санкции против торговцев, которые закрывали лавки раньше установленного времени. Магазин «Биньоли» был закрыт и «Рикорди» — тоже. На тротуаре остановился пикет, с интересом наблюдая за свирепо дерущимися дворнягами. И хотя был еще белый день, вся зона вокруг медпункта освещалась прожекторами, установленными на крышах и балконах. То и дело слышался вой сирены. Машины «скорой помощи» (наверное, их было очень много) издали короткими гудками оповещали о своем приближении. Люди, похоже, уже не слышали их, однако странно, что столько народу толпилось на улице и на углах и полиция не мешала им скапливаться, хотя они и мешали медпункту работать. Людская колонна (точнее, плотная группа людей) поднималась по улице Флорида, прошла мимо медпункта и пошла дальше, —

когда они пересекали Коррьентес, лучи света метались по грязным лицам, по всклокоченным волосам, по детишкам, жующим орехи и запивающим их кока-колой, по волглой от тумана одежде, и видно было, что в толпе жара еще нестерпимее, —

в сторону Лавалье, и там снова пропала в желтоватой туманной полутьме. Андрес скользил вдоль медпункта, стараясь сквозь глазки в брезенте увидеть, что творится внутри. И никто не сказал ему ничего, когда он вошел в первый же проем, туда, где устанавливали носилки с отравленными. Свет падал сверху, как на цирковой арене, и все выглядело по-цирковому, начиная белым, с огромными пятнами крови, халатом врача, склонившегося над телом парнишки; две



медсестры рывком стаскивали с него штаны, чтобы сделать укол в ягодицу. Парнишка постанывал с закрытыми глазами, словно ему было страшно или стыдно. Медсестра засмеялась и шутливо потрепала его по щеке. Наверху у прожектора кружились летние насекомые, предвосхищая ночь; бабочка с пепельными крыльями, трепеща, двинулась по рукаву Андреаса. Андреас нежно притронулся к ней, словно это была щека ребенка. Внесли двух пострадавших в дорожном происшествии, а со стороны пассажа «Майорга» подошли практиканты и медсестра. Одна из медсестер поглядела на Андреаса, застывшего на месте. Справа на носилках беспокойно двигалась старая женщина, бабочка слетела с рукава Андреаса и упала на волосы женщины.

— Иди отдыхай, — сказал один из вновь пришедших врачей тому, что делал укол парнишке. — Есть горячий кофе.

— Ладно, посмотри, что с этой.

Он прошел мимо Андреаса. Они узнали друг друга и не удивились.

— Ты что, старик, — сказал врач, — неважно себя чувствуешь?

— Нет, просто зашел посмотреть.

— А, да что тут смотреть? Пошли выпьем кофе. Че, столько лет не виделись.

— Со времен наших сборищ в подвальчике, — сказал Андреас. — Тысячу лет назад —

(и по старинной засушенной ассоциации вспомнил старую пластинку Кюлемкампа, исполнявшего «Сицилианку» фон Парадиза, хотя на сборищах в подвале эту пластинку не играли. Там больше шел Армстронг и «Петрушка» или «La Créacion du Monde».)

— Я вижу, ты занят, — сказал Андреас, лишь бы что-то сказать и надеясь уйти от этого пустого, ненужного — как и многие другие — катализатора воспоминаний.

— Тут с ума сойдешь, — сказал врач. — За несколько часов я повидал сотни четыре задниц, и, надо сказать, попадались весьма недурные. Иди сюда.

Они вошли в другой отсек, почти темный, где родственники ожидали, когда им вернут больных. Врач расчищал

дорогу локтями, но Андрес видел: делал это он не по злобе, а просто устал до крайности, и все ему опостылело. Они пристроились в отгороженном углу, три квадратных метра, не более. Солдат, распорядившийся полевой кухней, скроил недовольную мину, когда доктор попросил кофе.

— Придется подождать. Этот злосчастный Ромеро...

— Что случилось?

— Сбежал. Обделался со страху и смылся. Все хозяйство оставил на меня.

— Ничего,— сказал доктор, доставая сигарету.— Он — несчастный гаучо и мало чего понимает.— Потом заговорил тише, пристально глядя на Андреса:— Если бы я тебе сказал, что только что ушел самолет и что...— он остановился, глядя на солдата.— А, да зачем горячиться!

— И давно ты тут?

— Два дня не сплю. Сначала дела были плохи в Линьерсе и в Ла-Боке. А со вчерашнего вечера...— Он затыкался долго и глубоко, а потом со стоном выпускал дым.— Ну и жизнь, старик.

Он глядел на Андреса равнодушно и, по сути, разговаривал сам с собой, а Андрес служил ему просто удобным зеркалом. Андрес улыбнулся, довольный, что тот по крайней мере не соскользнул на доверительный тон. Мухи расхаживали у него по рукам, и он их не трогал. «Молодость, прекрасная пора,— подумал он вяло.— Какой кошмар эти встречи. Встречи выпускников, серебряные свадьбы, вручение почетных грамот, помнишь, старик, какие были славные времена —». Его передернуло, и он отвел взгляд. Доктор разговаривал с солдатом, тот показывал ему пятно на тыльной стороне ладони. Андрес молча попятился и через отверстие в брезенте вышел на улицу. Моросил дождь.

— Но у тебя же все брюки мокрые,— сказала Стелла.— Это вода?

— Хуже: вино,— сказал Андрес и рухнул на стул.

— Вино! Как тебя угораздило вымокнуть в вине? Вся левая нога.

— Рядом с Сан-Мартинем в битве при Тукумане, детка,— сказал Андрес.— Официант, пива! Тащи бутылку.

— Я уж думала, ты никогда не придешь,— сказала Стелла.— Что произошло?

— Сначала расскажи мне, каким чудом ты добралась.

— Не чудом,— сказала Стелла,— а девяносто девятым.

— Разве они еще ходят?

— Ходят, но одна сеньора сказала, что этот был последний,— что один полицейский слышал, как об этом сообщили инспектору.

— Итак,— сказал Андрес,— главное, что ты добралась.— Он выпил два стакана пива и еще стакан воды. И почувствовал, что он глупо счастлив. Он протянул руку и коснулся Стеллиных волос. На пальцах осталась пушинка, и ему пришлось поработать другой рукой, снять пушинку. А Стелла ждала его рассказа.

— Ну вот, чтобы ты поупражнялась в английском, я прочту тебе кусочек из Уильяма Блейка,— сказал Андрес, совершенно счастливый.— *Sund'ring, dark'ring, thund'ring! Rent away with a terrible crash... \**

— Переведи мне,— попросила Стелла.

— Не стоит,— улыбнулся Андрес.— *No light from the fires, all was darkness in the flames of Eternal fury \*\**. Что приблизительно означает: свернув к Железнодорожному банку, я оказался в натуральном аду. В недобрый час надумал я уйти с Флориды. На Флориде было так хорошо.

— А вино-то...— начала Стелла.

— Грузовик с вином. Сломалась ось. Ты же знаешь, дорогая, мостовая проваливается —

А на диване, в желтом свете —

под репродукторами, которые **МОЛЯТСЯ, МОЛЯТСЯ** — а кожа, такая белая, того гляди, провалится тоже —

— И тебя забрызгало,— сказала Стелла.

— Меня забрызгали. Грузовик сломался. Кажется, поставили сторожа охранять его. Я говорю «кажется», потому что в момент, когда он сломался, меня там не было. Я застал уже тучу людей — они развлекались кто как умел. Пустые бутылки выставили к дверям Железнодорожного

\* Свет, тьма, гром небесный! Все низвергается со страшным грохотом! (Англ.)

\*\* Нет света от огня, все стало тьмой в пламени вечной ярости (англ.).

банка и плясали на уцелевшем тротуаре. Плясали под радио — отобрали у случайного прохожего, бедняга умолял вернуть ему приемник. Когда я подошел, они как раз поймали уругвайскую станцию и танцевали, по-моему, танго Педро Маффии. Ты ведь наверняка знаешь, что здешние станции передают сплошь последние известия.

— Да, я как раз слушала,— сказала Стелла.— Но как ты все-таки испачкался?

— Имел неосторожность пересечь траекторию блевотины,— сказал Андрес.— Возможно, бедной девушке не понравилось танго Педро Маффии. К счастью, возле Банка нашелся кран. Я снял штаны и довольно тщательно замыл пострадавшую часть. Потом выжал их и снова надел. Кстати отмечу, что эту злоумышленницу выносили ногами вперед и в желудке у нее оставалось для меня совсем немного.

Он провел рукою по лбу и осмотрел капельки пота, прежде чем вытереть их бумажной салфеткой.

Кафе «Флорида» почти опустело. Студенческое кафе нравилось Андресу своей атмосферой, потому что он еще не мог окончательно оторваться от ночного времяпрепровождения, которому еще совсем недавно предавался, от сборищ, единственным поводом которых было отсутствие такового, от словесных перепалок, стремительной любви, от кофе, от картин, от Клары и Хуана, от этих ночей. Он с каждым днем отдалялся от этого все больше и больше —

— однако бумажному змею, который удаляется,— он улыбнулся жестко,— нитка все больше в тягость, нитка, с которой он начинается и на которой держится, еще одно пиво и жареной картошки (да она сырая и вовсе не картошка).

— А я так хорошо добралась, со мной ничего не случилось,— сказала Стелла.— Да, действительно, около Факультета стояло несколько грузовиков, подпирали стену института.

— Половина седьмого,— сказал Андрес.— И на улице почти ничего не видно.

— Все уже разошлись по домам,— сказала Стелла.— Только смотритель стоял в дверях Факультета. Я, проходя,

поздоровалась с ним, но он меня не узнал. А изнутри слышались голоса, но, по-моему, народу немного было.

— Пошли туда,— сказал Андрес,— там-то уж с ребятами не разминемся.

Но они ушли не сразу. Парень за столиком у стены проглядывал странички, что-то писал. Иногда он проводил рукою по растрепанным волосам, беспокойно ерзал на стуле, а потом снова погружался в свое занятие. «Этот гнет свое,— подумал Андрес.— Когда видишь такого, начинаешь думать, что как бы то ни было —

А может, всего-навсего царапает диалог для радиопьесы». Он чувствовал себя глупо, когда размягчался, словно раскисший жареный картофель. «Нам бы следовало обучиться искусству губки: вся пропитана водой, но сама по себе, собирает воду, но существует от нее совершенно отдельно —»

Стелла ждала его у двери: синяя шелковая блузка и стройные ноги в золотистом пушке. Проходя мимо парня, Андрес едва удержался от искушения остановиться и заговорить с ним. «Может, он одинок, как я,— подумал вслух Андрес, отчетливо прокатывая каждый слог в сухой глотке.— Девиз писателя *poli me tangere* \*. С этим приходишь, но с этим и умираешь. Как —» Больше слов не хватило —

а только видение — кожаный диван — длинные вытянутые ноги —

рука вверх ладонью —

(и очки, вспомнилось ему, плясали в руке у служащего, сквозь которые уже никогда не проникнут предметы к чувствительным клеткам, чтобы те их увидели, —

он подозревал, что то, вне его, и есть МИР

мир — мир — мир)

— Невероятно,— прошептал он,—

стоя уже рядом со Стеллой в дверях,—

это — я, тот, что влачится в дыму,

подражая сам себе, переделывая себя, спасаясь —

О, финальное единение, подступ! («Но у меня уже есть доказательства, что это не так,— предупредил он сам себя.— Я великолепнейшим образом видел, что не имею ничего

\* Ничто не трогает меня (лат.).

общего с тем, который умирал. Он умер, а я есть, я продолжаю жить. Пустые слова? Но вот он я, вот я до себя до-трагиваюсь. Дышу глубоко. Вот он я. Я — все еще, я всегда. Что может поделаться со мной небытие?»)

— Стелла, дорогая,— сказал Андрес.— Небытие нам не грозит.

— Небытие?

— Да, Стелла. Нам не грозит, а мы и не знали. Я не знал этого точно и только теперь начинаю вживаться в это. Не грозит, не грозит. Небытие, Стелла,— для других. Для того, который умер в книжном магазине. Для него, который уже не может его отрицать. Но какое отношение имеет к нему небытие, если он — уже не он. Мы никоим образом не можем быть небытием, а значит, мы не имеем с ним ничего общего. Оно нас не касается. Когда мы перестаем быть тем, что мы есть, оно подступает, но оно — не мы. Бесплезно искать слова. Когда перестаешь петь, кажется, что тишина падает на музыку, но это ложь, Стелла. Тишина тоже не существует. Просто музыка есть или ее нет. Не принимай этой концепции — существования тишины. Смотри, такси.

У аптеки на углу Сан-Мартина и Виамонте они перешли на другую сторону и пошли к тусклым огонькам, маячившим у тротуара, где два красных фонаря обозначали место провала. То, что они приняли за такси, оказалось черным автомобилем со служебным номером, набитым полицейскими, что-то охранявшими.

— Вообще осторожней с концепциями,— прошептал Андрес, и Стелла поняла, что говорил он это вовсе не ей.

— Документы,— попросил полицейский, возвышавшийся в дверях.

Андрес и Стелла остановились на середине лестницы и смотрели на него.

— Без документов сюда нельзя.

— Почему? — спросил Андрес.

— Такой приказ, и все,— сказал полицейский.

Стелла вынула сберегательную книжку, а Андрес перевернул все в бумажнике, пока не нашел удостоверение

личности. Когда он поднял глаза, с тротуара на него смотрела Клара. Хуан с репортером чуть отстали, занятые спором.

— Привет,— сказал Андрес, держа двумя пальцами удостоверение.

— Привет,— сказала Клара.

— Привет,— повторила Стелла, поднимаясь по ступенькам. Предъявила книжку полицейскому и вошла.

Клара подошла к Андресу. Они молча поднялись по ступенькам. Полицейский посмотрел их документы и пропустил.

## VI

Хуан с репортером шли и разговаривали от самого метро, от конечной станции —

потому что выходы на Флориду были закрыты, говорили (Клара слышала это от какого-то солдатика), что станция использовалась в качестве госпиталя «скорой помощи», куда относили отравленных после того, как им оказывали первую помощь в медпункте на углу,—

и никак не могли прийти к согласию относительно Заведения и Факультета. Знали одно: между ними существовала ненависть, и однажды Чтец из Заведения так определил Факультет: «Это выдающееся учреждение благодаря своей массивной лестнице», а декан оскорбленного Факультета придумал для Заведения название «His master's voice» \*.

Репортеру казалось, что —

однако, увидев в дверях Андреса, они так обрадовались, что перестали спорить («Тема яйца выеденного не стоит», — сказал репортер) и прямо в вестибюле, где возносилась массивная лестница,—

сошлись впятером, чтобы наконец-то поговорить, и выжи-

\* «Голос его хозяина» (англ.) — название фирмы, выпускавшей грампластинки, на этикетках которых был изображен пес, слушавший граммофон.

дали, когда можно будет захватить скамейку возле окошечка, —

и с некоторым удивлением наблюдали за столом, где сидели два зрителя, занимая самую середину и без того довольно ограниченного пространства, отчего поток студентов двигался медленно и все время стопорился.

— Первый раз вижу зрителей такими важными, — сказал Хуан, хлопая по рукавам пиджака, будто таким образом мог стряхнуть влагу, от которой пиджак помялся. — Величественны, как боги на Олимпе.

— Они всегда были величественны, — сказала Клара, опираясь на Хуана, словно у нее не осталось больше сил. — Но чтобы так сидеть за столом — это, пожалуй, слишком. Пошли сядем где-нибудь на лестнице.

— Можно войти в аудиторию? — спросил Хуан у зрителя.

— Нет.

— Почему?

— Они заперты на ключ.

— А ключи у кого?

Зритель поглядел на своего напарника, а Андрес отступил на шаг и занял крайнее место на скамейке. Тронув Клару за плечо, подождал, пока она сядет. Репортер подошел к ним, и студенты на скамейке подвинулись, давая ему место. «Только мне может прийти в голову так одеться на улицу», — сказал один из них, словно бы сам себе. «Прелестный костюмчик, пальчики оближешь». Клара слушала, чувствуя, что ее воля куда-то делась, внезапно и стремительно нахлынула усталость. «А ей нравится, когда я помыкаю ею», — услышала она разговор студентов на другом конце скамейки. Андрес смотрел на нее, стоя напротив и чуть пригнувшись, изо всех сил стараясь не коснуться ее.

— Ты совсем рухнула, — сказал он. Это прозвучало как врачебный диагноз.

— Да, больше не могу. Ну и денек был...

— Был? — сказал Андрес. — Не знаю, но у меня такое впечатление, что он только начинается. Все вот-вот должно произойти.

— Ты выражаешься как в историях с привидениями, —



сказал репортер.— Если бы, старик, я мог снять ботинки. Будь я в редакции, я бы их снял. Мне и правда надо в редакцию.

Потом он объяснил, что пришел на Факультет специально побыть с ними, но на экзамен оставаться не собирался, потому что, без сомнения, его долгое отсутствие в редакции заметят.

— Ты думаешь? — сказал Хуан, усевшийся на пол напротив них.

— Ну уж если совсем по правде,— сказал репортер,— мне кажется, в эту пору им совершенно наплевать, кто есть в редакции, а кого нет. Какая на тебе миленькая блузочка, Стелла.

— Нарядненькая,— сказала Стелла.— И очень легонькая. Я вижу, у вас хороший вкус.

— На удавленнице с улицы Ринкон была точно такая же,— сказал репортер, разглядывая ножки студентки, поднимавшейся по лестнице. Он услышал визг («Настоящая крыса»,— подумал он) толстого зрителя, ножки замерли,— приказ был немедленно спускаться обратно.

— А если мне надо что-то посмотреть наверху,— сказала студентка.

— Спускайтесь немедленно! Наверх нельзя!

— Почему нельзя? — спросил Хуан.— Если захочу, поднимусь, и все. Хотите, я пойду с вами?

— Нет, нет,— сказала побледневшая студентка.— Лучше я —

— останусь здесь —

— Правильно,— сказал студент.— Они потом могут ее не выпустить, с них станется.

Хуан видел, что зрители разлиновывали зеленые листочки со списками: пунктирные линии, порядковые номера, сноски. «Выродки, списочные выродки,— подумал Хуан, глядя на студента, заглядывавшего в записи лекций, отпечатанных на мимеографе.— До каких же пор —». Дверь, выходящая на галерею, тяжело заскрипела.

— Мапочка родная, ветер,— сказал репортер.— Не может быть.

С глотком воздуха вошел запах, сладковатый и противный,

сначала едва различимый. Запах вареного клея, мокрой бумаги, сырости, разогретой еды. «Запахи начальной школы,— подумал Андрес, ежась,— это таинственное мыло, плававшее в воздухе классов, во дворе. Запах, никогда и нигде больше не повторявшийся, незабываемый. Это был действительно запах или игра восприятия? Как некоторые звуки и краски детства, то, что сразу воспринималось зрением и обонянием и до сих пор вызывало беспокойство — ». Это был запах из многих составляющих, запах усталости, запах итога, носящегося в воздухе, что растворял двери. И даже голоса, приглушенные сыростью, казались частью этого запаха. И они поняли, что почувствовали его сразу же, как только вошли, а горячий воздух, ворвавшийся с улицы, просто сгустил эту непрекращавшуюся сладковатую и приторную тошнотворность.

— Старик, за мною долг,— говорил репортер.— Такой концерт, как сегодня, не каждый день случается. Я не могу тебе описать, какое лицо было у Кларинового отца, когда он затевал всю эту петрушку. Потрясающе, славный вышел междусобойчик. Жаль, что тебя не было с нами. Даже вчерашний тип и тот зашел на шум. Я уж не говорю, кто сколько пинков роздал и сколько кому перепало.

— Действительно, у меня ребро болит,— сказал Хуан.— Тебе не кажется, репортер, что пора и мне попользоваться скамейкой?

— Разумеется. А я посижу на полу и почтительно послушаю вашу высокочтимую университетскую беседу. Жалко, Клариита заснула.

— Жалко,— сказала Клара.— Жалко, но ничего не поделаешь.

— Почему ты не заставил ее отдохнуть?

— Достигнув совершеннолетия, она взяла за правило распоряжаться собой сама,— сказал Хуан.

— В таком состоянии не на экзамен ходят, а к врачу.

— Ничего подобного,— сказала Клара, закрывая глаза.— Я вся фосфоресцирую — свечусь. И знаю всю таблицу умножения, вплоть до умножения на восемь. Знаю весь материал.

Une pauzanne, zanne, zanne, zanne,— пропела она, покачивая в такт головой.

— Мы не думали, что все так обернется,— сказал Хуан.— Я сам уже дошел. Представляешь, мой тесть потащил нас на концерт, чтобы отдохнула голова. А потом путешествие на Лакросе, столпотворение на Карлос Пеллегрини. Мы слышали, что в квартале Траст Хойеро был пожар, во всяком случае дым, говорят, был, и многие, говорят, не выдерживали жары.

— А нас, когда мы выходили из подземки, заперли,— сказал репортер.— В ста метрах от выхода. И вот: выйти не можем, а жара такая, что некоторые женщины даже кричали. Передо мною —

а, да что я надоедаю тебе своими рассказами.

— Давай, давай,— сказал Андрес.— А потом я расскажу тебе свои приключения.

— Одна женщина расплакалась. Че, такое творилось, не поверишь. Ее так сдавили, она не могла выпростать руки и стоит смотрит на меня, а сама плачет, слезы катятся по лицу, размывают грим, такие, знаешь, потеки из краски, просто ужас. Стоит, не может двинуться, представляешь. И плачет. Я не мог оторвать глаз от ее лица, а она не могла перестать плакать. Наверное, так бывает в тюрьме или в больнице. Но там по крайней мере ты можешь отвернуться к стенке и не видеть или чтобы тебя не видели.

— И так — двадцать минут,— сказал Хуан.— Не пожелаю тебе такого, старик. И вдруг мы почувствовали: над нами земля. Не знаю, как объяснить, но в подземке, в туннеле, для тебя не важно, на какой ты глубине, движение снимает это ощущение. Но когда движение прекращается, тебя начинает душить. И ты смотришь на потолок вагона и понимаешь, что у тебя над головой — земля, метры, метры. Из меня, старик, шахтер был бы очень плохой: геофобия, с твоего позволения, назову это так.

— Славное словечко,— сказал Андрес.— Растягивается, как жевательная резинка.

«Тихо» (голос зрителя) —

«Не дают работать» —

— Это вы — мне? — спросил Андрес.

— Это я всем,— сказал смотритель.— Черт возьми, какие мы обидчивые. Разве не видите, что мы готовим списки?

— По правде говоря,— сказал Андрес,— списки вижу, а вас нет.

— Не разговаривай с ними,— прервал его репортер. Достал удостоверение и сунул под нос смотрителю, стоявшему к нему ближе.— Это видите? Будете цепляться, тисну замечтку в газете, обоим не поздоровится.— Он подмигнул Хуану.— Я там человек влиятельный, че, и злоупотреблений не потерплю.

— Никто не злоупотребляет,— сказал смотритель.— Только говорите потише. Войдите, сеньор, в наше положение, на нас — ответственность.

— Абсолютно никакой,— сказал Хуан.— Вы к нам не имеете никакого отношения. Пусть придет секретарь Факультета или кто-нибудь из профессоров.

— Че, не затевайте,— сказал студент, делавший записи.— Сперва сдадим экзамен, а потом уж будем протестовать.

— Вы ведь Хуарес, верно? — спросил Хуан, поднимаясь на ноги.

— Нет, я Мигелетти.

«Ловко он выведал имя у этого заморыша»,— подумал репортер.

— Ах, так вы Мигелетти. И сдаете экзамен вместе с нами, не так ли?

— Так, если только его не отменяют. По-моему, там нет ни одного профессора.

— Ах, так вы прекрасно обо всем осведомлены — есть профессора или их нет.

— Че, кончай,— сказал Мигелетти.— Если тебе не нравится, зачем пришел на экзамен? Остался бы на улице, че.

Андрес схватил Хуана за руку и потянул к Кларе. «А здорово он ему ответил,— подумал Андрес с холодной злостью.— Мы всегда там, где нам не следует быть». Хуан с вожделением глядел в сторону Мигелетти, но Клара заставила его сесть и тихо, так, чтобы другие не слышали, укоряла. Девушки, которые только что слушали разговор и смеялись, повернулись спиной к столу и подошли ближе. Две из них,

похоже, были близнецами, а на третью, рыженькую, репортер тут же положил глаз.

— Он, конечно, дурак, — сказала одна из близняшек тихо, — но он прав — профессоров-то действительно нет. Уже время, а их — ни одного. На ваших часах — сколько?

— Без двадцати восемь, — сказал репортер. — Вы из тех, кто готовится блеснуть у экзаменационного стола?

— Вот именно, — сказала рыженькая. — Я думаю, все мы здесь сдаем один и тот же экзамен. И другого стола, кроме этого, не будет.

— А если будет? — сказала близняшка, сморкаясь и украдкой оглядев платок. Дверь на галерею снова закрипела, но на этот раз вместе с запахом вошел служащий из бухгалтерии в костюме цвета электрик. Бросил невыразительный взгляд на собравшихся и углубился в долгое перешептывание со зрителями. Свет на галерее погас, потом снова зажегся, замигал, потускнел.

— Будет экзамен? — спросила рыженькая.

Служащий вскинул руки вверх, словно на него нападали, и замахал ими, будто расчищал стекло. И бодрым шагом удалился, видно было, как он вошел в приемную деканата. Свет в приемной зажегся, и служащий затворил за собою дверь.

— Я тут задыхаюсь, — сказала Клара. — Пойду пройду по галерее.

— Тебя не пустят туда, — сказала рыженькая.

Андрес поглядел на Хуана, который что-то писал в записной книжке. Андрес встал и пошел вместе с Кларой к двери, придержал дверь и пропустил Клару вперед. Они молча пошли по галерее, Андрес тронул дверь одной аудитории и убедился, что она заперта.

— Здесь пахнет еще хуже, — сказал он. — Чем дальше, тем невыносимее становится, но и мы, наверное, приспособиваемся. Странно, что с каждым днем нас это все больше раздражает.

— Вполне может стать, как ни странно, что к каким-то вещам мы не приспособиваемся, — сказала Клара. — Дай мне, пожалуйста, руку.

Так, словно в руке у него была сама ее жизнь, он осторож-

но поддержал Клару, которая не решалась идти дальше.

— Ты холодная как лед,— сказал он.— Плохо себя чувствуешь?

— Нервы. Никак не совладаю с собой.

Он изо всех сил старался, чтобы она не заметила, как дрожит его рука. Ему вспомнился их ночной поход и как потом, уже вдали от нее, он сравнивал все это —

— немного, пожалуй, разочарованный —

с движением сонатной темы, которая возникает и нарастает,— потом, после концерта, на площади под деревьями — и ничто, даже лишний звук не способен испортить ее красоты —

Но сейчас она была тут, он чувствовал ее руку в своей руке. Звук — вещь необходимая, плоть любой недостижимой мысли.

— Все чересчур затянулось,— сказала Клара.— Странно, что столько всего навалилось на нас сразу. Вчера вечером я слишком много ходила, слишком много всего видела во сне, сегодня слишком много ела, концерт тоже был слишком и уж совсем слишком — переживания в метро, когда пса столкнули на рельсы, когда —

— Значит, пса столкнули.

— Это было мерзко. Он у меня до сих пор перед глазами.

— Да, такие вещи потом долго стоят в глазах,— сказал Андрес.— Мы такие мягкие. Я не знаю, известно ли тебе, что чувствующие пластины — из желатина.

— Сегодня мне хочется не быть собою,— сказала Клара.— Как только вспомню, что еще вчера я была счастлива, хотя мне казалось, что я страшно зла. Целую драму устроила из-за того, что ждала Хуана, а он опоздал на полчаса.

— Смотри,— сказал Андрес, легонько сжав ее руку. За поворотом, к которому они подошли, два человека снимали портрет. Один снял портрет с гвоздя и передал другому, который ногою поддерживал лестницу. Еще два портрета были уже сняты и стояли в углу на полу.

— Полная перемена,— сказала Клара.— Какие идиоты.

— Нет, не полная. Они хотят сменить и всех остальных, но начинают с самых беззащитных.

— Ты о ком говоришь? — спросила Клара, глядя на него.

— Пожалуй, о нас,— сказал Андрес.— И о портретах на стене. Однажды мне пришла в голову мысль: что бы чувствовала прекрасная музыка, обладай она сознанием? Не так уж невероятно представить такое, правда?

— Прелестная мысль,— сказала Клара.— Жаль только, о чем-то похожем уже написано в журнале, который ты наверняка не читаешь, он называется «Страшные истории».

— Неужели? — сказал Андрес.— Ну-ка расскажи.

— Рассказ совершенно дурацкий,— улыбнулась Клара.— Единственная его прелесть — в главной идее: можно вообразить такое измерение (на другой планете, например), где то, что мы называем музыкой, есть форма жизни.

— Прекрасно,— сказал Андрес.— Отныне я буду сотрудничать с этим журналом.

— А я буду твоей усердной читательницей. А что было бы, если бы музыка обладала сознанием?

— Ничего, просто я вообразил себе ужас прекрасной музыки, которая чувствует, что живет в недостойных устах, какая-то посредственность, например, ее насвистывает. Например, Моцарт, которого играет этот Мигелетти. Я подумал об этом, когда понял —

— то есть я вижу это уже давно, но сегодня —

увидел, как некие ценности, эти портреты, если хочешь, совершенно безоружны в руках типов, которые складывают их в угол. Они даже не уничтожают их, просто засовывают в угол.

— Никто не позволит засунуть себя в угол, если он сам к этому не склонен,— сказала Клара, с интересом вслушиваясь в свистящие.— Но вот что ужасно. Ты по крайней мере чувствуешь себя загнанным, хотя и не знаешь точно, кто тебя загоняет и почему. А подумай о тех, кто уже не висит на своих гвоздиках, но по-прежнему чувствует себя портретом на стенке и не понимает, что его уже давным-давно забросили в угол.

— Вроде того, кто среди ночи надел маску, маскарадный костюм да так и остался, один в потемках.

— Не знаю,— сказала Клара.— Одно могу сказать: я себя чувствую так, будто за мной гонятся. И не думай, что только из-за Абея. Это совсем другое. Со вчерашнего вечера,

когда почувствовала, что ноги вязнут в земле — Это так трудно объяснить, Андрес. Гораздо труднее, чем сдать экзамен.

— У вас по крайней мере есть экзамен,— сказал Андрес и, выпустив ее руку, пошел вперед, к открытой галерее.

— Есть, а потом? — донесся до него голос Клары.

— Свое «потом» тебе придется открывать самой,— сказал он и повернулся к ней лицом к лицу, враждебный. Клара продолжала смотреть на него вопросительно. Поскользнулась на сыром полу, и Андрес поддержал ее. Теперь он держал ее обеими руками, остановив в пространстве, прямо перед собой. Кожа на щеках и на носу у нее блестела влагой, и она смотрела на него, ожидая большего. «Что я могу дать тебе, чего бы у тебя не было,— подумал Андрес.— Ах, если бы ты могла спастись, ты и Хуан...» Он вдруг увидел, ему показалось, что увидел чудовищным видением череп Клары под ее лицом, под ее волосами; как будто черный ветер вырвался из нее и ударил ему в лицо.

— Какой ты грустный,— сказала Клара.— Какой глупенький, бедный мой Андрес.

Череп разговаривал. Близкая смерть жила под этим дымом, под этим зловонием, которое выдыхал город. Андрес измерил (закрыв глаза, стараясь отделаться от образа) предел своего пути. Зачем-то снял очки и держал их на весу. Ничего еще не было сформулировано, он только видел (тем взглядом, которому не требуются четкие образы, тем, которым он только что увидел череп Клары), видел решение, шаг,—

смутно видел жест, который следовало сделать.

— Сразу два качества,— сказал он, снова надевая очки.— Грустный и глупый. Глупый потому, что грустный, но не наоборот. Моя глупость заключается в своеобразной совершенно бесполезной и никому не нужной ясности ума. А главное, поверь, мне не хватает того, что у Хуана есть в избытке,— энтузиазма.

— Иногда,— сказала она, опуская голову,— он кажется мне совсем ребенком рядом с тобой.

— Красивая похвала,— сказал Андрес, касаясь пальцами ее волос.



— Ты ее заслуживаешь,— сказала Клара.

— Нет, я не о себе.

— А-а.

— Она и тебе подходит. Ты сейчас — накануне важного события, ты вся — ожидание. А завтра экзамен будет позади, все вернется на прежние места, и мы снова будем встречаться в кафе и на концертах, а от этого останется — «Но это неправда,— подумал он,— я вру, как — » только воспоминание, как о многих других вещах.

— Ты прекрасно знаешь, что это не так,— сказала Клара.— Что за нужда тебе бросаться передо мной пустыми словами?

— Мне не по душе преувеличения,— сказал Андрес.— Мы поддаемся дурацкой привычке делать проблему из любой малости. Я имею в виду не только отношения, но все вообще, сегодняшний день, например, или когда кого-то встречаешь несколько раз подряд, взять, к примеру, Абея. Не поддавайся этому, Клара, ведь тебе удалось избежать стольких глупостей.

— Кажется, ты мне даешь совет закрыть глаза,— сказала Клара.— Это старый и популярный совет в нашей стране.

— Я прошу тебя только об одном — чтобы ты не сдавалась,— сказал Андрес.— Прошу тебя, чтобы ты всегда была на подъеме, как бы накануне экзамена.

Они повернули назад и, проходя мимо, увидели, что рабочие уже сложили в угол все портреты. С нижнего этажа по шахте лифта и лестничной клетке поднимался неясный шум. Что-то черное прошмыгнуло по плитчатому полу и скатилось по лестнице так стремительно, что они не успели разглядеть,—

похоже на крысу,—

хотя так быстро по лестнице, скорее всего котенок — но как прошмыгнуло по полу,—

а может, показалось, ведь свет все время мигал и тускнел, и только в коридоре, который вел к открытым галереям, свет был ярким, но прежде чем они успели привыкнуть к нему и различить очертания предметов, свет уже опять горел вполнакала.

— Крыса,— сказала Клара с безмерным отвращением.

— Может быть,— отозвался Андрес.— Пойдем назад, если хочешь.

— Нет, не хочу. Меня эти люди раздражают. Я собиралась поговорить с тобой, а, по сути, мы ничего не сказали.

— Мы так мало можем сказать друг другу, если речь идет о том, что можно сказать.

— Ты прав. Всегда так: слова и время, чтобы их сказать, расходятся,—

прости, если я выражаюсь немного заумно,—

дело в том, что если я должна тебе что-то сказать, то это оказывается не к месту или приходится на тот день, когда мы не с тобою, и получается, что сказать ничего невозможно.

— Красиво звучит,— сказал Андрес без иронии.— Помимо всего прочего потеря доверия к словам оголяет нас чем дальше, тем больше. Что можно сказать, стоя перед картиной Пикассо? Мы так приблизились к источникам, что описания путешествий отошли в прошлое. Мы уже не верим в то, что говорим, если речь идет о том, что трогает не только нашу голову.

— Беда в том,— сказала Клара,— что мы не научились также и отказываться от слов. Если бы мы по крайней мере научились смотреть в глаза друг другу, видеть друг друга —

— Был такой момент,— сказал Андрес.— Но мы этого не заметили. Мы не способны были знать тогда, чего ждет от нас судьба, другими словами, мы сами. А теперь легко исправить ошибки на бумаге, но время уже прочитало оригинал. К вопросу о заумном: как тебе нравится эта метафора?

— Совсем не нравится,— сказала Клара.— Однако она точна, если ты имеешь в виду то же самое, что и я. Знаешь, с Абедем тоже вышла немного похожая история. Что он ищет? То, что мог найти, когда этого не искал.

— Тебя? — сказал Андрес.

— По правде говоря, не знаю. Но думаю, что да, хотя все уже как в давнем сне. Причин для этого нет никаких, Андрес, никаких причин —

теперь.

— Двигут людьми совсем не причины,— сказал Андрес.

— Смотри,— сказала Клара и дала ему прочитать письмо. Им пришлось встать под фонарем, свет становился все сла-

бее и слабее; и словно в возмещение обострился слух — из глубины галереи до них донесся хохот (может, дверь была открыта? Да, распахнута, и за ней виднелась спина репортера, стол зрителей) и шорох скомканных бумаг. У Клары запах странно мешался —

— а пахло здесь сырой ватой —

с очертаниями предметов — пиджаки, головы, белые блузки на фоне стен и доски объявлений. Не глядя, она взяла у Андреа письмо и спрятала в карман.

— Полагаю,— сказал Андрес,— что Хуан носит с собой револьвер.

— Нет,— сказала Клара.— Он считает, что это угроза сумасшедшего.

— Именно поэтому. Ну что ж, я рад, что догадался прихватить пистолет. Ни с того ни с сего взбрело в голову — (вранье)

не знаю зачем, просто когда все вдруг начинает сыпаться —

— Мне это кажется таким глупым,— сказала Клара.— Я не представляю у тебя в карманах ничего, кроме книг и табака.

— Ну вот,— сказал он.— Видишь, как все глупо.

«Оружие,— подумала Клара.— Странные отношения сложились у нас с ним; какой смысл вдруг приобретают некоторые жесты, поступки: вдруг обернуться назад, чтобы найти опору. От револьвера до святой воды — один шаг — »

— Наверное, тебе следует изгнать злых духов, словом, предпринять что-то в этом роде,— сказала Клара.— Абель не стоит у тебя на пути, а если бы и стоял, что ты можешь с ним сделать?

— Я ношу пистолет не из-за Абеля,— сказал Андрес.— Но я всегда могу дать его Хуану в нужный момент. Я думаю, ты права, я бы не смог защитить тебя.

— И никто бы не смог,— сказала Клара.— Во всяком случае при помощи пистолета.

— Это хорошо, что ты не веришь в защиту,— сказал Андрес.— Но ни в коем случае не забывай и о нападении.

— А,— сказала Клара почти с нежностью.— Все это... — она обвела рукой сложенные в углу портреты, туман в глубине, плитчатый пол, по которому проскользнул черный ко-

мок,— вряд ли я смогу это забыть. Все против нас, Андрес.

Хуан издали делал им знаки, что-то говорил репортер. Клара, глядя в пол, пошла по галерее.

— Это бесполезно и тебе бы ничего не дало,— проговорила она голосом, который показался Андресу давним, из той поры, когда она с ним не разговаривала таким голосом.— Но хочу, чтобы ты знал: я очень жалею.

— Клара,— сказал Андрес.

— Ты хорошо знаешь, как я тебя люблю. Я не раскаиваюсь, что ушла к нему. Но если разобраться, мне больно от того, что ты и он — не один человек или что я не могу быть сразу двумя.

— Пожалуйста,— сказал Андрес.— Так хорошо. Не говори больше ничего.

— Нет, вовсе не хорошо,— сказала Клара.— Ничего хорошего. Все как обычно.

— Не жалею,— сказал Андрес.— Главное, ни о чем не жалею.

— Дай мне по крайней мере пожалеть о себе,— сказала Клара.

— Помешать твоим чувствам я не могу,— сказал он.— Но о том, что ты будешь испытывать такие чувства, я и мечтать не мог, когда —

— По крайней мере, теперь ты знаешь, что я жалею,— сказала Клара.— Никогда в жизни я не говорила большей правды, чем сейчас.

Они уже подошли к дверям: в ушах стоял гам, перед глазами мельтешили фигуры.

— Спасибо тебе,— сказал Андрес.— Только не размягчайся чересчур в доброте. Зачем жалеть, если все не так уж плохо,

какая ужасная ваза — знаешь, это все равно что обрезать себя —

потерять право каждое утро по своему вкусу выбирать, что ты наденешь на себя, какой мотивчик станешь насвистывать, какую книгу прочтешь —

нет, только не это. Глаза — у самого лица — любимая — не твоя вина, что я стал немного твоей тенью, твоим отзвуком,—

судно, когда плывет, всегда рассекает волны, смотри, как красиво —

— Ты — добрый, — сказала Клара и улыбнулась.

— И еще одно, — сказал Андрес. — Думаю, это действительно была крыса.

Смотрители сложили листки со списками, и один из них понес их в деканат, будто —

но все прекрасно знали, что деканат был —

— Невероятно, как разрастается культура, — сказал репортер, расчищая место на скамейке, чтобы одна из близняшек тоже отдохнула немного. — Нас уже больше тридцати.

— А какая духота, — сказала рыженькая. (Свет погас. Снова зажегся.)

— Без четверти девять, — сказал Хуан, словно это было очень важно, и снова углубился в тетрадь.

— Поэтическое вдохновение овладело, — сказал репортер. — Ой, Андрес, действительно мне надо бы в редакцию. Я думаю, несложно будет добраться на —

С запада донеслось несколько взрывов, один за другим, приглушенным расстоянием, странно, что звук пробежал по земле вроде той крысы, что недавно —

— Раз уж ты тут, оставайся и составь мне компанию, пока эти будут сдавать свой славный экзамен, — сказал Андрес.

— Его отложат, — сказал репортер. — Обрати внимание, никто не заинтересован ни в каком обучении. В то время как — погляди на юного Мигелетти — он просто, как фагоцит, пожирает тезисы лекций, кем-то усердно записанные, — а я писать на них хотел —

(В полной темноте. От рыженькой пахло хвойным мылом, спичками.)

— Туалетное мыло «Фиат-люкс», — сказал ей репортер, понюхав прежде ее шею. — Подруга, у вас потрясающе душистая кожа. Не отодвигайтесь от меня, пока воздух бьет в нос миазмами.

— Бьет в нос чем? — спросила рыженькая так, словно спрашивать ей не хотелось.

— Миазмами, — сказал Андрес. — Их приносит ветер и

бьет ими в нос. Но Клара имеет обыкновение носить в своей модной сумочке одеколон.

— Для пользы дела,— сказала Клара, нашаривая в сумочке флакон. «Да, это была крыса,— подумала она.— Скатилась по лестнице и теперь, наверное, бегает по нижнему этажу, а там люди, я слышала голоса —»

Все продолжали толпиться вблизи деканата — но все знали, что деканат —

и только близняшки вышли на галерею, чтобы еще раз проглядеть тезисы, и искали место, где посветлее.

— Хороший одеколон,— говорил репортер, слегка смачивая им волосы.— Настоящая мирра Аравийская.

Свет понемногу становился ярче. Хуан спрятал тетрадь в карман пиджака и указал на деканат.

— Вон,— сказал он.— Смывается.

Вышли смотрители, а между ними низенький смуглый человек шел, заложив руки за спину (и при этом крутил большими пальцами), шел, словно под защитой смотрителей,—

которые расчищали себе дорогу зычными «позвольте!», и юный Мигелетти поздоровался с профессором, а профессор не поздоровался с юным Мигелетти —

все трое дошли до галереи и захлопнули за собою дверь.

— Мелкие подлецы ищут защиты у властей предержавших,— сказал Хуан.— Дольше это длиться не может.

— Как убивает ожидание,— сказала Стелла, вынимая изо рта пушинку.— По-моему, я даже заснула. Какая жесткая скамейка.

— Бедняжка,— сказал Андрес и погладил ее.— Тебе не следовало сюда приходить.

— Почему? Раз ты пришел, то и я.

Он смотрел на нее, улыбаясь, и ничего не сказал. Дверь заскрипела, и снова появились смотрители; бросая косые взгляды на Хуана и его группу, принялись заполнять какие-то бланки. Приступая к новому бланку, они справлялись в клеенчатых тетрадях, телефонном справочнике и в книге с горящим золотом гербом на синей обложке. Один из служащих, что снимал на галерее портреты, подошел и сказал им что-то, но толстый смотритель знаком показал,

что знать ничего не знает, и широко махнул рукою в сторону студентов.

— Опять идет профессор,— сказал репортер.— Что за странные, скользкие манеры у этого —

как ты его назвал, Хуан? Ах да, мелкого подлеца. Че, да он совсем зеленый.

— Может, увидел привидение,— сказала Клара.

«Крысу,— подумала она.— Наткнулся на крысу». Они видели, как он обошел группку студентов (те в углу играли в карты, используя папку вместо стола) и вошел в деканат. В деканате было темно, профессор попятился и позвал зрителей зажечь свет. Толстый зритель и бровью не повел, но другой со злым видом направился к двери и вошел в деканат; профессор вошел следом за ним.

— И — ничего, слабое напряжение,— сказал Хуан. Он снял пиджак, засунул его меж балясин перил, засучил рукава. Он был весь в поту, и Клара стала протирать ему лицо одеколоном. Другие студенты последовали примеру Хуана, и репортер заметил рыженькой, что она почувствовала бы себя намного удобнее, если бы сняла блузку, и что в противном случае ее подстерегает опасность внезапного самовозгорания. Потом рассказал ей о психических гибридах, чем сразу же разбудил ее интерес. Никто не видел, как профессор вышел из деканата, но неожиданно он возник около стола зрителей в сопровождении менее толстого зрителя, нагруженного свитками из картонной бумаги. Чтобы свитки не рассыпались, он вложил их в плетеную проволочную корзину.

— Похоже на букет калл,— сказал Андрес Кларе.— Смотри, какое блистательное упрощение формы. Обрати внимание: бюрократия всегда стремится имитировать искусство.

— И, в общем, достигает цели: значительная интонация, элегантная игра пластических форм,— сказала Клара, глядя на Андреса с —

да, с благодарностью, желая донести до него свое чувство, быть рядом, оставаясь ужасно далекой из-за усталости, совсем раздавленной и сраженной —

— Не надо таких слов,— сказал ей Хуан.— Если только

ты не собираешься выступить в «Голосе зрителя», так, наверное, должен называться журнал, издающийся на Факультете. Но что же в конце концов происходит? — закричал он, влезая на скамью.

Зрители уставились на Хуана (злобно), но профессор продолжал тихим голосом отдавать распоряжения, боязливо косясь на галерею, где свет в конце концов погас совсем. Одна близняшка уселась на пол в ногах у репортера, а другая попросила у Клары одеколон. «Ей плохо, — подумал репортер. — Как бы ее не начало рвать». Он сказал это Андресу тихо, и тот принялся расталкивать студентов, сидевших рядом, и тех, что сидели поодаль, —

если только можно сказать «поодаль» о людях, сбившихся в плотную массу вокруг стола, поверхность которого казалась дном колодца, знаете, такая неприятность на фоне общей —

чтобы до девушки, почувствовавшей себя дурно, доходил воздух.

— Нет, нет, рвать ее не будет, — сказал Андрес репортеру. — А ты что волнуешься?

— Знаешь, я совершенно не выношу, когда блюют другие.

— Полагаю, — сказал Андрес, — это оттого, что рвота представляет собой реверсию. Рвота ассоциируется с люциферовой виной, с титаномахией. Обрати внимание, что мифология бунта есть космическая рвота. Когда мы извергаем в рвоте съеденное, мы выполняем естественный акт, который неясным образом совпадает с потаенным человеческим желанием — желанием послать природу к чертям собачьим со всеми ее жареными вырезками и салатами.

— Ты потрясающий, — сказал репортер.

— Я открою тебе огромный секрет, — сказал Андрес. — Грех состоял не в том, что Ева съела яблоко, а в том, что она его сблевула.

— Слезьте со скамьи! — закричал толстый зритель Хуану.

— Неохота, — сказал Хуан. — Видишь, Андрес, ну и типы.

— Погляди, что там на улице, — попросил репортер, и ему пришлось кричать, потому что студенты пришли в возбуждение и задвигались, зашумели, а воздух поглощал



слова —

хотя репортер имел в виду сирену «скорой помощи» (или пожарной машины), которая непрерывно и пронзительно редела, проезжая совсем рядом —

— Ну и дела,— сказал Хуан.— Нашествие варваров. И, разумеется, свет гаснет. Blackout! \*

Никто не двинулся, однако в темноте жара казалась гуще, и все заметили (и отметили), что воздух стал смердеть еще больше. Близняшка тихо постанывала на полу. В полутьме голова ее оттягивала Кларину руку, Клара наклонилась над ней с платком, смоченным в одеколоне. Шум нарастал, крики, хоть и шуточные, звучали все громче. Резкий щелчок, словно удар хлыста, стон —

ах, так-разэтак, сволочь —

старик, это не я на тебя наступил —

Кто-то чиркнул спичку, игривый смех рыженькой — это репортер пощупал на ней блузку, поцеловал в затылок, прижал к себе и почувствовал, как горячей волной его обдал запах ее волос, ее кожи,—

спички —

паломники в Эмаусе —

Черт подери! Слушайте, ребята, перестаньте, тут все-таки женщины.

Близняшка на полу плакала. Андрес испугался, как бы в этой свалке на нее не наступили, и встал рядом с ней, раскинув руки в стороны. Хуан смеялся где-то наверху, и когда чиркнули спичкой, все увидели его, стоящего посреди лестницы: волосы взлохмачены, грудь нараспашку. Внезапно деканат осветился, кто-то постучал в дверь три раза, четыре. Лампочка слабо осветила ближайшую к ней группку, стол зрителей был едва различим, лишь белели свитки в корзине. В деканате зазвонил телефон, и толстый смотритель, чертыхаясь, пошел взять трубку. Звонки прекратились, и тут же воцарилась тишина, лишь в унисон прозвучал плач близняшки и хохот Хуана на лестнице. Голос смотрителя доносился приглушенно, однако доносился —

Да, сеньор —

добрый вечер, сеньор —

\* Отключение света, затемнение (англ.).

нет, сеньор —  
думаю, что так, сеньор —  
мне кажется —  
добрый вечер —  
надо полагать, сеньор —  
значит —  
как прикажете, сеньор —  
да, сеньор —

— «Голос зрителя!» — прокаркал Хуан. Вверху засветилась оранжевая полоска, стала шире, остановилась, мерцающая —

свет —

— Мне лучше, — сказала близняшка. — Одеколон помог, спасибо.

Свет —

сию минуту, сеньор —

свет в тумане — это не дым — пар от тел, но только плотный —

— Это дым, — сказал репортер, глядя на рыженькую, которая приводила себя в порядок, посмеиваясь. — Под потолком полно дыму.

Игроки снова сдали карты, послышались три щелчка, один за другим, словно удары хлыстом, вызывающий крик игрока, довольное кошачье урчание близняшки на полу, которая подымалась на ноги с помощью сестры и Клары.

Никто не ждал, что зритель вернется так скоро, — никто не думал, что этот зритель и другой, который глядел на свет и скреб в затылке —

— Человеческое море, — сказал Хуан, стоя у перил. — Адрес, у тебя плешь. А у тебя, репортер, перхоть в волосах. Но ты, Клара, как ты красиво смотришься, я тебя боготворю!

— Хватит, — сказала Клара. — Иди сюда и успокойся.

— Я тебя всеобожжаю, — кричал Хуан. — Многообъемлю! Я тебя разноцветю, я тебя переосознаю!

— Невероятно, — сказала близняшка. — Уже половина десятого. Пойди позвони маме, Кока.

— Откуда? У дверей сторож, и потом на улицу идти я...

— Ладно, я пойду сама.

— Нет, пойдем вместе...

— Хорошо.

«Из таких диалогов делаются значительные книги»,— подумал репортер, глядя, как Хуан спускается по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы рассмотреть как следует сцену, с такой миной, будто он не видит того, на что смотрят его глаза. Возвратившийся зритель что-то возбужденно шептал на ухо сотоварищу. Мало кто забеспокоился, когда худенькая девушка с большими беличьими глазами вдруг рухнула в обморок у самого стола и, падая, ухватилась за списки и потащила их за собой. Добраться до нее, преодолеть полметра, пронизанные потом и злобой, было делом безнадежным. Клара села на скамейку рядом с Андресом, тот спал.

— Всем хочется спать,— сказала Клара.— Это от...

— И от дыма. Посмотри на пол, вон там, под столом.

— Мне не видно,— сказала Клара.— Отсюда не видно.

Стелла довольно улыбнулась. По случайности у нее перед глазами был просвет — юбки и брюки не заслоняли ей этого куска пола под столом, и ей было видно. Ей действительно хорошо было видно.

— Ее понесли в деканат,— сообщил Хуан.— Они не правы, в таком месте можно, не приходя в себя, снова упасть в обморок. Все, Кларита, мне кажется, дело идет к концу. Погляди,—

и он указал ей пальцем на стол; палец дрожал, и несколько человек проследили взглядом, куда он показывал, даже Андрес открыл глаза и возвратился из своего головокружительного путешествия. «Мы рядом,— подумал он,— я так мечтал об этом.— Он поглядел на профиль Клары, на ее легкое плечо.— А теперь необходимо держать дистанцию, какая гнусность все-таки, отвратительно...»

— Че, просто невероятно!

— Вот это да!

«Ничего не кончилось,— подумал Андрес почти с удивлением.— Эта рука была в моей руке и вела себя так же, как —»

— Да они с ума сошли, че, это же просто бардак!

— А ты чего хочешь! На, хватай, это — для всех!

«Как интересно: красота, которую мы любим, находится на оборотной стороне побед. Как красиво. Умереть вот так, когда все завершено. Искать смерть потому, что у тебя не осталось больше ничего, кажется странным... У того мертвеца что-то оставалось, во всяком случае он рухнул внезапно, занимаясь делом, умер, а он не хотел этого...»

Репортер захохотал так, что Андрес посмотрел на него, и даже Хуан перестал указывать на стол. «Сошел с ума, — подумал он. — Сбрендил». А репортер все хохотал, глядя на то, что творилось у стола, а рыженькая уже тянула руки за свитками, которые раздавали зрители, —

— Кончайте шутить, быть того не может!

а студент Мигелетти успел схватить свой, и рыженькая тоже схватила и сразу же принялась разворачивать, держа высоко над головой.

«Лучше остаться здесь, — подумал Андрес. — Кто знает, чем для нас кончится эта ночь. Возвращаться всегда означает искать укрытия в знакомых закоулках. А может, там, за этими стенами, нас ждут новые просторы—». Взрыв хохота, которым разразился Хуан, прервал его мысль. Новые просторы. Вот он, новый простор; время: половина десятого —

(кажется, так сказала близняшка —

но они ушли, бедняжки, раньше времени, вот и останутся без дипломов) —

— Смотрите, хорошенько смотрите! — Хуан на лестнице рыдал от смеха. — Репортер, репортер, ты должен рассказать об этом! Это — вершина всего, седьмой день творения!

Но репортер уже держал в руках свиток рыженькой и намекал ей насчет ужина в «Охотничьем рожке».

Клара глядела на зрителя —

потому что уже образовались просветы, студенты расходились, —

он протягивал ей свиток, но Клара повернулась и оказалась лицом к лицу с Хуаном, который глядел на нее — после того, как спрыгнул на пол —

И Андрес подумал с улыбкой: «Бедные ребята, как им гадко», потому что у Клары глаза были полны слез и она плакала, глядя на Хуана, на Андреса, на лестницу, повер-

нувшись спиной к зрителю, который протягивал ей ее диплом —

чистое место оставлено для имени —

а внизу так красиво, все написано тушью —

и печать круглая —

и все выглядит как торжественный финал симфонии, которого достоин всякий хороший диплом —

УНИВЕРСИТЕТ БУЭНОС-АЙРЕСА

Настоящий диплом выдан —

надо просто заплатить десять песо какой-нибудь учительнице с хорошим почерком —

Настоящий диплом выдан («Возьму-ка и я один,— подумал репортер, пятясь.— Повешу его над письменным столом, отнесу в редакцию —»)

Хуан прижал Клару к себе. Через плечо жены он глядел на зрителей, созерцавших свои труды и очень спешивших, потому что свет опять начал тускнеть. Послышалось шуршание, деликатный скрип, что-то треснуло. Какая-то доска во внутренностях стола, видно, отклеилась, фанеровка из настоящего кедра, гарантированная. Однако при такой влажности никакая гарантия — слабое потрескивание, словно где-то в пространстве зашпорил пар проворных сухих насекомых. Хуан плохо видел (его раздражало, что он плохо видит, и он приложил ладонь козырьком к глазам, как дети), однако отчетливо слышал короткий спор — разлад за столом. Они покорно согласились (Клара все еще плакала), когда Андрес взял их обоих под руки и повел, а Стелла шла позади и спрашивала, почему они не дождались своей очереди, а репортер следовал за ней и хвалил ее прическу и какая она сама свежая, ну просто роза в позднюю ночную пору. Дверь деканата была открыта, свет горел. И хорошо видна была мебель, вешалка, стойка для зонтиков, портрет Сан-Мартина; а сторож, который прежде стоял на входе, теперь караулил выход —

— ибо все на свете относительно —

и не помешал им выйти, наоборот, но только был удивлен и все смотрел на их руки, на карманы, искренне был удивлен — отчего же это они уходят с пустыми руками.

## VII

*Что затих веселый клест,  
длинный клюв, короткий нос!*

Веснушчатый мальчишка злился и кричал. Другой стоял чуть поодаль, возле книжного магазина «Летрас». Он тоже крикнул что-то, но они не поняли, что именно.

— Длинный клюв, короткий нос!

С середины лестницы Андрес оглянулся на реку. Странно, что реки не было видно за домами; ему смутно помнилось, что между поднимавшимся по склону городом и рекою не было никаких препятствий. Фонарь на углу Виамонте и Реконкисты утонул в тумане, когда они молча пошли вниз по улице, понимая, что дальше тут делать нечего. Из центра города полз еще более густой туман, от которого почему-то пахло паленой одеждой. Проходя под фонарем, Стелла вскрикнула: на шею ей упал жучок и царапнул колючими лапками. Хуан снял с нее насекомое и внимательно оглядел: жучок перебирал лапками в воздухе; а потом мягко выпустил его из рук. Никто не разговаривал, и Андрес слушал (не глядя, смотреть не хотелось) глухой плач Клары, которая старалась сдержаться.

— Смотри,— Хуан указал на дощечку, висевшую под трамвайным проводом. Прочитать было нелегко, Андрес поднес ладони к глазам:

**СТУПАЙТЕ И СПУСКАЙТЕСЬ ВНИЗ ПО СКЛОНУ  
НЕ СПЕША.**

— Не поймешь,— сказал Хуан,— что это: предупреждение или побуждение?

— Неплохо,— сказал Андрес.— Однако я голоден.

— И я,— сказала Клара, шмыгая носом, как маленькая.— Я готова съесть репортера и Андреса заодно...

— Ах ты, жук богомол,— сказал Хуан.— Тебе нравится бар «Швейцарский»?

— Нет. Я мечтаю поесть в каком-нибудь элегантном месте, где для каждого найдется салфетка, как говорит Сесар Бруто.— Она ухватила за руку Андреса, который, остановясь на углу, позволил ей опереться на него.—

По сути, меня мучает жажда. Там, внутри... Но ты понимаешь, что это —

— Нет, не понимаю, но подтверждаю,— сказал Андрес.— Бедные ребята такого не заслужили.

— Кто его знает, че,— сказал Хуан, подталкивая их, чтобы они наконец-то — ну:

**СТУПАЙТЕ И СПУСКАЙТЕСЬ ВНИЗ ПО СКЛОНУ**

— Вот именно,— сказал репортер, вздыхая.— Да еще в такую жару —

— Я слышал раскаты грома там, на юге, если это только раскаты грома.

— Сейчас их мигом исследуют в твоей лаборатории,— сказал Хуан.— А я не очень уверен, что не заслуживаю такого. На свадьбу опоздали, и торт уже протух.

— А я знала материал,— по-детски пробормотала Клара.

— Да не об этом же речь, старуха. Ты прекрасно понимаешь, что никому нет дела ни до каких знаний. Слушайте, давайте все пойдем в «First and Last» и насосемся там, пока день не кончился, как сказал один мой знакомый поэт. Посмотри-ка, Андрес,—

Из бара на углу вышел —

по старой привычке задрал голову (бросал вызов — кому? туману?)

далекие взрывы, приглушенные —

вышел придавленный, как будто грязный —

быстрые огоньки — машины ехали по улице Леандро Алема —

— Профессор,— пробормотал Андрес.— Какого черта он делает в кафе в то время, как вы?.. Лучше, чтобы он нас не видел.

**ВНИЗ ПО СКЛОНУ НЕ СПЕША**

— Не получится,— сказал Хуан.— Добрый вечер, профессор.

— Добрый вечер, юноша,— сказал профессор и медленным поклоном головы распространил свое приветствие и на Клару. Он улыбнулся половиною рта, а другая половина оставалась тяжелой и недвижимой, словно из рубероида. Они увидели, что лицо у него в поту и он вытирал ладони о брюки.

— Ну и ночь,— сказал он, внимательно поглядев на Андреса, а потом — на репортера.— Как будто в воздухе носится что-то и ты этого наглотался и —

— В воздухе — пух,— сказал репортер.— И летучие грибы, которые мы у себя в редакции исследуем.

— Грибы? — спросил профессор.

— Да, тримартиносы скромникусы,— сказал репортер.

— А-а. В правительственных сообщениях...

— Посмотрите,— сказал Андрес, указывая на запад, где по облакам пластались и дрожали красноватые полосы, словно лучи прожекторов.— Этого, насколько мне известно, в правительственных сообщениях нет.

— Дело в том...— профессор хотел что-то сказать, но замолк, и им показалось, что он согнулся еще больше и уменьшился в размере. «А как же его лекции о хеттах,— подумала Клара, глядя на профессора с ненавистью.— И библиографии на восьми страницах. Какой же он трус...» Профессор взял Хуана за руку, подошел к ним ближе, словно прося внимания.

— Я провел тут весь вечер,— он указал на бар «Швейцарский».— Меня ждали к семи, декан... Но мне из-за моего столика, вот он —

виден весь фасад Факультета, ну, конечно, надо немного нагнуться, и я могу сказать вам —

«Мертвый»,— подумал Андрес,—

потому что, строго говоря,—

это точно —

машина декана так и не приехала. А когда уже стемнело, да еще туман —

(и он задвигал рукою, словно разгребал в воздухе шпателем желтое вещество) —

и тогда мне стало так страшно, что —

вы — молодые и вы должны понять, что —

Хуан мягко отстранил его. Профессор собирался говорить и дальше и знаками давал понять, что они должны его выслушать, но Хуан взял Клару под руку, и они пошли вниз по склону. Андрес отстал и попросил репортера дать Хуану с Кларой уйти немного вперед, и Стелле, которая шла за ними следом,— тоже.



— Оставь их ненадолго наедине. Они так расстроены.

— Ты прав,— сказал репортер.— Знаешь, старик, это — Профессор шел следом за ними, что-то бормоча и ломая руки. Репортер оглянулся на него.

— Постарайтесь пересмотреть свой метаболизм,— сказал он ему вежливо.

— Я...— сказал профессор, но остановился, и туман тотчас же стал разъедать его, как кислота.

Они жадно схватились за сигарету и остановились раскурить ее перед жилым домом с садиком, из которого пахло лугом, топтанным клевером. Не верилось, что такое может быть, и они вошли в сад, прошлись по влажным плитам. Репортер сорвал листик и сунул в рот. Курил и грыз листик. Они уже выходили из сада, когда Хуан, стоявший на углу, стал делать им знаки.

— Похож на призрак,— сказал репортер.— Че, этот туман искажает образы. Первый раз я...

Андрес прихлопнул букашку, застрявшую в волосах у репортера. Они оглянулись назад, на Реконкисту, но профессора уже не было.

— Наверное, сидит за своим столиком в «Швейцарском»,— сказал репортер,— откуда ему виден весь фасад Факультета. А машина декана, заметь —

— Хватит, прошу тебя,— сказал Андрес.— Во всяком случае мы уже почти дошли до деревьев, до их тени. И не возвращайся больше к этой блевотине.

— Хуан зовет нас.

— Пошли, они уже, наверное, успокоились. Слышишь, рояль?

— На верхнем этаже,— сказал репортер, принюхиваясь к воздуху.— Как хорошо, что кто-то еще... Танго, че, надо же — «Бабочка».

Они нагнали Стеллу, которая ждала их, молчаливая и как будто немного сонная.

— И я ничуть не жалею,

что тебя безумно любил,— пропел репортер.— Танго, Андрес, а не правительственные сообщения. Я берусь написать тебе историю с тысяча девятисотого года по сегодняшний день из одних только танго.

— Наверно, занятно,— сказал Андрес, совсем его не слушавший.

— Но раз ты любишь другого —  
раз ты его любишь,—  
тебе я прощаю все — Аптека «Сория»

— Итак, всем коллективом решено отправиться в «First and Last»,— говорил Хуан, прислонясь к витрине, в которой Клара разглядывала духи и пудру.— Но никакого ужина, че, только выпивка и фирменный копченый окорок.

— А потом...— сказала Стелла бодро,—  
(«Потом по домам»)

— Потом — ничего,— прервал ее Андрес.— Забудь ты это словечко хоть на минуту и погляди на пожарных, какие бравые ребята.

Они услышали вой сирены, что-то прокатило мимо, в глазах зарябило. Вблизи реки жара была еще более влажной и моросил мелкий дождь.

— Объясни мне, пожалуйста, как может в одно и то же время стоять туман и идти дождь,— сказал Хуан.— Интересно: вода проливается сквозь туман? Или это происходит в разных измерениях?

— Ему интересно,— сказала Клара, переходя улицу.— А объяснений не дают. Лучше бы...— она замолчала и остановилась в дверях кафе, глядя на то, что происходит внутри. Андрес, который шел за ней следом, увидел их почти в тот же момент. Самый молодой только что сидел рядом с ними в вестибюле Факультета; другой — тот, что играл в карты и пререкался со зрителями. Они сидели за столом посреди зала, а на столе перед ними лежали развернутые дипломы —

и они смотрели на дипломы —

а на столе рядом с дипломами — бутылка грапы и жареный картофель —

(мощный вентилятор перелопачивал воздух и шевелил их волосы, ко всеобщему удовольствию) —

Хуан встал в дверях и сложил руки рупором:

— Дипломники липовые!

Андрес с репортером ухватили его за руку и потянули —

**ВНИЗ ПО СКЛОНУ НЕ СПЕША**

Стелла смеялась с перепугу, а Клара шла впереди, холодная и онемевшая, как будто безразличная ко всему. Студенты даже не выглянули за дверь.

— Невероятно, старик,— жаловался репортер.— Мало тебе одного скандала, ты еще хочешь устроить шум в таком кафе? Ты думаешь, я затем пошел, чтобы мне напоследок еще и расквасили физиономию?

— *Va bene* \*,— сказал Хуан.— Ты прав. Организованность — превыше всего. Хочешь видеть, как ставят фингалы,— плати пятнадцать песо за место у каната и смотри, как на ринге молотят друг друга.

— Слушай, старик,— говорил жалобно репортер, ожидая, что скажут Клара и Андрес, но те ни слова не проронили; они завернули за угол и нос к носу столкнулись с людьми, бежавшими со стороны улицы Кордова. Свистки (с Кордовы, а может, и еще дальше), и один из бежавших, пулей пронесясь мимо Клары, выдохнул ей что-то вроде: «Живые, спасайтесь» или «Живей, опасайтесь», потом он споткнулся, на мгновение застыл на одной ноге, обретая равновесие, и кинулся дальше, а за ним темными комьями неслись другие, словно подстегиваемые полицейскими свистками. Репортер отдал приказ прижаться к стене за выступом дома и оглядеться, что происходит; они сбились в кучку в тени дома (здесь не было фонарей, а кафе на углу закрыто, как и табачный киоск) и смотрели на бегущих людей.

— Какая-то демонстрация,— сказал репортер.— Их разгоняют.

— Не думаю,— сказала Клара.— За ними бы не бежали так далеко.

— Смотри-ка, там, за углом, несут раненого,— сказал Андрес.

— Тяжелораненого,— сказал репортер, который уже увидел руки раненого, свисавшие до земли; группа молча и очень медленно двигалась в их сторону и остановилась совсем рядом, повинувшись приказанию высокого мужчины в серой рубашке и в берете. «Славный подарочек»,— подумал репортер, когда они положили раненого почти к его ногам, что-то бормоча и перешептываясь,—

\* Ладно (итал.).

лучше бы на Майской площади, и там рассыпаться — такой молодой, ну, все, а ты и не понял, что конец, — почему это конец — я тебе говорю —

— Положите мой пиджак ему под голову, — сказал светловолосый парень, дрожавший (возможно) от возбуждения. — Мне кажется, что... — Он недоверчиво поглядел на Андреса, потом на Клару. Раненый хватал воздух ртом, на губах у него застыли слюна и пух; его посадили, прислонив к стене, кто-то подложил ему под затылок свернутый пиджак. Все не столько смотрели на раненого, сколько переглядывались между собой. Раненый вдруг вскрикнул сухо и коротко, как пролаял, и, выпростав руку, прижал ее к животу. В темноте видно было плохо. Андрес заметил, что ноги мужчины то и дело пропадали в стелившемся по земле желтом пару. Только голова в черных кудрях ясно рисовалась в тумане.

— Что произошло? — спросил репортер человека, стоявшего рядом с ним.

— А что, вы думаете, произошло? — сказал другой. — Мы шли себе в парк Ретиро и —

— Siamo fregati, — сказал еще один. — Andiamo via subito, Enzo\*.

— Да щас, погоди. В общем —

Но Андрес уже видел, как они поспешно уходили, один за другим ныряли в туман. Репортер потребовал, чтобы стоявший рядом с ним парень все-таки объяснил ему, но вдруг увидел, что его тоже нет, он уже завернул за колонну, и темень проглотила его. Остались только раненый и светловолосый парень, снявший пиджак. Остальные уходили группками или просто убегали по одному, бежали посередине улицы, меж немногочисленных машин, спускавшихся от Ретиро, — и репортер заметил, что ни одна машина не проехала по улице вверх. «Бледное бормотание, — слова механически приходили сами. — Бледное бормотание. Бледное». Он повторял: бледное, бледное, — пока не вытряс из слова смысл, пока не снял с него шелуху всех ассоциаций и не раскрыл его голое звучание, не обнажил его форму —

\* Мы влипли... Смываемся, Энцо (итал.).

бледный — его звучное ничто — бледный — пустота, в которой помещалась эта, другая бесцветная противоположность розового, отрицательная суть того, что в свою очередь —  
— Он умирает.

Голос Андреса. Лай, стон, человек в берете, скрывшийся за выступом дома. Аптека «Сория», Клара? —

Грузовики —

— Че, Карлитос, Карлитос! — кричал светловолосый, наклонившись и глядявываясь в мучнисто-серое лицо раненого. — Карлитос!

Андрес с Хуаном отвели Клару к краю тротуара, и Стелла, ушедшая за угол, чтобы не видеть, тоже подошла и уцепилась за руку Андреса.

— Вы подождите здесь или идите вниз по улице, а я зайду в эту закусочную и позвоню в полицию.

— Я пойду с тобой и принесу воды, — сказал репортер. — Бледное бормотание.

— Поспеши, — сказал Хуан. — Он бросает его.

Когда они переходили улицу, светловолосый парень уже бежал вверх по Виамонте, а Клара закрыла лицо руками и кричала что-то, они не поняли что, а потом она вернулась к раненому, хотя Хуан и не пускал ее. Стелла, державшая ее под руку, тоже поплелась за Кларой и Хуаном в тень, к человеку, который теперь лежал на боку и совсем замолк.

— Разве не видишь — он отобрал у него свой пиджак! — кричала Клара. — Отобрал!

— Подожди, — говорил Хуан, удерживая ее. — Дай лучше я.

Но она стонала, отбивалась и в конце концов склонилась над раненым. И с криком отпрянула. Стелла, не успев понять, в чем дело, опять убежала на угол, где для нее было больше ясности. Хуан с силой похлопал Клару по спине, встряхнул за плечи и сам наклонился в темноту. Репортер бежал к нему со стаканом воды.

— Телефоны не работают, — сказал он. — На, дай ему...

— Умер, — сказал Хуан. — Я тебе советую не смотреть на него. Дай воды Кларе. Да, старик, Кларе.

— Ладно, — сказал репортер. — Выпей, Клара. — И всыпал в стакан порошок. — Это ей поможет.

Ведя женщин под руки, они подошли к Андресу, стоявшему на тротуаре у закусочной, и перешли улицу Леандро Алема, не встретив ни одной машины, только редкие пешеходы кое-где прятались по углам. Андрес сказал, что закусочная не работает, перед вечером была попытка разграбить ее. Хозяин, лохотенный франт с кольцом в руке, ждал новых событий. Потрясающий тип. А телефон сдох.

— А мне что делать со стаканом? — сказал репортер, когда Клара отдала ему стакан назад. На дне оставалось немного воды, и он выпил ее медленно, глядя через донышко на низкое красноватое небо. Над Почтамтом он увидел самолет, который тяжело удалялся.

— Кто в нем летит? — пробормотал Хуан. — Самолеты всегда угоняют. Держись крепче, старуха, вот так. — Клара подчинилась и шла медленно, будто спала на ходу, а Андрес поддерживал ее с другой стороны и оглядывался на репортера, чтобы тот позаботился о Стелле, которая все время оборачивалась назад, полумертвая от страха.

— Я правда ничего не понимаю, — сказала Стелла. Репортер пожал плечами, и когда они пошли по узкой дощатой мостовой вдоль огороженного забором дома, где шел ремонт, осторожно поставил стакан на землю, рядом с дощатым настилом.

Здесь столько виски — столько грапы — столько пива, «First and Last» — отличное питейное заведение — на воздухе, открыто всем ветрам — орошается водяной пылью реки, грязь — ну и что — подумаешь, грязь, — горячительное бодро вливается в чужие глотки.

«First and Last»: все, что случается, случается с другими прихожанами (здесь их называют клиентами) — так что заведение — отличное, здесь собираются люди с реки, чтобы прикончить жажду, — посидят — попользуются, а потом уходят —

— Мораль всех питейных заведений, — сказал Андрес, вытягивая ноги. — Кто-то теряет, а кто-то находит, и наоборот.

— Мораль тонкая, как южный ветер, — сказал репор-

тер.— Годится для рулетки, для фильмов, для самых различных вещей.

— Для нас,— сказал Хуан, вытирая лицо. Сосем чужие жизни, чтобы взбодриться самим. Я говорю с тобой? Нет, я не говорю с тобой. Я отбираю у тебя слова и прячу их. Снимаю с тебя улыбку или вот этот взгляд.

— Отобрал у него пиджак,— сказала Клара, вздохнув.— Простите меня, я очень устала. Нельзя...

«Отбирать,— подумал Андрес. Ему снова увиделся «Атенео», очки, покачивающиеся в руках у продавца.— Нельзя отбирать ничего, если кому-то не хочется этого потерять. Вот так-то». Он улыбнулся насмешливо. Какая сентиментальность.

— К вопросу о пиджаке,— сказал репортер, пошел за стулом и повесил на него свой пиджак. Андрес с Хуаном последовали его примеру, сразу почувствовав, что усталость спадает, как всегда происходит, когда переоденешься. Ибо, как сказал Хуан, одежда является частью души человеческой и сама может чувствовать, а потому чем раньше ее повесишь, тем лучше. Им принесли пиво в бутылках —

не слишком холодное, поскольку —

(что-то насчет электричества) —

и огромные сэндвичи с колбасой и сырокопченым окороком. Они устроились справа у стены, относительно уединенно, видно, темнота разогнала клиентуру. Раскосый парнишка у стойки не сводил с них глаз и только иногда оборачивался посмотреть, сколько времени на старых стенных часах, висевших между прејскурантом и вытяжкой (которая не работала).

— Сюда,— сказал репортер,— я пришел с девушкой в ту ночь, когда умер Рузвельт. Она так плакала, что мне пришлось глушить ее горе катамаркской грапой. По-моему, она тогда здорово на меня обиделась.

— А мы здесь были много раз,— сказала Клара.— От центра удалено и в то же время в двух шагах, из-за этого нравится. Андрес, помнишь ночь забастовки?

— Бедный Хуан,— сказал Андрес.— Как ему тогда досталось.

— А тебе? Тебе это стоило нового костюма. Пей, пожа-

луйста, Стелла. И хватит вам сидеть будто в воду опущенные.

— Я смотрю на того сеньора,— сказала Стелла, боязливо указывая на клиента, который сидел за столиком в центре зала, под одним из вентиляторов (неработавшим), и потел, точь-в-точь как бывший президент Агустин П. Хусто, только один глаз у него был воспаленный, красный, а во рту — сигара. Четыре другие сигары частоколом торчали у него из кармашка для платка (платка не было).

— Полный набор,— сказал Хуан.— Погляди на его кольцо, трехкратное. Очки, лысина, черный галстук. Совершенство. Сейчас он поднимется и подойдет к нам, предложит купить отрез кашемира.

— Однако он пьет кофе,— сказал репортер.— Это скандал, потому что такой тип должен пить не кофе, а геспиридин. Официант!

— Слушаю вас,— сказал официант, глядя на дверь, в которую влетели сразу трое. Один обернулся и посмотрел на улицу, а двое оглядывались вокруг, как люди, вышедшие из темноты на свет, и наконец выбрали столик в углу. Первый махнул рукой и присоединился к ним; лицо у него было в копоту, волосы на висках склеены потом, как бриллиантином —

— Еще сэндвичей,— сказал репортер.— А что, вентиляторы...

— Не работают,— сказал официант.— Еще сэндвичей? Не знаю, осталась ли ветчина, пойду посмотрю. Смотри-ка, еще идут!

Вошли две пары.

— А что ты хочешь? — сказал репортер.— По-моему, главное их желание — смыться. Пейте, Клара, вы блее Грокка \*.

— Я — круглая дура,— сказала Клара.— *Animula vagula, blandula* \*\*. Но было так —

— Ладно,— сказал Хуан улыбнувшись.— Все было довольно мерзко, но ты вела себя хорошо. Иногда, правда, падала духом. Посмотри на эту девушку в желтой блузке. Че, да этот тип ей угрожает.

\* Грокк (1880—?) — знаменитый швейцарский клоун.

\*\* Жалкая, заблудшая душонка (лат.).



— Разумеется,— сказал Андрес.— Истерия, греческое слово. А не лучше ли тебе увезти Клару отсюда? Я имею в виду — из Буэнос-Айреса.

— Система Пинчо,— сказал Хуан с горечью.— Зачем? Это не может длиться дольше, чем — Он по-мальчишески махнул рукой и уставился на курильщика сигары. Поплакать бы наедине с самим собой. Поплакать бы, закрывшись с головой простынею. Принять бы душ, да еще — Он смотрел, как мужчина за столиком у стены, где перегородка делила часть зала на маленькие отдельные кабинеты, нащупывал коленом колено женщины. Женщина смеялась как крыса. «Тоже боится», — подумал Хуан и вдруг разглядел в глазах Андреса нечто, удивившее его. В голову пришла дурацкая мысль: хорошо бы рядом был цветной кочан. Некоторое время они сидели молча, но слушать отдаленные взрывы было, пожалуй, еще хуже. К тому же — туманные нимбы вокруг электрических лампочек, неработающая вытяжка, портрет Президента рядом с преискурантом, «Старый Смаглер», пиво «Омбу», вино «Амаро Пагильотти».

— Невероятно,— заговорил вдруг репортер.— Видишь типа с сигарой? Сидит как ни в чем не бывало. Наверное, надо бы написать о нем.

— Напиши,— сказал Хуан.— Развлечешься немного. В противовес общему ощущению беспокойства, порожденного будоражащими общество элементами,—

у тебя, наверное, такой стиль,—

мы рады познакомить наших читателей с благоразумным человеком, который, сидя за столиком в «First and Last»...

— Черт возьми,— сказал репортер.— Если бы я писал такие репортажи, я бы уже стал знаменитым.

— А ты старайся,— сказал Хуан.— Вспомни Бернардо Палисси.

Стелла встрепенулась, услышав имя, но ничего не сказала —

Юность, золотая пора —

ожидая, что Хуан продолжит. Но Хуан смотрел на Клару, как старательно она ест свой сэндвич, и последовал ее примеру: прислонившись головою к ее голове, стал в унисон

с ней жевать, так что Андрес, глядевший на них, заулыбался.

— Знаете,— сказал Андрес словно о чем-то неважном,— вам обоим лучше бы уехать отсюда.

— Почему именно нам? — спросила Клара.— И почему уехать лучше? Прочти ему твоё прелестное онтологическое стихотворение, Хуан. Уйти, остаться...

— Слушай,— сказал Хуан.— Уйти, остаться,  
с жизнью игра.

Кто его знает

Когда —

пора.

— Я имею в виду географическую карту, а ты мне — про карту души,— пробормотал Андрес.— Хватит играть словами.

— Географическая карта,— повторил Хуан.— Географических карт давно нет, дорогой.

«А мы знали материал —» Она думала об этом, наклонив голову и глядя на ломтик ветчины, который зажала в пальцах. Это лицо... Он отнял у него пиджак, который сам же положил ему под голову. Она старалась проглотить, потянулась за своим стаканом; может, если запить глотком пива — вкус получился отвратительный, интересно, что если сначала съесть сандвич, а потом — пиво, потом опять сандвич, то еще ничего. А вот если (все равно как хватануть ложку горячего жаркого и запивать вином, чтобы охладиться; такая смесь во рту получается, просто мерзость —).

Хуан откинул ей волосы со лба, дунул на лоб. Улыбнулся.

— Тепка-растрепка, лягушачья попка, не печалься, не бойся, выздоравливай скорей.

Клара положила сандвич на тарелку и прижалась лицом к груди Хуана; тот обнял ее рукою, отгораживая от всего вокруг.

— Пошли подышим на улице,— сказал Андрес репортеру.— А ты, Стелла, останься.

На улице еще не совсем стемнело, свет, казалось, падал сверху. Порт тонул в тумане, люди выныривали из тумана, переходили через улицу или останавливались на углу (несколько человек уже стояли там и тихо разговаривали).

Человек на другой стороне осторожно раскуривал сигарету. Репортер некоторое время рассеянно смотрел на него. На лицо, на руки налипала влажная, вязкая пленка. Казалось, будто ты грязный.

— Знаешь,— сказал Андрес.— Надо их каким-то образом вытащить отсюда.

— Согласен,— ответил репортер.— Скажи — каким.

— Скажи, скажи... Посмотри на эту букашку.

Бабочка отыскивала

двери

в бар.

— Угу.

— Бедняжка из кожи лезет вон, а открытая дверь у нее перед носом. Поразительно, до чего бабочки удобное пособие для практической философии.

— Все мои симпатии — на стороне бабочек,— сказал репортер.

— Они оба упрямятся,— сказал Андрес.— Сам не знаю, как мне их убедить.

— Понятно.

— В конце концов мы с тобой можем остаться. И Стелла — тоже. Что с нами может произойти?

— Ничего. Здесь вообще никогда ничего не происходит.

— Они — другое дело. Не знаю, но мне так кажется.

— Да,— сказал репортер и раздавил букашку, которая ползла по его ботинку; букашка треснула сухо и весело. Глядя в глубину улицы (там на земле рядом с дощатым настилом стоял оставленный им стакан), он различил слабое свечение (его поглощал туман) — это меж желтых лоскутьев тумана голубоватым огнем светились доски, служившие тротуаром.

— Смотри, дурной свет,— сказал он.— Сырость, гниение, а в результате всегда — прелестный голубой свет.

— Небо — это брюхо мертвого прошлого,— произнес голос Хуана. Он поравнялся с ними.— Красивые вещи говорят сегодня ночью...

Андрес собирался было ему ответить, но тут послышался пронзительный свист и хриплый крик со стороны центра, а над Виамонте занялся красноватый отсвет, окрасивший

и туман и воздух далеко, насколько хватал глаз.

— Ça chauffe \*,— сказал репортер и тихо присвистнул. Группа людей на углу тотчас же рассыпалась, на бегу роняя обрывки фраз. Остались только человек, спокойно куривший на углу Бушар, и черный грязный пес, лаявший в небо.

— Дай мне поговорить с ним,— сказал Андрес репортеру.— Хуан, пройдемся немного.

— Давай,— сказал Хуан, глядя вслед репортеру, возвращавшемуся в бар.— Пусть он посидит с девочками. Ты слышал крики?

— Посмотри туда,— сказал Андрес. Отсюда зарево в небе казалось еще ярче.— Интересно, что это не похоже на пожар.

— Туман,— сказал Хуан.— Начинает по-настоящему действовать на нервы. Да еще стреляют...

Грузовик, набитый людьми, въехал на территорию порта, развернулся за баром, словно выбирая направление, и покатил в сторону реки. Фары стригли туман.

— Вот,— сказал Андрес,— точно так должны поступить вы, и сейчас же, не раздумывая. Увези ее отсюда.

— Ничего себе условие ставишь,— сказал Хуан.— Не раздумывая. Правильно. Правильно.

— Пожалуйста,— сказал Андрес.— А если снова все ограничится словами...

— Действительно, прости. Я ничуть не сомневаюсь в твоих добрых намерениях. Но это же глупо. Легко сказать: увези ее, но, во-первых, я не вижу почему —

— Если что-то еще и можно увидеть, то именно это,— сказал Андрес.— И, пожалуйста, отбрось самолюбие.

— Но ты сам собираешься остаться,— сказал Хуан, останавливаясь.

— Не знаю еще. Отвезу Стеллу к матери, в Касерос. Не думай, что я собираюсь оставаться тут, в центре, как прикованный.

— Касерос,— сказал Хуан.— Лично мне кажется, что уже и до Касероса добраться нельзя.

Андрес пожал плечами. Ему не приходило в голову по-

\* Это греет (франц.).

думать о себе, заранее подумать о том, что он будет делать. Решение всегда приходило само собой: просто вдруг хотелось сделать то или иное, и это было свободно принятое решение. А Хуану он сказал неправду, сказал первое, что пришло в голову, — дружеский упрек Хуана толкнул его на это.

— Может быть, — сказал Андрес. — Но тебя я прошу: уходите с ней сейчас же. Я тебя прошу.

— Почему? — сказал Хуан задиристо, как больной ребенок.

— У меня нет объяснений, есть только страх. Ты же видишь, в каком состоянии Клара.

— Еще бы, такое нам устроили.

— Увози сейчас же.

Поскольку Стелле хотелось есть, для нее заказали еще сэндвич.

— Прошу тебя, ешь поскорее и пойдем, — сказала Клара. — Вы не чувствуете, что-то горит?

— Это запах от цинковых крыш, — сказал репортер. — Но жара должна бы уже спадать. Да, здесь становится многолюдно. Какие лица. Боже мой. Я бы не удивился —

(и тут он удивился, вспомнив спину человека, закуривавшего сигарету на углу улицы), —

если бы сюда вошел этот ваш славный профессор.

— Не думаю, — сказала Клара. — Он, наверное, уже сгнил наполовину за своим столиком в «Швейцарском».

— В ожидании автомобиля декана, — сказала Стелла, и репортер горячо поздравил ее и помог освободиться от гигантской бабочки, которая вознамерилась пройтись по ее лицу. Среди вошедших многие были в рубашках, но большинство — матросы. Один, уже совсем пьяный, подошел к столику —

Sometimes a wonder why I spend  
a lonely night  
dreaming of a song \*.

\* Иногда, отчего — не пойму,  
всю ночь напролет  
во сне слышу песню (англ.).

— Красивый голос,— сказал репортер, допивая пятый стакан пива.— Правду говорят: что выпил, то и спел. Чего тебе, сынок?

Худой человек в синей пижамной куртке склонился над ним.

— Прошу прощения...— говорил он, оглядываясь.— Всего сто песо.

— Ах так? — сказал репортер.— Очень дешево.

— Сейчас просто, потому что ночь,— сказал человек.— Река ушла далеко от берега. Совсем обмелела.

— Ах так.

— Главное, добраться до канала. Я знаю дорогу, ну — («Сейчас скажет: как свои пять пальцев»,— подумала Клара) — как свои пять пальцев. Главное — добраться до канала.

— За сто песо,— сказал репортер, начиная понимать.

— За всех четверых. Прямо сейчас.

— Че, Калимано,— позвал голос из глубины помещения.— Иди сюда.

— Иду,— сказал Калимано.— Ну, как?

— Я бы хотел знать,— сказал репортер,— у меня что, вид человека, который хочет сбежать?

Калимано улыбнулся, но продолжал ждать, хотя его снова позвали.

— В общем, я тут,— сказал он наконец.— Если надумаете, свистните.

— Я свистну,— сказал репортер, открывая новую бутылку.— Пиво совсем теплое. Пейте, девочки.

— Не хочу.— Клара видела, что Калимано, сидя за столиком в глубине, смотрел на них выжидающе —

(«Да я же его знаю,— подумал репортер.— Того, кто закуривал сигарету,— ну конечно...»)

и иногда оборачивался, чтобы обменяться словом с другими двумя, попивая —

судя по форме бутылки и стаканов, скорее всего — семильон.

— Ладно,— сказал репортер, наливая себе пиво.— Это начинает повторяться чаще, чем тема Зигфридова рога. Эй, Хуан, послушай.

— Пей и оставь меня в покое,— сказал Хуан и сел на свой стул, не глядя на Клару, которая, подняв глаза, наблюдала за лицом Андреса,— время от времени левая бровь Андреса подрагивала в тике. Как будто подмигивает, только наоборот, как странно. Паутинка копоты тянулась от волос ко лбу; Клара дунула, и паутинка полетела на чужой столик, к тарелке. Бабочка из копоты, чего только не было сегодня ночью,— на память пришла фраза из девятой симфонии Брукнера. Слово «оцелот». Золотистый... стихотворение Хуана: золотистый оцелот.

— Прочти мне маркополо, Хуан,— попросила она.— Когда я устаю, мне нравится маркополо.

— Не хочется. Че, давайте лучше пойдём.

— Куда? — сказал Андрес.— Не видел, на улице?

— Прочти мне маркополо,— опять сказала Клара, и Стелла повторила за ней как эхо: «Прочти маркополо».

— Да это шантаж,— пробормотал Хуан, бросая рассерженный взгляд на Андреса.— Сначала ты, а теперь они с этим маркополо, и...

— И сто песо,— сказал репортер.— Вот того сеньора зовут Калимано, и он за сто песо предлагает вам лодку.

— Что ты говоришь?

— То самое, что ты слышишь. Это первая из двух новостей. А вторая — не такая уж новость, так что спешки никакой. Че, что за нервы!

Но Андрес уже шел через бар (вставая, он опрокинул стакан репортера, к счастью, пустой; репортер его тотчас же наполнил) —

(«я хотела послушать маркополо») —

Да, Хуан, прочитай —

— Куда он пошел?

— К Калимано,— сказал репортер.— По сути дела, для вас с Кларой это лучший выход.

— Ладно,— сказал Хуан и достал еще одну сигарету.

— Я...— сказала Клара, глядя на Андреса, склонившегося над столиком в глубине, на его худощавое тело, четко рисовавшееся на фоне дощатой стены, где вверху — поддельный (поддельный ли?) занавес, как в варьете, а рядом — дверь туалета, а на ней нарисована рука, указывающая

направление, и все это в голубоватом мареве дыма и тумана, сочащегося в отверстие неработающей вытяжки. В бар вбежал мужчина и что-то сказал парню за стойкой. Когда он выбежал, наткнувшись по дороге на стул, бармен крикнул ему: «Погоди!» — но увидел, как тот выскочил в дверь, и тогда одним прыжком —

(«поистине, золотистый оцелот»)

перемахнул через стойку и стремглав помчался за ним следом.

— Кто же теперь принесет нам пиво? — посетовал репортер. — По-моему, официанту не дано самостоятельности, не говоря о том, что, кажется, все уже смылись. А пивные краны без присмотра? Представляю, что тут начнется, когда оживут насосы.

Хуан улыбнулся ему почти спокойно. «Хороший заключительный аккорд для сегодняшнего дня, — подумал он. — Каждый вечер мы видим, как люди расходятся по домам, с кем-то из них мы прощаемся, вешаем одежду в шкаф — и все это проделываем не задумываясь, без драматизма — завтра все начнется сначала. Но эти двое уже не придут сюда больше. Этот бар завтра для нас не откроется».

— Хотим маркополо, — сказала Стелла. — Наверное, красивое.

— Давай маркополо, — сказал репортер. — Разобьем по крайней мере монотонность, единственное, что осталось неразбитым.

— Боюсь, не вспомню, — сказал Хуан. — Дурацкое стихотворение, написано совсем в иные времена.

— Именно поэтому, — сказала Клара и легла щекою ему на плечо. — Именно поэтому, Хуан.

— Ладно, ладно, сейчас, — пробормотал Хуан. — Я написал его, когда мне нравились слова, эта поэтическая икра. Иди сюда, Андрес, присоединись к публике. Тайльфер \* вновь шествует по Гастингскому полю, но вместо песни о сражении дарит нам утреннюю серенаду или мадригал — видишь, все возвращается, слова *dont je fus dupe* \*\*

\* Нормандский жонглер, по преданию, шедший впереди войск во время Гастингского сражения (1066 г.).

\*\* Которыми я был одурочен (*франц.*).



Да, старуха, мы достойны маркополо, а потому —  
МАРКО ПОЛО вспоминает:

Твои рабы искали дни за днями  
мой след, чтоб для меня открыть ворота.  
Пути и годы сбили их со счета —  
вернулся караван, гремя цепями.

Но лунная тропа со мной, как прежде,  
и шелка шум, и грозный гул ночами...  
Вернулся караван, гремя цепями,  
а отплывал я — с парусом надежды!

Твой край далекий, крохотный и строгий,  
где карлики-деревья длят досаду,  
кроты взрывают борозды по саду  
и рой огнистый реет над дорогой!

Твоих земель размытая граница —  
в пометках ливня, в зелени таможен.  
В мою котомку амулет положен,  
что на границе чуждой пригодится.

А речь твоя — лишь те ее узнали,  
кто облаков следил метаморфозы —  
дыханье ночи, лезвие угрозы  
и ожиданье, там, на перевале.

Ворота выгнул времени избыток,  
ты — за преградой из обсидиана,  
за временем, и гонг звучит неожиданно —  
к дверям бросаю имя, точно свиток.

Тринадцать лун в кравовом омовенье,  
цикад хрустальных музыка слепая,  
луна в воде скользит, не утопая,  
и ты — стократ прекрасней в отдаленье! \*

\* Перевод Нат. Ванханен

— Замечательно,— сказал репортер.— Сверкающее многоцветное стихотворение.

— Замолчите,— сказала Клара.— Это — мое, оно мне нравится, и кроме того, оно из иной поры. Небольшое воспоминание специально для меня, колечко на память.

— Действительно, отдает иным миром,— сказал Хуан.— А вообще-то, Клара, тому назад совсем немного лет...

Сердце — калейдоскоп живой,  
шаг, другой — и ты сам иной!

— Ты прав,— сказал Андрес, наклоняясь к репортеру, который уставился в стакан.— Этот тип повторил мне свое предложение.

— Понятно, но они не хотят уезжать.

— Конечно, не хотим,— сказал Хуан, и ему вдруг вспомнилась его квартира и ваза, а в ней — цветной кочан, один в доме, цветной кочан в квартире, один-одинешенек.

— И плохо делают,— сказал репортер.— Потому что, кроме всего прочего, там, на улице, человек, который все время ходит за ними по пятам.

— Как? — сказал Хуан и выпрямился. Рука Андреса легла на его плечо — Он сел на стул — Клара схватила его за пиджак — Абель —

— Спокойно,— сказал Андрес.— Бежать на улицу — не выход.

— Как странно, но я это понял только сейчас,— сказал репортер Стелле.— А все из-за теплого пива —

этой мерзкой мочи, сваренной орангутангом в полотняном костюме, тухлой мочи, приготовленной женщиной, питающей пустые иллюзии —

из-за этого пива, что бродит у меня под кожей лица.

— Да, вижу, ты здорово набрался,— сказал Андрес.— Но ты его видел или нет?

— Сигарету закуривал,— сказал репортер.— На углу Бушара.

— Дайте я выйду на минуту,— сказал Хуан очень спокойно.— Посмотрю — и все. Ты не представляешь, как мне хочется поговорить с Абелем.

— А поговорить тебе надо не с Абелем, а с Калимано,—

сказал Андрес.— Стелла, пойми хоть ты, что —. Стелла взвизгнула, бабочка (а за ней — еще одна) запуталась у нее в волосах. Матрос в глубине зала передразнил ее — тоже взвизгнул, а следом за ним и другой. Женщина, только что вошедшая в зал, быстро обернулась на визг и вскинула вверх руки, словно защищаясь.

— Бедное чешуекрылое,— сказал репортер.— Вот оно, смотрите, какое у него шелковистое брюшко.

— Жуть,— сказала Стелла.— На крыльях — как будто буквы.

— Реклама,— сказал репортер.— Какие-нибудь мерзкие призывы. Смотри-ка, Джонни, смотри, начинается. Пошли отсюда скорее, пахнет жареным.

Кто-то на улице, видно, бросил камень, и тот гулко ударился о крышу. В глубине зала закричали, визгливо захохотали, и полупьяный матрос —

So I dream in vain

but in my heart it always will remain —

сгреб в охапку бутылки с полки за стойкой,—

my Stardust melody \*

но одна (с грапой) выскользнула и разлетелась вдребезги, наполнив воздух сладковатым запахом, заглушившим и табачный дым, и туман —

the memory of love — refrained \*\*.

«Куда дальше,— подумал Андрес, вскакивая на ноги.— Ну, старик, теперь каждый думает сам. В такой миг каждая жаба ищет свой колодец».

— А теперь, когда ты решила оставить в покое мой пиджак,— сказал Хуан,— я думаю, ты не станешь противиться тому, чтобы я вышел и посмотрел, там ли Абелито.

— Бывают поступки и поступки,— устало сказал Андрес.— Настоящие и все остальные. И лучший твой поступок на данный момент называется Калимано.

— Но мы не хотим уезжать,— сказала Клара, глядя на него с нежностью.

\* Я погружаюсь в пьяный сон,  
но в сердце навсегда запечатлен  
мотив Stardust (англ.).— Stardust — «Звездная пыль» — американский  
шлягер 20-х годов.

\*\* Память любви сохранила (англ.).

— Остаться означает Абель,— сказал Андрес.— Послушайте, ребята, вам никак нельзя оставаться. Этот камень, брошенный в крышу, предназначался не ему, не Стелле и не мне. Его бросали в вас.— В зале стоял такой гвалт, что Андресу пришлось повысить голос.— Какая жара... Посмотри на свои руки, Клара. Дотронься до лица. Нужен другой воздух, чтобы твоя кожа высохла от пота.

— Дело не в том, что я хочу остаться,— сказала Клара.— Просто я не вижу, почему надо уезжать.

— Давайте втроем выйдем на улицу,— пробормотал Андрес.— Возможно, там вы увидите.

— Увидим Абеля? — спросил Хуан, поднимаясь.

— Возможно,— сказал Андрес.— Стелла, останься с репортером, он совсем засыпает.

— Расскажите потом,— сказал клевавший носом репортер.—

I am Ozimandias, king of king \* —

что в переводе означает... Ладно, материала — на полную колонку корпусом...

— На много колонок,— сказал Хуан.— Для Озимандиаса. Спи, репортер, а Стелла заботливо будет охранять твое похмелье.

— Я,— сказал репортер,— не сплю.

Андрес отступил в сторону, пропуская вперед Клару с Хуаном. Положил было свой бумажник в карман Стеллы, но снова достал и вынул из него пару купюр.

— На всякий случай...

Стелла посмотрела на него, зажала бумажник в руке и опустила себе в карман.

— Иди, не беспокойся,— сказала она.— Я сама управляюсь.

— Может, я немного задержусь,— сказал Андрес.— Но лучше мне пойти одному. Если тебе станет тут неудобно или начнут донимать, оставь репортера спать, а сама —

— Иди, не беспокойся,— сказала Стелла.

— А если все будет нормально, подожди меня тут немного.— Он коснулся ее щеки тыльной стороной ладони и пошел к двери, а на пороге обернулся и, вложив два пальца в

\* Я Озимандиас, король королей (англ.).

рот, свистнул, подзывая Калимано. В глубине зала задвигались стулья, эдакое маламбо без музыки, звякнули разбитые бутылки. Калимано вынырнул из-под груды чего-то и, не торопясь, твердо ступая, направился к двери.

— Останься здесь,— сказал Андрес и вложил ему в руку одну бумажку.— Когда я опять свистну, выходи к нам.

— Как прикажете,— сказал Калимано.— А покудова пропущу стопочку для освежения тела, чтобы не потеть.

Хуан смотрел в сторону Бушара, но из-за тумана и красноватого зарева, становившегося все ярче, трудно было разглядеть очертания фигур и даже зданий. Они вдруг поняли, что в кафе было прохладнее и не чувствовалось этой вибрации, этого дрожания воздуха, запаха паленой резины и сырого луга —

и вот этого чего-то на земле —

потому что иногда казалось —

Люди, группками проходившие по улице, не разговаривали, дышали тяжело. Почти не было прохожих-одиночек, шли или парами, или группками, пятером, шестером, вниз по Виамонте к порту. Кто-нибудь вдруг отделялся от группы и нырял в «First and Last». И никаких признаков Абея.

— Как у Поля Жильсона \*,— пробормотал Хуан.

Abel et Cain

Tout le monde a bel et bien

disparu \*\*.

— Смотри,— прошептала Клара, приныкая к нему.— Смотри туда.

При таком тумане — пламя? (Или просто в воздухе отражается что-то, чему надо найти объяснение.) А доски настила словно плыли в тумане, совершенно голубые, и светились —

— Красиво,— сказал Хуан.— Смотри-ка, бегут.

\* Поль Жильсон (1906—1963) — французский поэт.

\*\* Авель и Каин

Исчезли, и тот и другой (франц.).

— Скоро тут бегать перестанут,— сказал Андрес.— Говорят, на Леандро Алема провалилась мостовая в нескольких местах, смотри-ка.

Парнишка поддерживал женщину в красном и сказал что-то насчет — и красная спина женщины точно красное знамя, что несут на плечах,—

насчет провалившейся канализации и газовых труб —

— А город кажется таким сонным,— продекламировал Хуан,— словно цветущий луг в ночи, усыпанный миллионами белых ромашек.

Написано в четырнадцать лет на тетради в зеленой обложке. Что скажешь, Кларита?

Она смотрела на небо, в котором что-то происходило, совсем низко, почти у земли. «Хоть бы птица какая-нибудь, чайка, что ли,— подумала она.— И луны сегодня нет». Она увидела, что Андрес уходит, словно желая оставить их наедине. На углу Бушара он закурил сигарету, огонек спички высветил его профиль, склонившийся над сложенными корабликом ладонями.

— Tout le monde a bel,— сказал Хуан.— A bel et bien disparu \*. Как далеко отсюда маркополо, старуха.

— И экзамен,— сказала Клара тоненьким, в ниточку, голосом.— Смотри-ка вон туда, как разрастается.

— Да, и со стороны Кордовы тоже.

— Как будто музыка ищет тонику. Лови.

— Как будто перчатка, один за другим, принимает пальцы руки. Получай.

Они обнялись, крепко, смятенно, почти как сама ночь —

— Я потею,— сказал Хуан.— Следовательно, существую. Я писал стихи.

— А я все училась и училась,— сказала Клара.— И убила человека, который все курит и курит.

— Андреса? — сказал Хуан.— Абелья?

— Абель жив. Абель бродит где-то здесь.

— Не знаю,— сказал Хуан.— Мне кажется, что Абель — как город, нечто такое, что a bel et bien disparu. Значит, Андреса?

\* Игра слов: A bel (франц.) образует имя Абель. Все выражение переводится как: «Абель совсем исчез».

— Да,— сказала Клара.— Я его убила, но мы этого не знали.

— Убивать — не есть предмет познания. Посмотри туда, на площадь.

— Вижу,— сказала Клара.— Дерево на пригорочке, омбу.

— Ты не можешь его видеть.

— Свет поднимается над ним. Он был как омбу, маленький и веселый. Чего он хочет?

— Ничего,— сказал мужчина, чуть было не столкнувшийся с ними. Он крутанул назад, нетвердым шагом, словно колеблясь, прошел немного по улице, решительно свернул к «First and Last» и скрылся. Воротник пиджака у него был поднят как будто —

— А теперь гораздо ближе,— сказал Хуан, указывая в направлении улицы Леандро Алема.

— Да,— сказала Клара.— И я думаю, еще немного и —

— Вон там, где копают фундамент.

— Да, там.

— Бедняга репортер,— сказал Хуан.— Как он заснул.

— Он очень добрый, репортер.

— Бедняга. И Андрес —

— Бедняга Андрес,— сказала Клара.— Бедняжка.

Калимано услышал свист, поставил стакан на стойку и быстро вышел. Он увидел Андреса: тот смотрел в сторону центра, и на его лице лежал красноватый отсвет зарева. Дальше, почти на углу, силуэт обнявшихся Клары и Хуана походил на ствол без ветвей, жалкий обрубок.

— Порядок,— сказал Андрес.— Готовьтесь, мы едем.— И он не торопясь направился туда, где стояли Клара с Хуаном, нащупывая на ходу только что появившийся во рту вкус — вкус копоти, проглоченной с воздухом. «Вкус пепла,— подумалось ему.— Прекрасные слова, голубка в ковчеге. Последним звуком на земле, наверное, будет слово — возможно, личное местоимение».

— Тронулись,— сказал он, упруго наклоняясь вперед и беря их обоих под руку; они не сопротивлялись.

— Пошли,— сказал Хуан.— Какая разница.

— Осторожно, провод,— сказал Андрес.— Моя школь-

ная учительница всегда говорила, что электричество — зло- вредный ток.

— Куда мы идем? — сказала Клара, и ее рука потянула назад. — Сперва объясни мне, почему —

— Идем, и все, — сказал Андрес. — Этого достаточно.

— Для меня — недостаточно. Нам было хорошо в ба- ре, и —

— Иди, старуха, — сказал Хуан. — Не строй из себя «ивич», эти машинки по нашим дорогам не бегают.

«Уметь иногда быть жестким, — подумал Андрес. — А я умру, так и не научившись этому». Он свистнул Калимано, и тот пошел впереди. Хуан, высвободившись из рук Андреса, повернулся и взял Клару под руку с другой стороны. Те- перь, когда они повернулись спиной к центру города, туман казался занавесом в кинозале, который раздвигается перед началом картины, когда перед первыми титрами по порошко- образной поверхности экрана просверкивают, потрескивая, искорки. Широкая улица была пуста, а вот и караульная будка у входа на территорию таможни —

Справа — железнодорожная колея, уходящая в заросший травую пустырь (но Калимано шел, не глядя по сторонам) —

— Почему-то мне вспомнился скорпион, — сказала Кла- ра. — Как видите, я не собираюсь устраивать сцен. Я по- нимаю, что меня волокут силком, все это так глупо, —

в конце концов —

вот и вспомнился скорпион.

— Скажешь тоже. — Хуан наклонился и поцеловал ее в волосы. — Иногда очень правильно поступает. Вспомни скор- пиона.

— Скорпиона, — сказала Клара. — Кто-то рассказывал о скорпионе, о его участи. Что за участь быть скорпионом и как ему необходимо следовать своей участи — быть скор- пионом.

— Парафраз иудиной участи, которая в свою очередь яв- ляется парафразом участи Сатаны, — сказал Хуан. — И, от- ступая так дальше и дальше, в конце концов увидишь, что сам Господь бог... ой, слишком жарко, чтобы —

— Я все-таки вернусь к скорпиону, — сказала Клара. —



Я думаю: неужели необходимо, неужели действительно необходимо скорпиону знать, что он — скорпион?

— Да,— сказал Андрес.— Для того чтобы его бытие имело смысл.

— Но имело бы смысл только для него,— сказал Хуан.

— Да, а это — главное. Для остальных же это выглядит чистой случайностью.

— Я спрашиваю потому,— сказала Клара,— что думаю об Абеле. Я хотела бы знать: действительно ли ему необходимо делать то, что он делает?

— Не переживай так из-за Абеля,— сказал Хуан,— Абелю нравится привлекать к себе внимание, в этом разгадка.

«А я так не считаю»,— подумала она с неожиданной строптивостью, и ей захотелось остановиться, повернуть назад, вернуться. Они пошли по берегу мимо снастей, скользя по булыжной мостовой. Несмотря на туман, было видно довольно —

кирпичные строения справа —

синяя шляпа —

но, может быть, это от —

первые причалы, канал —

это — от неба, синяя шляпа —

Калимано остановился и поджидал их —

от синего неба Буэнос-Айреса —

— Река,— сказал Калимано,— ушла в задницу.

— А,— сказал Хуан,— значит...

— Ничего, просто надо дойти до нее, ну, конечно —

— Ну и дойдем,— перебил его Андрес.— Идите вперед, только и всего.

— Смотри-ка, шоколадная площадка,— сказал Хуан.— Помнишь?

— Помню,— сказала Клара.— Безобразная шоколадная площадка —

— Сколько песо ты у меня вытянула тут на сладкое.

— Чтобы приукрасить немного эту площадку, мерзкий скупец. Ведь всем известно, какая она некрасивая.

— Похожа на остров, выплывающий из тумана,— сказал

Андрес.— Правда, я никогда не ел шоколада на этой площадке.

— И потерял прекрасные мгновения,— сказала Клара.

— Конечно, потерял,— сказал Андрес и выругал себя за сентиментальность. «Даже у самого края я не способен быть жестким». За что ни возьмись — Хуан, каждое слово — Хуан —

а почему, собственно, этого не должно быть, почему скорпион — Они обошли маленькую площадку по краю. «Лужайка для прогулок —»

— Здесь мы считали суда,— прошептала Клара.— Я знала их все по именам.

— Только смотри не плачь у меня,— сказал Хуан мрачно.

— Нет, нет. А вот здесь есть одна скамейка...

— Одна из двух,— сказал Хуан.— И старые деревья, как живые существа.

— С этой скамейки мы смотрели на суда у причала. Помню, там были «Графиня», «Тоба»... Ты знал гораздо больше названий, но я помнила их дольше.

— Как прекрасно смотреть на морские суда,— сказал Хуан.— Мы плавали на них на всех.

— Дешевое путешествие, но прекрасное,— сказала Клара.— Как легко было ненавидеть Буэнос-Айрес, когда он был тут, всегда —

— Смотрите под ноги! — крикнул Калимано.— Мостовая!

— Давайте обойдем здесь,— сказал Андрес.— Как это не поставить знак в таком месте...

— Зачем его ставить,— сказал Хуан,— если кроме нас его все равно никто не увидит. Мы говорили о площадке так, будто видели ее, а мы ее не видели.

— Я видела,— прошептала Клара.

— Нет, старуха. Ты просто помнишь ее.

(А вот и голубой свет на караульной будке) —

Потом, не разговаривая, они медленно пересекли еще одну площадь, которая шла на подъем. Калимано шагал, нащупывая ногою булыжник, напуганный провалом в мостовой, и теперь уже не верил тому, что видели глаза. «Скорей бы конец»,— думал Андрес, по временам оглядываясь назад, туда, где туман казался не таким густым из-за звуков,

из-за света фонарей вверху, из-за жары, которая словно бодала их лбом. «Наверное, с факультетской лестницы сейчас была бы видна река —». Клара и Хуан шли, спотыкаясь, и не разговаривали. Раз или два Клара сказала: «Похоже на Онеггера \*», но не объяснила, что имела в виду. Хуан бормотал строчки стихов, что-то придумывал, развлекался как мог в своем крошечном портативном аду. От реки низом шел липкий дух, пахло уже не сыростью, а гнилой соломой, — глинисто-аммиачная вонь. «Высунь язык, — подумал Хуан. — Ну-ка, река, высунь язык —

Но если я язык,

если это —

мой язык — О, какой грязный, он мне

не нравится —

ну-ка, река, будьте добры, сейчас же —

(А завтра?)

Но я живу в своем ложе, раз я — река —

— Глядите кругом, — сказал Калимано. — По-моему, клуб где-то тут.

— Надо же, — сказала Клара, ища руку Андреса. — Оказывается, мы идем в клуб.

— Жизнь — это клуб, — сказал Хуан, — только второразрядный. Ишь ты, как славно у меня получилось. Андрес...

Но Андрес, несмотря на Кларину настойчивость, отнял руку и отошел в сторону поговорить с Калимано. «Ни того, ни другого, — подумал он. — Остается совсем мало. Если они от меня уедут —» Что дальше — он не знал.

— Вот, видна караульная будка, — крикнул Калимано. — А там и лодка недалеко. Мать моя, река ушла к чертям собачьим.

— Скорее наоборот, — сказал Хуан. — Или очень скоро так будет.

— Скорее, — прошптала Клара. — Пожалуйста, пойдете скорее. Там...

Но там ничего не было, Андрес отпрянул, держа руку на пистолете, но не увидел ничего, кроме далеких огней, похожих на бенгальские, маячивших среди шлюпок. Тогда

\* Артур Онеггер (1892—1955) — французский композитор.

он вспомнил, что у причала не было никаких судов. Но более того, он был твердо уверен, что и в порту не видел судов. «Бедняжка моя, ей страшно. Первый раз она говорит: «Скорее» — И радость, оттого что он видел: они решились, — поднималась в нем, точно дерево — Слова, слова.

— Скорее, — говорил Калимано. — Вот она, караулка.

Хуан прочитал слова над входом: Аргентинская рыболовная ассоциация. Рыба — бонито, багре — воскресенье, яхты — все открыто, все разобрано, здание окутано темнотой, а под ногами — вязкий ил, все, что осталось тут от реки, одна насмешка. Хуан повернулся (он шел последним). Буэнос-Айрес. Если все еще —

— Скорее, — донесся голос Клары. — Иди скорее, Хуан.

Он догнал ее, и Андрес нагнул голову, чтобы не обидеть его своим взглядом. По молу они почти бежали, Калимано с кошачьей ловкостью вел их и заставлял прибавить ходу. Туман поднимался от реки, они увидели мерцавший бакен канала. «Одни, — подумал Андрес. — Не может быть, чтобы мы были тут одни —» Мысль эта не казалась ему невероятной, просто он не соглашался с нею.

— Здесь начинается вода, — сказал Калимано и указал на полосу как будто из шоколада. — Хорошо еще, что я рассчитал, так что лодка теперь у самой кромки. Думаю, не меньше четырех сегодня повиснут на привязи, — бормотал он, перегнувшись через перила.

Андрес тоже смотрел вниз с неожиданно подступившим страхом, а вдруг —

Но Хуан с Klarой были словно далеко отсюда, остановившись посреди причала, они смотрели друг на друга.

— Собачья блоха, — сказал Хуан нежно.

Андрес подошел к ним.

— Надо спуститься по этой лестнице, — сказал он и потянул их за руки. — Чао, ребята, Калимано ждет.

— А ты? — сказала Клара почти таким же тоном (это, подумал Андрес, если он действительно так подумал), каким говорят: «Не уходите, почему вы уходите так рано?» Это были искренние слова, однако не необходимые, не те, что иногда хотелось бы услышать.

— А я пойду обратно, к Стелле, — сказал Андрес. —

За все заплачено, Хуан. Не давай ему больше денег.

— Спасибо,— сказал Хуан и сжал ему руку до боли.—  
Что я могу тебе сказать —

— Ничего. Ступайте.

— Это невероятно, что ты остаешься,— прошептал Хуан.— Но почему мы?

— По сути, я тоже уезжаю,— сказал Андрес, улыбаясь.— Разница всего в несколько часов. Не расстраивайся, уводи Клару. Вот она, лестница.

Хуан махнул рукой. Потом сунул руку в карман и вынул мятую тетрадь.

— Здесь то, что я написал за последние дни,— сказал он.— Сохрани ее для меня.

— Ну конечно,— сказал Андрес.— А теперь поторопитесь.

— Андрес,— сказала Клара.

— Да, Клара.

— Спасибо.

— Не за что,— сказал Андрес совершенно осознанно.

Как просто: сказал «спасибо» — и в расчете. Одно «спасибо» — и ты спокоен. Он смотрел, как она ставила ногу, как нащупывала первую ступеньку, и спросил себя с ясной жестокостью: а не искал ли ее Абель затем, чтобы услышать еще одно «спасибо»? Как несправедливо, как глупо. «Я перестаяю видеть ее такой, какой она была»,—подумал он, оставшись один на молу. Он слышал разговор, плеск весел. Голос Хуана, что-то крикнувшего ему. Но вместо того чтобы перегнуться через перила, он повернулся и зашагал обратно, в упор глядя на красноватый занавес из тумана, в недрах которого словно закипало что-то.

У мостика он увидел черного худого пса. Он подошел к нему и погладил, пес отстранился и показал зубы. Шоколадная площадка была рядом — черный круг на серовато-синей булыжной мостовой. Андрес направился туда, но прежде чем ступить на нее, закурил сигарету и поглядел, там ли еще пес. Странно, но тишина, царившая на маленькой площади, казалась еще глубже оттого, что где-то вдалеке грохотал город. «Хуан был прав,— подумал он, доставая пи-

столет,— этого уже нет, это осталось только в бережливой памяти Клары». И когда он медленным, размеренным шагом дошел до середины площади и увидел силуэт, прижимавшийся к стволу дерева, он подумал, что и это тоже было частью Клариных воспоминаний.

— Привет,— сказал Абель.— В добрый час мы с тобой встретились.

— Что поделаешь,— сказал Андрес.— Откуда человеку знать, что его ищут?

— Не тебя,— сказал Абель.— Ты это прекрасно знаешь.

— Какая разница.

— Но ты помог им уйти.

— Ты так думаешь,— сказал Андрес, куря сигарету.

— Да, ты, тысячу раз сукин сын.

— Довольно и одного раза,— сказал Андрес.— К чему такой размах?

Он заметил движение Абеля и почувствовал, как тот наваливается сверху. Андрес снял предохранитель и поднял пистолет. «Отсюда она смотрела на морские суда»,— успел он подумать, и тотчас же на него обрушилась огромная, точно взрыв, тишина.

## VIII

Стелла убедилась, что репортер мирно спит, поправила ему голову поудобнее и вышла из бара, ощущая радость оттого, что после долгого оцепенелого сидения наконец-то двинулась. На Леандро Алема она купила свежий выпуск «Эль Мундо» и подождала 99-й — трамвай уже спускался по Виамонте. Удобно устроившись у окошка, она проехала по всему центру, не глядя на улицу, ей интереснее было читать газету; а когда 99-й стал грохотать за Пуэрредоном, ее сморил сон, и она немного отдохнула, прислонившись голо-

вою к окошку. Трамвай был почти полон, и неясный говор убаюкивал ее.

Потом она быстро прошла остававшиеся полтора квартала, предвкушая, как сейчас сварит себе кофе. Она выпила кофе в постели, думая, успеет ли Андрес прийти, чтобы поспать хоть несколько часов. И только поставила чашку на тумбочку, как усталость свалила ее, будто ветром.

Она проснулась в одиннадцатом часу, постель была залита солнцем. Комната в солнечном свете казалась необычайно красивой. Точно на картинке. Какая прелесть.

Стелла встала отдохнувшая и довольная. Андрес, наверное, придет прямо к обеду, а потом засядет за свои книги-бумаги. Ну что ж, супчик был бы кстати. На улице разговаривали соседки. На столе лежал исписанный лист, Андрес вечно что-то писал, надо его спрятать в письменный стол.

Стелла поменяла воду канарейке, насыпала в чашечку семя. Радио было включено, и она послушала очень красивое болеро, и слова страстные, Андресу такие вещи не нравились. Ничего, она успеет выключить радио, если Андрес придет.

*21 сентября 1950 года.*

**Кортасар Х.**

**К66 Экзамен: Роман/ Пер. с исп. Л. Синянской.  
Предисл. А. Кофмана. — М.: Известия, 1990.—  
256 с. (Библиотека журнала «Иностранная ли-  
тература»)**

В центре романа две супружеские пары — молодые буэнос-айресские интеллектуалы, связанные между собой тесными дружескими отношениями. Их прогулки по городу, беседы на философские, литературные, житейские темы составляют основное содержание книги. Воспроизведенная автором тревожная атмосфера Буэнос-Айреса середины 40-х годов, гнетущий туман, окутавший город, зловещая фигура некоего Абея, преследующего одну из пар, — все это придает повествованию остроту и «кортасаровскую» загадочность.

К  $\frac{4703040100-013}{074(02)-90}$  75-90

**ББК 84.7Ар  
И(Ар)**



**ХУЛИО КОРТАСАР  
ЭКЗАМЕН**

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *И. Клыкова*

Корректор *Л. Шмелева*

**ИБ № 1416**

---

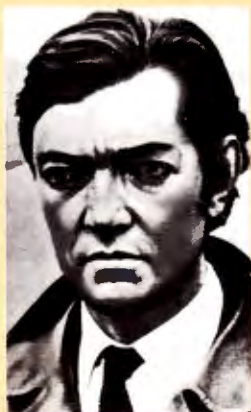
Сдано в набор 20.12.89. Подписано в печать 18.09.90. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип-Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 10,7. Уч.-изд. л. 12,84. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1643. Цена 1 р. 30 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати  
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

---



**Хулио Кортасар** (1914—1984) — всемирно известный аргентинский писатель, соединивший в своем творчестве глубокую приверженность к европейской культуре и неизменный интерес к аргентинской реальности.

Первый рассказ, "Захваченный дом", был напечатан в 1946 году в журнале, издававшемся Борхесом, которого Кортасар считал своим наставником.

В 1951 году, во времена перонизма, писатель покинул страну и до самой смерти жил в Париже. Хулио Кортасар — автор романов "Выигрыши", "Игра в классики", "62. Модель для сборки", "Книга Мануэля", сборников рассказов "Бестиарий", "Восьмигранник", "Истории о хронопах и фамах", "Мы так любим Гленду" и др. Многие его произведения переведены на русский язык. Написанный в 1950 году роман "Экзамен" был подготовлен Хулио Кортасаром к печати незадолго до смерти и увидел свет в 1986 году, после кончины автора.